$\left(\begin{array}{c} \frac{64}{28} \end{array}\right)$ 

## ЦВѣТЫ ЗЕМЛИ и НЕБА. БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕНЬ. В О Л Н А.

Драматическія сцены въ 4-хъдѣйствіяхъ. Къпредставленію цензурой дозволено 28 ноября 1907 года, за № 700.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ".

МОСКВА-1912 г.

ордена Ленина БИБЛКОТЕКА СВСР им. В. И. ЛЕНИ IA

Тинографія

Небрежно и наскоро онъ осматривалъ больного ребенка и поспъшно бормоталь:

— Э-э!.. все это пройдеть. Кормите киселемъ изъ разныхъ ягодъ; кипятите сливки съ водой, какъ я уже говорилъ. Яицъ—ни-ни! Куриный бульонъ—безполезенъ. Не закармливайте, а то—ишь, какой скелеть,—не вынесетъ и умретъ отъ кроваваго поноса... Ну, тамъ... Гм... Соленыя ванны... Ну, известковая вода... Ну, вотъ!..

Видя, что мать больной крошки, какъ будто бы не понимаетъ, что визитъ конченъ, онъ заставилъ себя еще на нъсколько словъ вниманія:

— A ну-ка покажите головку ребенка. Мать показала.

Оль мимолетнымъ взглядомъ скользнулъ по головъ, потомъ, не глядя на голову, провелъ по ней ладонью руки и, милостиво изрекъ:

— Ну, голова—кръпышъ съ мозгомъ. Идите и спите спокойно: такая выживеть!

Мать натянуто улыбнулась. Эготъ совътъ кормить киселемъ изъ разныхъ ягодь, сливками съ

водой, дѣлать соленыя ванны и поить известковой водой—она слышала отъ врача уже въ шестой разъ и все въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, а ребенку становилось все хуже и хуже, чего врачъ какъ будто бы совсѣмъ не замѣчалъ. Уже мѣсяца два она начала сомнѣваться въ правильности леченія, но ни разу не рѣшилась этого высказать, теперь же, когда ей еще добавили, что можно "спать спокойно"—она не выдержала:

— Докторъ, а не будете ли вы добры, послушать у ребенка легкія: у него тамъ отчего то хрипы. Такъ же и я... Вы говорите, что у меня только простое переутомленіе, а у меня по ночамъ испарины, сорока-градусный жаръ, за послъдніе дни появилось кровохарканіе. Я сама начинаю понимать...

Тупыми, давно переставшими видъть человъческое страданіе, глазами врачъ взглянулъ на больную женщину и на ея ребенка и раздраженно заговорилъ:

— Нечего мив вашего ребенка слушать. Слава Богу, практика за плечами не маленькая: съ одного взгляда, сударыня, вижу, чвмъ больной боленъ! Говорять вамъ—у ребенка только бронхить и рахить. Пройдеть рахить—пройдеть и бронхить. Воть и все! А у васъ... крсвохарканіе, говорите, появилось, испарины? Гм... значить врачу изволите намекать, что у васъ не переутомленіе, а туберкулезъ легкихъ? Но намекать нечего. Если кровохарканіе— ясно: надо вхать на югь,

въ Крымъ! Вы сами это должны знать. Слава Богу, уже не дъвочка! Воть и все.

Паціенткъ хотълось крикнуть, что это не все, что гдв же быль врачь раньше, что настолько запоздавшій совъть — издъвательство, но взглянула она на врача и промодчала. Онъ ей показался невыразимо противенъ и жалокъ. Страшно ожиръвшій — до тяжелой одышки, до зловъщей багровой краски, которая обильно заливала не только его лино и шею, но даже и лысую голову -онъ былъ тъмъ врачемъ, которому нужно было лечить не больныхъ, а себя. Человъкъ, нажившій практикой милліонное состояніе, съ мучительнымъ трудомъ принуждавшій свое тёло къ движеніямъ-онъ стоялъ передъ бъдно одътой паціенткой въ злобъ и огчанніи. То смотръль на ея руки, когда же она, наконецъ, догадается, что визитъ конченъ, что надо за визитъ платить и уходить, то поглядываль на дверь кабинета: тамъ, въ пріемной, такая масса паціентовъ и, если каждый паціенть будеть его настолько задерживатьсколько онъ можетъ принять? Онъ видълъ, что больная женщина спъшить кое-какъ закутать въ одъяло своего больного ребенка-и все-таки не выдержалъ:

- Сударыня, имъйте ввиду, что вы уменя не одна. Моей помощи ждуть десятки людей!

Паціентка дала ему за визить и тронулась съ полураздётымъ ребенкомъ къ двери. Онъ со злобой скомкалъ трехрублевку и сунулъ ее въ карманъ; паціентка была еще въ дверяхъ, а онъ черезъ ея голову, жаднымъ взглядомъ высматривая, что за публика пришла къ нему, хрипло выкрикивалъ:

— Слъдующій, пожалуйте! Прошу по очереди.

У меня привиллегій не бываетъ!

Черезъ полчаса больная женщина съ больнымъ ребенкомъ была у другого врача. Тотъ осмотрълъ мать и ребенка тщательно, выспросилъ, кто и чъмъ пользовалъ—и возмутился:

— Я, на вашемъ мъсть, такого негодяя привлекъ бы къ суду! У ребенка давнымъ-давно туберкулезълегкихъ, а онъ его все еще лечитъ отъ рахита. У васъ туберкулезъ, который вы, не будучи предупреждены, тоже захватили отъ своего ребенка. На югъ вамъ съ ребенкомъ... Немедленно! Въ Крымъ Тамъ, можетъ быть, еще спасетесь. А его, эту зажиръвшую свинью, подъ судъ! Честное слово. Ради общественныхъ интересовъ вы не должны оставлять этого дъла безъ огласки. Подумать только: человъкъ больныхъ не лечитъ, а въ гробъ вгоняетъ, а больные къ нему валомъ валятъ только потому, что когда-то онъ былъ дъйствительно врачомъ. Но то время давно прошло! Зажирълъ, оскотинълъ, обнаглълъ...

Больная ушла отъ врача, не дослушавъ его. Ей было не до судовъ. Весь міръ для нея сосредоточился въ ея больномъ ребенкъ, и мысль, что его скоро не будетъ, создавала ей то страшное чувство пустоты, въ которой люди не чувствуютъ себя. Что и сама она въ опасности, что она идетъ, дви-

жется, заполняеть собою извъстное пространство
—ничего этого для нея не существовало, кромъ
маленькаго тъльца.

Она шла машинально, не видя никого и ничего, ибо, плакала широко раскрытыми глазами.

Когда пришла домой, какъ сквозь туманъ видъла, что ея мужъ ходитъ изъ угла въ уголъ по комнатъ, что голова его низко опущена, спина согнута, какъ у очень стараго сгарика.

Онъ подошелъ къ ней и положилъ свою руку на ея голову.

— Въра, ты *макъ* плачешь, какъ никогда. Значить, наше положение ужъ такъ плохо? Но знаешь-ли, Въра: жизнь такихъ слезъ, пожалуй, и не стоить...

Она еще не поняла смысла его словъ, но прикосновение его руки, звукъ любимаго голоса дали ей силу отчаяния. Кръпко она вцъпилась объими руками въ его руку и сказала, какъ въ бреду:

— У меня и у Нади—туберкулезъ легкихъ! На югъ... въ Крымъ... немедленно! Тамъ еще, можетъ быть, можно спастись. Надо спастись! Пусть умретъ Надя, но ты, у меня еще остаешься ты. Намъ есть еще за что бороться.

Потомъ встала.

— Я иду.

Онъ спросилъ:

— Куда?

— Добывать денегъ. У меня тутъ по гимназіи есть одна подруга. Очень богатая.

У него еще ниже опустилась голова.

Въра все еще плакала, но не тъми уже ослъпляющими слезами—сквозь эти слезы она видъла, что гордый профиль мужа искаженъ болью за то, что ей приходится къ кому-то итти и унижаться.

Она подошла къ нему и поцъловала его въ лобъ.

— Милый Чаевъ, не унывайте! Вы только что сказали, что жизнь иногда не стоитъ иныхъ слезъ, я вамъ въ свою очередь скажу: люди иногда не стоятъ иного страданія. Милый Чаевъ, когда вы научитесь пользоваться людьми, когда это крайне необходимо, презирая ихъ? Большаго они не достойны.

Онъ отмахнулся рукой:

- Кажется, никогда.
- Напрасно. Ну, я иду.

Еще разъ поцъловала Въра въ лобъ мужа, наскоро умылась и исчезла. Чаевъ присълъ было къ столу, но забезпокоился ребенокъ и онъ взялъ его изъ коляски на руки, ходилъ съ нимъ изъ угла въ уголъ по комнатъ въ той безысходной мукъ, гдъ нътъ ни предъла, ни отзвука, ни просвъта – есть неумолимо—ясное только одно: жертвы принесены!

Его точило предчувствіе, что ни ребенку, ни женъ не поправиться.

Съ четверть часа ребенокъ лежалъ у него на рукахъ безъ движеній, съ закрытыми глазами, поражая худобою своего личика — той худобою,

которая таитъ въ себъ уже неподвижность смерти. Потомъ въки глазъ малютки съ мучительной натугой поднялись, изъ маленькихъ устъ вырвался подавленный стонъ, а личико исказилось гримасой боли.

"Начинается" — съ ужасомъ подумалъ Чаевъ, зная уже, что если съ вечера ребенокъ начинаетъ безпокоиться, значитъ ему во всю ночь будетъ очень плохо. И разбитымъ голосомъ, гдъ ничего не было, кромъ скорби и остраго отчаянія, онъ, поддълываясь подъ дътскій лепетъ, залепеталъ.

— Больно, Надюша? да? Но ничего, потерпи. Можеть быть, все пройдеть иты увидишь... ты увидишь, Надюша, такихъ чудесныхъ птиць. Воть есть такая огромная-огромная птица—страусомъ называется. На него, Надюша, можно сèсть и по-такать, какъ на лошадкъ. Онъ, Надюша, бъгаетъ такъ—не догонишь! Или вотъ есть такая невъроятная, сказочная птичка: колибри. Вся-то она, Надюша, съ твой ноготокъ! Такъ прекрасенъ Божій міръ, Надюша. Въ немъ много такихъ дивныхъ цвътовъ...

При первыхъ словахъ отца на лицъ малютки было выразилось вниманіе, а дальше—она опять начала стонать.

Когда-то она, жадно упиваясь голосомъ отца, — тогда такимъ еще бодрымъ и радостнымъ, — игрой его лица и глазъ, могла безконечно слушать о цвътахъ и птицахъ; когда-то она на вопросъ—

какова колибри?—могла показать свой ноготокъ, а величину страуса представить широко разведенными рученками,—но то уже все минуло.

Ръчь о цвътахъ и птицахъ начинала раздражать и, страданіе маленькой крошки въ силахъ было прислушиваться только къ голосу страданія. Высказывали въ лепетъ съ ней отецъ и мать свои затаенныя, робкія надежды, что "Надюшу они отвоюють", или, падая духомъ, говорили, что "О Надюшъ стараются, а она не хочетъ поправляться" — такой горькій лепетъ заставляль ее замолкать, нагонялъ на ея личико, ту степень приподнятаго муками раздумья, гдъ кричитъ жуть глубины. Стоны ребенка перешли въ плачъ. Слышать эти надорванные сградальческіе крики, видъть какъ лицо маленькаго существа искажается отъ какой-то внутренней боли — сегодня Чаеву было особенно непереносимо.

ганьше, когда была надежда, что ребенокъ выживетъ, онъ находилъ въ себъ необходимыя самообладаніе и териъніе; но со дня, когда эта надежда начала исчезать—у него все чаще и чаще мутилось сознаніе. Онъ забывалъ, что все въ міръ подвержено однимъ и тъмъ же неизмъннымъ законамъ и въ страданіи своей малютки видълъ безсмысленную жестокость. Вслухъ этого никогда еще не высказываль—боялся пугать жену. Теперь жены не было и онъ не выдержалъ. Съ бъщенымъ отчаяніемъ, гдъ и мольба и бунтъ, бормоталъ:

— Боже мой! Кому это нужно? За что? Къ чему такія муки? Гдв же туть милосердіе? Ну, если нужны жертвы не только въ лицв взрослыхъ, но и въ лицв двтей—рази двтей, но безъ излишней жестокости. При чемъ двти? Они чисты и невинны. Къ чему такая агонія?

Изъ глубины души въ немъ поднималось нѣчто, что дерзко готово бы было принять ударъ на себя, лишь быне видъть, что за страданіе розлито на землъ.

Потомъ это состояніе минуло—пришло другое: смиренія и просвътльнія. Оно приходило къ Чаеву уже не разъ, но отъ этого ему было не легче. Оно давило его, какъ камень, о которомъ заикнуться нельзя и, теперь при мысли, что жены нътъ дома, что его никто не услышить, кромъ его больной малютки, на его лицъ мелькнула радость, почти безумнаго.

Въ комнату уже мягко лѣзли сумерки, и страшенъ былъ въ этихъ сумеркахъ этотъ человѣкъ съ зелено-сѣрымъ лицомъ, со страшной усталостью волочившій за собою ноги, качавшійся на ходу такъ, что вотъ-вотъ онъ упадетъ.

Онъ ходилъ и говорилъ, мѣшая свои слова съ плачемъ ребенка, говорилъ съ тѣмъ нестериимымъ трепетомъ боли, когда великая любовь кричитъ о своихъ великихъ утратахъ:

— Тебъ больно, Надюша? да? Ты умираешь? Пусть. Это, можетъ быть, къ лучшему: долго жить еще больнъе. Вотъ, Надюша, жизнь: нътъ

никого у меня ближе, какъ твоя мама и нътъ у твоей мамы никого ближе, какъ я, но мы молчимъ, мы боимся говорить другъ-другу о томъ, что насъ страшить. Ужасъ придвинулъ къ намъ вплотную свое лицо, и мы молчимъ о немъ, дабы не пугать другь-друга. Жизнь, Надюша, это безумный крикъ того задавленнаго страха, который мы не боимся выдать только передъ Богомъ да передъ младенцемъ, ибо знаемъ, что Тотъ и другой нашу тайну сохранять въ тайнв. Жизнь, Надюща-вырвется изъ твоего маленькаго тельца послъдній вздохъ, умреть за тобою твоя мама и. если послъ этого я останусь жить-люди будутъ думать, что я нъмъ и неподвиженъ, замкнутъ и холоденъ болъе, чъмъ слъдуетъ, а я... Надюша, какъ нестернимо представлять себъ, что тотъ міръ, отъ котораго ты таился, которому ни звукомъ, ни взглядомъ не хотълъ выдать своего страданія, вдругъ увидить въ тебъ лишняго безумца съ силой отчаянія взметывающаго руки въ пространство и незамъчающаго, что крики его души имъютъ единственнаго слушателя-пустоту! Пустоту, Надюша. То нъчто, чего такъ смертельно боится человъкъ, передъ чъмъ въчно трепещетъ. Вотъ жизнь, Надюша: молчать и копить въ себъ сокровища мысли и чувства-и все, можетъ быть, только для того, что бы бросить ихъ въ пустоту и услышать отъ толпы: онъ безуменъ! Отъ той толпы, которая съ одной стороны-образъ и подобіе Божіе, съ другой-чудовище, творецъ всёхъ несчастій на земль. Жизнь, Надюша, это безчисленныя стада сльпыхь животныхь и великое горе вь этихь стадахь рылкимь особямь—зрячему человьку: зрячій идеть и смотрить, какъ бы кого хоть слегка не зальть, а стыцы пруть и давять и слыцовь и зрячихь. Жизнь, Надюща, это мірь задыхающійся отъ преступленій и страданій, мірь, гав ныть виноватыхь, ибодевятьсоть девяносто девять изь тысячи не имыють права въ немь называться людьми. Жизнь, Надюща, это кошмарь: что въ немь на первый взглядь кажется просто—то таить за своей простотой большую сложность, а что кажется сложно—то поражаеть своей простотой.

Ребенокъ уже замолкъ. Смотрълъ своими бездонными, отъ муки, глазами въ лицо отца, какъ
загипнотизированный, и слушалъ. А Чаевъ ничего
этого не замъчалъ. У него былъ тотъ экстазъ отчаянія, когда не только чей либо посторонній звукъ,
но даже звукъ собственнаго голоса не осязался.
Онъ чувствовалъ только одно: вся жизнь его большого тъла ушла въ жизнь маленькаго умирающаго тъльца. Онъ ходилъ и продолжалъ:

— Тебъ, Надюша, больно? Ты умираешь? Отчего? Это случилось, Надюша, просто. Мы съ мамой безумцы! Въ міръ лжи и условностей, привиллегій и традицій, гдъ все оцънивается только на въсъ золота, гдъ видять только обстоятельства, а не человъка, гдъ въ кумиры возведены ничтожества—въ такомъ міръ мы, Надюша, взя-

лись съ мамой рука объруку и гордо пешли прямикомъ на встрвчу болве высокимъ цвлямъ въ жизни. И вотъ поплатились! Ты была. Надюща, дивной формой съ еще болве дивнымъ содержаніемъ-и вотъ ты разбита. Разбита такъ глупо и просто! Въ этомъ міръ, Надюща, нътъ виноватыхъ, ибо въ немъ всв правы твмъ, что давнымъ-давно всв прокляты. Въ этомъ міръ, Надюща, не было ни одного человъка, который бы хоть разъ въ своей жизни не послалъ этому міру проклятія. Проклинай, Надюша, и ты этотъ міръ! Этотъ міръ, который за тысячельтія своего существованія не смыль съ себя печати Каина! Проклинай покорнаго раба и трижды проклинай убійцу-угнетатедя. Проклинай видомъ своего измученнаго тългца, каждымъ стономъ своей боли, проклинай послёднимъ вздохомъ своего существо анія. Проклинай, Надюща. Проклинай проклятіемъ младенца!

Потомъ Чаевъ сълъ на постель. И сидълъ въ томъ состояни, когда человъку кажется, что онъ кричитъ, а губы его судоржно сжаты, а когда говоритъ—не осязаетъ собственнаго голоса.

Было темно, когда вернулась его жена. Она зажгла огонь и повернулась къ нему, чтобы подълиться радостной въстью, что на леченіе въ Крыму она денегъ достала.

Но посмотрѣла на мужа и промолчала. Ребенокь лежалъ у него на колѣняхъ, а онъ, согнув-

шись надъ нимъ, плакалъ широко раскрытыми глазами и лепеталъ:

— И будетъ завтра, Надюша, солнышко. И мы пойдемъ, Надюша, бу-у... бу-у пойдемъ мы, Надюша, въ садикь! Ты увидишь тамъ птичекъ. Пальчикомъ на нихъ своимъ покажешь. Завтра я тебъ, Надюша, дамъ цыпленочка!..

Присъла къ мужу и жена. И тоже плакала Въ первый разъ они не стыдились своихъ слезъ.

На слъдующій день Въра давала своимъ ученицамъ послъдній урокъ. Черезъ нъсколько дней наступала пора переэкзаменовокъ и Въръ выпалъ не малый трудъ—убъдиться, сколько изъ приготовлявшихся у ней выдержатъ.

Чаевъ ходилъ съ ребенкомъ въ саду, гдъ жена занималась въ бесъдкъ съ ученицами и невольно слышалъ, какъ ей приходится долбить великовозрастнымъ гимназисткамъ шестого и седьмого классовъ до хрипоты въ голосъ.

Въ саду было много цвътовъ и райскихъ яблокъ.

Какихъ нибудь еще два мѣсяца назадъ, Надюша тянулась съ восторженнымъ крикомъ къ каждому цвѣтку, ко всякой зелени—теперь все это прошлогрустно и печально она смотрѣла на цвѣты и только изрѣдка, высмотрѣвъ на яблоняхъ какой

нибудь особенно спълый, золотящійся на солнцъ, плодъ обращала на него вниманіе отца пальчикомъ.

- Сорвать, Налюша?

Надюща дълала тихое, усталое отрицательное движение головкой.

— Не хочешь. Ну, чтожъ, посмотри такъ. Бо-

жій міръ, Надюша, такъ прекрасенъ.

Остатки вчерашняго возбужденія въ Чаевъ еще не улеглись и, мысль, что недолго его крошкъ остается созерцать этотъ прекрасный міръ, внутренно добавляла: "Да, только люди въ этомъ міръ... проклинай ихъ, Налюша!"

Все припоминалъ и переживалъ онъ теперь

особенно остро.

Вотъ начало болъзни, когда малютка много плакала, потомъ начала затихать. Видно, что недугъ позываеть на плачъ, но кръпится. Льнетъ только къ груди отца и матери кръпче, ибо чувствуеть своимъ маленькимъ сердцемъ, какъ истекають за нее кровью большія сердца, а облегчить ей страданій все-таки не могуть—льнеть и понимаетъ, что, значитъ, надо насколько силъ хватаетъ териъть. Вотъ счастливый періодъ Надющи, когда она была обаятельнымъ символомъ юной, буйноликующей и расцвътающей жизни. Сколько ласкъ и восторговъ, что такой "чудный, ръдкостный ребенокъ!"

Надюща этого времени незабываеть. Смерть къ ней двигается быстрыми шагами и быстро несетъ

ей свою мудрость. Насколько Надюша раньше тянулась къ людямъ, настолько она теперь ихъ чуждается. За пять мъсяцевъ своей болъзни она измърила людскую измънчивость — стоило ей заболъть и нътъ ласкъ отъ постороннихъ лицъ, всъ смотрять на нее издали такими глазами, отъ которыхъ она или отворачивается, или въ свою очередь въ упоръ смотритъ такимъ взглядомъ, передъ которымъ опускаютъ глаза взрослые, а иные ея отцу и матери даже говорили: "Какіе тяжелые глаза у вашего ребенка!"

О, тупое человъческое стадо! Стадо не понимающее, что, можетъ быть, само небо, глазами этого ребенка говоритъ, что суровое осужденіе— это единственное, что могутъ оставить этому стаду за его равнодушіе и жестокость, за убожество сознанія рано вынужденныя уйдти изъжизни существа.

Всю муку, какую принесла болъзнь ребенка, припоминалъ Чаевъ и внутри его неудержимо клокогало: "Проклинай, Надюша, проклинай!"

И не было мъста, куда бы онъ хоть немного, могъ уйдти отъ этой муки.

На другомъ концъ двора стоялъ большой домъ, около котораго по цълымъ днямъ возилась куча дътворы. Оттуда въ садъ неумолкаемо лились ихъ звонкіе голсса. Три мъсяца назадъ Надюша сама еще могла принимать участіе въ ихъ вознъ, потомъ только на нихъ посматривала, а затъмъто, что раньше давало ей восторгъ, начало да-

вать муку. Взглянеть на дътишекъ, на одинъ мигъ въ глазахъ вспыхнеть огонекъ—и замретъ. Темнъе станетъ взглядъ, а на личико—все глубже и жутче прочижетъ его, это ушедшее въ свое страданіе раздумье.

Уже съ недълю, какъ Надюша совсъмъ отказалась отъ дътей. Она не желала ихъ видъть. Но ихъ голоса — невольно она прислушивалась къ нимъ, невольно ея рученка поднималась по направленію къ дому и вдругъ падала, а въглазахъ вспыхивала огромная тоска и появлялись слезы. Чувствовала малютка, что жизнь ея быстро таетъ и не ръзвиться ей на землъ, какъ тъмъ здоровымъ дътямъ.

Это страданіе одиннадцатим всячнаго ребенка доводило Чаева до бъщенства, граничащаго съ умоизступленіемъ.

То его порывало пойти и розыскать виновницу бользни Надюши; розыскать и раздавить эту старуху и за ребенка, и за себя, и за жену, и за другихъ, ибо, думалъ онъ, кто можетъ поручиться, что эта старуха не навлечетъ такого ужаса и на-кого либо еще?

То-безумно-напряженными глазами, онъ смотръль на уголъ каменнаго сарая съ мыслью, что немного мужества—и всему конецъ.

Ударъ головой объ этотъ уголъ — и всему конецъ.

Ничего не видъть, ничего не чувствовать, ни о чемъ не думать—какое облегчение! Но передъ появленіемъ этого бѣшенства у него сильно кружилась голова, когда кажется, что снизу почва убѣгаетъ изъ подъ ногъ, а сверку небо падаетъ и, изъ боязни, какъ бы не упасть съ ребенкомъ, онъ садился на скамью или прямо на землю.

И, пока головокруженіе проходило—сидѣлъ долго, а когда вставалъ,— мысль принимала уже другое теченіе: "А Въра съ Надюшей? Онѣ, будутъ видѣть, чувствовать, думать вдвойнъ, ощущая его отсутствіе... Какое позорное малодушіе!"

Въ этотъ день, когда Въра закончила уроки, она захватила мужа именно въ такомъ состояніи. Онъ сидълъ на скамьъ и, присаживаясь къ нему, она заговорила съ чувствомъ большой радости и облегченія:

— Слава Богу! если бы ты зналь, какую гору я съ себя свалила? Когда я была здорова, то и тогда для меня семь ученицъ были не шуткой. А теперь,—какъ я протянула съ ними все лъто—и сама не знаю. Ну, да ладно: тяжелое позади! Теперь будемъ отдыхать и надъяться на лучшее. Послъ завтра отправляй меня съ Гадющей въ Крымъ. Я такъ рада!

Чаевъ молчалъ. Помолчала и Въра.

Потомъ спросила:

- Ты слышишь?

Онъ молчалъ. Она заглянула ему въ лицоэта застывшая маска скорби, страданія и усталости была для нея уже не нова, но его глазаглаза полураздавленнаго на смерть животнаго — тусклые и покорные, ничего не видящіе кром'в своей муки—эти глаза заставили Въру содрогнуться.

То, что завтра не явятся ученицы, о чемъ вътечение двухъ послъднихъ мъсяцевъ Въра по окончании уроковъ думала со страхомъ, то, что черезъ день она повдетъ въ Крымъ, въ Крымъ, сулящій ей и ея ребенку блага здоровья—все это забылось, погасло и давило только одво—темь и безнадежность.

Не надо говорить, не надо двигаться, сидъть воть такъ, какъ сидить она, какъ мужъ, какъ лежить у него на колъняхъ ребенокъ и покорно ждать смерти. Въръ казалось, что всъ они настолько обезсилены и измучены, что всъ настолько спаяны общей мукой и привязанностью—стоить умереть одному, сейчасъ же за нимъ умреть другой, за другимъ трегій.

Темнъло уже, когда ребенокъ, которому стало свъжо, привелъ ихъ въ себя.

Молча они пошли домой.

Ночь выпала тяжелая. Ребенокъ все время быль въ забыть и требоваль, чтобы его коляска была въ непрерывномъ движени взадъ и впередъ.

Съ вечерэ у малютки началось сильное разстройство желудка. Отецъ далъ ей каломель. Приходилось часто мънять простынки и тюфячки. И когда отецъ съ этимъ возился—малютка въ это время лежала на его постели. Если онъ забывалъ прикрыть ея одъяломъ — она терпъливо выжидала, когда онъ кончитъ, вздрагивая отъ свъжести своимъ худенькимъ обнаженнымъ тъльцемъ.

Онъ подходилъ къ ней и, замвчая дрожь холода, съ упрекомъ бормоталъ: "Вотъ это ужъ, Надюща, не хорошо. Нало было мнв объ этомъ напомнить", — малютка смотрвла въ лицо отца съ глубокой любовью, а вмвств съ твмъ и съ той мольбой, которая проситъ понять, что она и сама сознаетъ — насколько тяжелъ за ней уходъ, но что же она можетъ сдвлать, если она такъ безпомощна, кромъ того — потерпъть, когда на это въ силахъ.

Онъ укладывалъ малютку въ коляску, а по щекамъ его медленно струились слезы.

Къ полночи разстройство желудка у малютки прекратилось, но сонъ къ ней все-таки не приходилъ.

Стоило Чаеву на минуту остановить коляску отгуда черезъ минуту раздавался тихій и скорбный крикъ.

Онъ двигалъ коляску—крикъ замолкалъ. Но иногда не помогало и это. Тогда онъ бралъ ребенка на руки. Онъ зналъ, что чъмъ ни ближе Надюща къ смерти, тъмъ чаще у нея этотъ страхъ—страхъ не выносящій тищины, страхъ, покидающій Надющу только тогда, когда она почувствуетъ своимъ тъльцемъ тъло отца или матери.

Очутившись на рукахъ отца Надюша замолкала. То она съ безмърной радостью всматривалась въ его суровое, окаменъвшее лицо, которое въ слабомъ свътъ ночника могло бы напугать взрослаго человъка, и въ ея глазахъ была все та же мольба, просящая понять, какъ велика ея безпомощность; то жуткими, глубоко ушедшими въ свое страданіе, глазами смотръла куда то внъстънъ, внъ-пространства, а крошечная изсохшая рученка цъпко-цъпко держалась за руку Чаева, по временамъ вздрагивая такъ, точно и въ эти минуты ей приходило опасеніе, что не иллюзія-ли близкое присутствіе ея къ отцу.

Чаевъ давно забыль, когда онъ спаль по ночамъ не одътый. Ночь его заставала въ томъ, въ чемъ онъ быль одътъ днемъ. Такъ же было и съ Върой. Она спала на постели въ своемъ неизмънномъ черномъ платьъ. Уже нъсколько ночей Чаеву приходилось коротать ночи одному. Часовъ съ десяти вечера у ней начинался жаръ и бредъ.

Среди невнятнаго бормотанія чаще и яснѣе всего проскальзывала фраза: "Вонъ, вонъ, старая дура! Какая чудовищная тупость! Вонъ немедленю".

Чаевъ зналъ къ кому это относится.

Эго случилось семь мѣсяцевъ назадъ. Обстоятельства заставили Чаевыхъ на нѣсколько времени разъѣхаться. Онъ оставался въ столицѣ, Вѣра пріѣхала въ этотъ провинціальный городъ

за заработкомъ. Каждый день она должна была отлучаться на три часа изъ дому на уроки—съ ребенкомъ въ это время оставалась нянька. Старуха скучала съ Надющей и украдкой на эти часы уходила къ своимъ знакомымъ. И попала однажды къ такимъ, которые только что перебрались въ другую квартиру. Поболтать старухъ кое о чемъ много надо,—а ребенокъ мъщаетъ. Старая голова нашлась: "Сдамъ-ка я его ребятишкамъ. И мнъ не будетъ мъшать, и имъ веселье". Квартира пустовала три зимнихъ мъсяца—и въ такомъ то холодъ дътишки играя съ Надющей сбросили съ нея одъяло, оставивъ въ одной рубащенкъ.

А старуха, занятая разговорами ничего не замъчала, ей холодно не было: въ чемъ пришла съ улицы, въ томъ и сидъла!

Вернулась Въра съ урока домой—нътъ ни ребенка, ни старухи. И хотя сосъди успокаивали Въру, что старуха уходитъ съ ребенкомъ не впервые, что скоро, въроятно, она вернется—Въра, чуя недоброе, бросилась старуху искать.

Когда нашла—едва отворила дверь и видить, какъ старуха, торопливо кутая посивъвшаго ребенка въ одъяло, подносить его къ ней и... удивляется:

— Диву, барыня, даюсь! Рабеночекъ то, кажись, забольль. Съ чего бы? Всегда такой веселенькій —и вдругь сразу приключилось ни въсть што и отчего!

Ребенокъ перенесъ сильное воспаление легкихъ.

27

Въра мужу объ этомъ не писала. Когда онъ прівхалъ самъ-ребенокъ какъ будто уже поправился. Особенно ръзкихъ внъшнихъ примътъ бользнь послъ себя не оставила, кромъ небольшой блъдности и, когда Чаевъ замътилъ, что "Надюща почему то немножко побледнела"-Вера разсказала ему исторію съ Надюшей.

Онъ нахмурился:

— Эго не шутка!

А Въра, вертвла ребенка върукахъ и, со счастливой улыбкой говорила:

- Ничего. Успокойся! Теперь всякая опасность миновала, кромъ рахита. Но я и на этотъ счетъ мъры принимаю: лечу Надюшу у того же врача. Кръпенькая она у насъ: такую штуку перенесла, что даже и самъврачъ удивился. Ну, не хмурься! Теперь это для тебя-только тема для разсказа!

Эту заключительную фразу Чаевъ припомнилъ черезъ мъсяцъ, когда ребенокъ сильно похирълъ:

- Хороша тема для разсказа!

Черезъ три мъсяца онъ горько думалъ::

— Тема для драмы.

А теперь, наканунъ отъвзда жены съребенкомъ въ Крымъ, когда уже его грызли злыя предчувствія, что не только ребенка, но ижены, пожалуй, онъ больше не увидитъ въ живыхъ-онъ находилъ, что тема для разсказа расширилась до темы для трагедіи.

Кому мъщала эта вотъ еще нъсколько мъсяцевъ

назадъ обаятельная малютка, а теперь страшная тѣнь?

Никому! За что свержена въ преждевременную могилу молодая женщина, жизнь которой была единымъ свътлымъ порывомъ къ вершинамъ бытія? Ни за что! Кто его пойметъ, какъ это чувствуетъ онъ, когда погаснутъ для него эти два свъта-сколько бодрости, радости, счастья черпаль онъ въ этихъ двухъ раздавленныхъ жизняхъ? Никто! никто не повъритъ ему и никто не пойметъ его, что онъ нуждался въ жизни только въ этой женщинъ и въ этомъ ребенкъ.

Пришла слъпая, черствая и безсердечная тупость и предательски нанесла свой ударъ, а за этимъ ударомъ послъдовалъ ударъ отъ ожиръвшей алчности-и воть отъ двухъ больщихъ жизней, полныхъ гордыхъ порывовъ человъческаго духа, и отъ одной маленькой, вопіющей къ нему о своемъ правъ жить остался только никому ненужный ужасъ страданіи, а за страданіемъ смерть!

Вь эту ночь Чаевъ перешелъ за черту, гдв человъка уже ничъмъ нельзя поразить, а только тронуть. И когда наступилъ разсвътъ-онъ встрътилъ его глазами проклинающими и любящими, ненавидящими и благословляющими уже не во имя свое.

День тянулся безконечно.

Въра лежала въ постели, набираясь силъ на дорогу; Надюша покоилась около матери, думая свои строгія думы и, поглядывая любовно то на мать, то на отца, занятаго сборомъ и упаковкой вещей.

Къ шести часамъ вечера все было кончено. До отъвзда еще оставалось семь часовъ и эти часы Чаевымъ казались ввчностью. При сборв вещей они еще перекидывались словемъ-другимъ отомъ, что взять и что не надо, теперь ихъ давило то молчаніе, въ которомъ кроется страхъ и о кото ромъ ни тотъ ни другой не рвшается обмолвиться.

Чаевъ думалъ, что ждетъ жену и ребенка, когда они очутятся въ Крыму, при томъ еще съ очень ограниченными средствами, Въра думала тоже самое, но заговаривать объ этомъ считала лишнимъ.

Такъ они промолчали четыре часа и потомъ не выдержали. Страхъ покорилъ ихъ и кинулъ другъ къ другу.

Они лежали каждый на своей постели, притворяясь, что отдыхають, и вдругь оба поднялись, подошли къ окну, потомъ Чаевъ наклономъ головы сказалъ женъ, что ребенокъ спить, и, тъсно обнявшись, они пошли изъ комнаты, не обмолвившись ни однимъ звукомъ о томъ, куда идутъ.

Миновали дворъ, отворили калитку и очутились на двухъ аршинной полосъ: съ одной стороны заборъ, съ другой—крутой скатъ къ ръкъ. На краю этого ската виднълось возвышение. Въ темнотъ это возвышение Чаевъ принялъ за естест-

венную выпуклость почвы и, опустившись на него, жестомъруки указалъ Въръ на мъсто рядомъ съ собой.

Присъла и она. Возвышеніе дрогнуло и начало подъ ними понемногу раздаваться.

Оказалось, что это была груда мусора изъ мелкой щепы и битаго кирпича, сидъть на которой далеко не безопасно. Стоило кому (нибудь изъ нихъ сдълать болъе или менъе ръзкое движеніе и они съ кучей мусора скатились бы въ ръку.

Въра замътила:

- Имъй въ виду, что мъсто туть не мелкое.
- Знаю, отозвался Чаевъ.
- Я плавать не умъю.
- А я умъю, но, если мнъ очутиться въ водъ я пойду ко дну, какъ топоръ. Я очень, Въра, усталъ.
- По себъ върю, родной. Но, однако, давай отсюда переберемся на другое мъсто.

Чаевъ отвътиль пожатіемъ плечъ. Въра сказала:

- Но въдь, это безуміе! Подумай: мы не одни? Чаевъ тихо отвътиль:
- Можеть быть. Но върь мит или не върь състь я сълъ, а встать не могу. Силъ нътъ.
- Упрямый, устало бросила Въра и, обнявъ мужа объими руками, кръпко прильнула къ нему: если ужъ гибнуть, такъ вмъстъ!

И они сидъли на опасной кучъ мусора. Сидъли и мучались, что они дожили до того часа, ког-

да позорно бъжали отъ своей больной малютки.

Прошло все льто, идуть первыя числа августа—и за все это время ночи для нихъ были страшными ночами, когда у нихъ слипающіеся глаза и боязнь, что вотъ-вотъ кто нибудь изъ нихъ отъ усталости сейчасъ упадетъ и не поднимется. И каждая ночь была для нихъ страстнымъ ожиданіемъ разсвъта: настанетъ день и они увидять, что ихъ мучительно - чахнущей крошкъ легче!

Ради этого кръпились и надъялись. Теперь все это рухнуло. Надежда умерла, а на ея мъсто пришло отчаяніе.

Много, конечно, ночей видёль Чаевъ въ 29 лѣтъ, а Въра въ 25, но въ эту ночь они вглядывались такими широкими и жадными глазами, точно видъли ночь впервые.

Бдкая тоска заполняла ихъ: имъ казалось, что за время болъзни ребенка мимо нихъ проплыло какое-то большое счастье.

Слухъ ихъ былъ остро напряженъ и плакать имъ котълось горько и безпомощно, какъ плачутъ дъти, отъ тяжести этого мучительнаго ожидавія что воть-вотъ Надюша проснется и подастъ голось—и они уйдутъ, ихъ не будетъ на этой кучъ мусора.

Жаждой полнаго забвенія всему, что прошло и что грядеть, жили они: созерцать, только бы спокойно созерцать эту ночь, а тамъ будь, что будеть.

Голова Въры безсильно приникла къ плечу мужа:

— Родной, тишины... только тишины! Его рука безсильно легла на ея талію.

Да, Въра, тишины и мира.

Все Чаеву въ это время хотвлось забыть, все простить. Замирало застарвлое бышенство, что гдв-то есть злостно-тупая старуха, которую, нужно раздавить, если не за себя, то за другихъ, дабы она не принесла такого несчастья комулибо еще.

Хотвлось ему тишины и мира — и тишина и миръ пришли: забыть старуху онъ, конечно, немогъ, но простить — отъ глубины души онъ простилъ и пожалвлъ эту старую несчастную голову, мыкавшуюся всю свою жизнь по чужимъ угламъ.

И уже не жадными, а тихими и благодарными глазами Чаевъ и Въра смотръли на черный и тяжелый—тяжелый бархатъ воды: кажется—очутись подъ нимъ и онъ мягко раздавитъ.

Въ одномъ мъстъ ръки лунный свътъ ложился на воду косымъ свътлымъ полотномъ — тамъ съ мелодичнымъ всплескомъ игралъ серебристый метъ мелкой рыбешки.

За ръкой, на песчанномъ берегу, высятся темныя кошмы лъса. Дальше, за кошмами—большая степь, откуда сильн въяло смъшаннымъ ароматомъ всевозможныхъ травъ.

Не подалеку отъ кошмъ костеръ, надъ костромъ--котелъ, Въ ожиданіи ужина вокругъ костра сидять, лежать и стоять плотовые рабочіе. Босые, съ разстегнутыми воротами рубахъ. Одинъ голосъ чтото разсказываеть—словъ не разобрать.

Небо мягкое, низкое, такое же бархатное, какъ вода. Звъздъ было много, но такъ онъ были робки и отдалены — вся земля въ эту ночь была отдана во власть тихой, загадочно-глубокой тьмы.

Всюду какое то острое раздумье; всюду тишина — полная какихъ то невнятныхъ шороховъ; всюду покой, но покой пронизанный жутью чьихъ то неуловимыхъ движеній, тайной тайныхъ неслышныхъ ръчей.

Загадочная ночь! Многое въ такія ночи явное становится тайнымъ и тайное явнымъ.

Были или небылицы разсказываеть этоть плотовой рабочій своимъ товарищамъ—это не важно; важенъ его жесть, перемъна позы — тогда тънь его фигуры на водъ взметнется, потомъ дрогнетъ и замретъ, пугая и маня своею неподвижностью.

Огблески огня играють на суровых бородатыхь лицахь и нельзя повърить, что это обыкновенные мирные люди, люди тяжкаго труда: такъ они фантастичны!

— Родной, —внезапно заговорила Въра: — Когда я была еще дъвченкой лътъ семи — съ тъхъ поръ во мнъ проснулось стремление къ небу. И какъ тогда меня подавляло это величие, такъ и теперь. Посмотри на небо даже простымъ глазомъ — какъ все безмърно, безгранично, непостижимо! А когда

подумаешь, что земля наша только атомъ, что кромъ земли въ мірозданіи еще тысячи тысячъ невъдомыхъ и никогда недостижимыхъ міровъ, тогда кажешься себъ такой маленькой-маленькой, такой ничтожной, что какъ то даже странно, что ты живешь. Такимъ огромнымъ счастьемъ кажется жизнь и смерть: жить ли, умереть ли—все счастье! Такъ я чувствую жизнь и смерть. Небо подавляеть своимъ величіемъ человъка. И когда созерцаешь это величіе, то, по моему мнѣнію, только слѣпой не видить, что стыдно быть такойдрянью, каковы люди на землъ. Думалъ-ли ты, когда объ этомъ, родной?

Чаевъ согласился съ женой, что въ мірозданіи дъйствительно, все безмърно, но внутренне уже, насторожился: къ чему это она такую ръчь завела? И не успълъ догадаться, какъ слезы тоски прожгли легкую рубашку на немъ; плстнъе своимъ горячимъ тъломъ Въра приникла къ тълу мужа, голову спрятала у него на груди и говорила тихо и медленно:

— Умреть, Надя... Раньше казалось, что этого не переживу. Теперь не то. Больно оторвать отъ своего сердца этотъ большой кусокъ, но, знаешь: когда женщина любить отца своего ребенка, она при утратъ ребенка будетъ тъшить себя надеждой, что утрата одного вознаградится другимъ. Тъшила себя такой надеждой и я; потомъ отказалась и отъ этого: чувствую, что не жить мнъ. Умретъ наша Надя, умру я, а ты останешься

одинъ. Одинъ! Будетъ у тебя тоска по Надѣ, будутъ иныя невзгоды, а подѣлить тебѣ всего горькаго будетъ не съ кѣмъ. И вотъ, не ради радостей, не ради счастья, а ради горя твоего хотѣлось бы при тебѣ немножко пожить. Изжилъ бы ты его немного, полегчало бы тебѣ— тогда я спокойнѣе

Чаевъ весь похолодълъ и забормоталъ:

— Что за вздоръ! Въдь, ты же ъдешь въ Крымъ. И если Надюща не поправится, такъ ты...

И не договорилъ. Онъ передъ этимъ только что думалъ о томъ, какъ бы отговорить жену отъ поъздки въ Крымъ.

— Что я?—спрашивала Въра.

Но онъ молчалъ. До этой ночи, когда онъ видёлъ, какъ быстро таетъ фигура жены, какъ все плотнъе и гуще връзывается въ кожу лица зловъще землистый оттънокъ, какъ лицо отъ худобы, съ сильно заостряющимся носомъ начиваетъ принимать уже птичье выраженіе — тогда ему ярко припоминалась жена, когда была здорова.

Гдѣ тотъ прекрасный матовый цвѣтъ лица, тѣ вьющіеся нѣжно-пепельные волосы? Гдѣ тѣ два локона, брошенные на виски съ такой безумной расточительностью, передъ чѣмъ блѣднѣетъ самая изысканно-утонченная фантазія и, какую можетъ позволить себѣ только природа? Этихъ локоновъ уже нѣтъ; волосы день ото-дня все больше тускнѣютъ въ непріятно-желтый цвѣтъ. Въ мірѣ бездна богатства, умопомрачающей роскоши, соб-

лазнительнаго могущества власти — онъ шелъ мимо всвхъ этихъ благъ земли, не оглядываясь на нихъ, счастливый обладаніемъ только одной женщины. И вотъ у него красоту этой единственной для него женщины отняли!

За что? Въдь, одной неисчислимо-малой тъхъ богатствъ, какими располагаютъ богатые классы было бы достаточно сохранить ему дорогую женщину, но...

Такія мысли пронизывали его глубиной того бъщенства, когда, будь бы у него сила и власть онъ не задумался бы раздавить весь тоть господствующій надъ жизнью лицемврный міръ, который кричить, что превыше всего поклоняется красоть и топчеть ту красоту, которая не желаеть ему продаваться.

Но тоже самое бъщенство сознавало, что такой силы и власти нъть и безсильно изливалось во внутреннихъ крикахъ, что этотъ міръ можетъ только шествовать побъдоносно по трупамъ, а зернуть хотя бы одинъ упавшій волосъ съ головы—на такое чудо онъ не способенъ

Теперь-же, въ эту ночь, онъ отказался отъ такой роскоши, какъ былая красота жены — ему котълось плакать и, неслышимая мольба неслась изъ души отчаявшагося человъка къ Богу: "Оставь мнъ эту маленькую, больную женщину. Съ этимъ чахоточнымъ, птичьимъ лицомъ, съ этимъ въчнымъ жаромъ оставь мнъ жизнь этой маленькой женщины!"

А Въра уже поборола себя и съ тихой нъжной усмъшкой говорила:

— Въ самомъ дѣлѣ: къ чему себя обманывать, когда нельзя обмануть? Старенькая я стала, слабенькая—можно и умирать. Но, знаешь, родной—не забывай меня совсѣмъ! Полное забыеніе больнѣе всего. Будетъ у тебя горе—вообрази, какъ бы я его подѣлила съ тобой; будетъ у тебя радость—припомни, какъ я радовалась съ тобой, когда намъ жизнь немного улыбалась. Больше ничего. Помолчала.

— Видишь, какая я эгоистка: даже тамъ, за гробовой доской не хочу, чтобы ты забылъ меня! До глубины души пронизалъ Чаева такой "эгоизмъ" и онъ заплакалъ. Тъми, широко раскрытыми глазами—тъми тихими, но огненными по глубинъ скорби слезами, когда плачутъ безъ звука. Это—слезы неба!

Плакалъ онъ долго. А Въра—она чувствовала, что эти слезы ведутъ мужа къ той тишинъ, ко-торую уже обръла она и молчала.

Онъ выплакался. И въ первый моментъ послъ этихъ слезъ его охватила тревога; ему показалось, что въ немъ уже ни мысли, ни чувства—все ушло въ одну огромную пустоту и, чтобы внъ его не случилось—все будетъ подобно паденію камня въ колодецъ: одинъ звукъ и жуткая тишина—этотъ въчный голосъ пустоты!

И сколько бы онъ на то или другое явленіе не прислушивался — мысли и чувства его будутъ одной только тревогой, ибо пустота не родить ни образа, ни мысли, ни чувства, кром'в неопредвленнаго, безобразнаго страха.

"Туда, скорве въ эту темную гладь воды!—и онъ сдвлалъ молчаливую попытку освободиться изъ рукъ жены. Ввра инстинктивно поняла его намвреніе, и голось ея зазвучалъ сурово:

\_ Ой, родной, какъ стыдно!

И онъ сразу виновато притихъ, какъ школьникъ пойманный на мъстъ проступка. Ему хотълось сказать, что онъ виноватъ, но упрямая мысль, подсказывающая ему что виноватъ ли въ данномъ случать онъ—это еще вопросъ, останавливала его отъ признанія. Онъ подбиралъ слова, какими бы можно было начать объясненіе въ свое оправданіе, но слова не подбирались, а внутренній голосъ твердилъ, что онъ "виноватъ".

И когда онъ покорился этому внутреннему голосу, тогда въ первый разъ онъ такъ полно почувствоваль всю власть и все величіе смерти надъ міромъ. Все пусто, все ничтожно передъ смертью, она нерушимая власть въ прошломъ и будущемъ—и это могущество ея роднило его не сънеизбъжностью, несътой темной и сграшной неизбъжностью, какъ эточувствовалъ раньше, а съ новымъ для него чувствомъ—великимъ и свътлымъ: съ одной стороны—въ воду метаться съ отчаянія гръшно и стыдно, съ другой—если бы кто-нибудь въ этотъ моментъ внушилъ Чаеву, что онъ безсмертенъ, онъ пришелъ бы въ ужасъ и закричалъ бы, что

величайшаго несчастія, какъ безсмергіе, для человъка нельзя придумать. Смерть чудилась ему какъ благо, какъ послъдній благословляющій и жизнь и смерть вздохъ, о которомъ думалось ему такъ легко и кротко: "что-жъ, всъ умремъ и, можетъ быть, всъ вновь будемъ жить. Только слъпой съ ропотомъ принимаетъ свой конецъ, да тотъ, кто имъетъ право роптать".

Все шире и глубже раскрывалось передъ нимъ преступленіе человъчества передъ человъкомъ, вознося его на міровую Голгову, гдъ власть однихъ надъ жизнью и смертью другихъ обнажалась съ цинично-чудовищной откровенностью.

Сколько ихъ, этихъ имъющихъ право на ропотъ, не осъненныхъ близостью смерти, а распятыхъ на крестахъ жизни? Обильны, какъ морской песокъ! Идетъ холодная и злая сила и кто стонеть, кто раздавленъ подъ ея пятой—старецъли, младенецъли?—она ничего не видитъ и не слышитъ. Ему припоминалась его малютка—ея ропотъ—слезы, когда она видитъ или слышитъ ръзвящихся дътей.

Ему было больно такъ же, какъ и раньше, но впервые къ этой боли примъшалось чувство тайной радости: "Надюша умретъ и не увидитъ и не содрогнется отъ всего этого ужаса земли!"

Онъ зналъ, что сегодня, въ эту же ночь онъ при взглядъ на маленькое изстрадавшееся тъльце почувствуетъ, какъ у него окаменъетъ лицо, глаза застынутъ въ тяжелой неподвижности отъ этой

муки—видъть, какъ мучительно-медленно умираетъ маленькая жизнь, видъть, какъ изъ цвътущаго еще недавно ребенка остался скелетъ, обтянутый высохшей кожей—и все таки внутренно повторялъ: "Надюща умретъ и не увидитъ и не содрогнется отъ всего этого ужаса земли".

Онъ чувствоваль, что боль утраты ребенка, будеть утратой незабываемой, но на ряду съ этой болью будеть постоянно жить и это чувство тайной радости, что ранняя гибель малютки отняла у нея возможность знать ту крайную степень содроганія передъ жизнью, какую пережиль онь, взрослый человъкъ.

Осторожно онъ началъ подниматься съ груды мусора, помогая встать и женъ. Она вставала и говорила:

— Къ Надюшъ ? Да, да, пора. Мы передъ ней виноваты! Идемъ-ка искупать передъ ней свою вину. Хотя она у насъ добренькая: долго не сердится.

Лунний свътъ падалъ на лицо Въры и Чаеву хорошо было видно, что это лицо нашло уже въ себъ силу отръшиться отъ жизни. Такъ оно было свътло, спокойно, такъ глубоко пронизано послъднимъ, тихимъ примиреніемъ: "Прости земля!"

Онъ благоговъйно поцъловалъ жену въ лобъ и опять было въ немъ вспыхнулъ взрывъ отчаянія: умретъ маленькій, добрый скелетикъ, за нимъ его жена, а онъ останется одинъ—къ чему и съ чъмъ?

И опять темная гладь воды показалась ему спасеніемъ. Въра было тронулась къ калиткъ, но онъ ее задержалъ:

— Слушай, родная. Умретъ Надя, допустимъ, что умрешь ты—послѣ васъ я никчемный человъкъ въ жизни. Для чего жить, когда разбито въ жизни самое дорогое? Какой смыслъ въ той жизни, когда она только мука? Какъ не озвъръть, когда кругомъ звъри?

Въра не дала мужу высказаться до конца, съ улыбкой его оборвала:

— Ну, вотъ. Легко жить всв хотять. Ты поживи, когда тебв трудно. Будетъ тяжко, весь міръ покажется безсердеченъ и теменъ, какъ черная ночь — противупоставь міру наличность своихъ лучшихъ чувствъ и помысловъ. И поввры: будетъ легче!

Чаевъ отмахнулся рукой:

- Будеть ли? Родная, ты забываешь, что такое одиночество!
- Вовсе нъть. Когда ты почувствуещь себя, что ты большой одинокій, въ средъ маленькихъ одинокихъ—тогда вспомни, что у человъка есть величайшій другъ: природа! Люби, родной, землю и небо, какъ земля и небо любятъ насъ. Ненавидь все дурное въ человъкъ, но если не перестанешь любить хорошаго въ немъ, ты никогда не будешь одинокъ.

Такой огромный наплывъ новыхъ мыслей и

чувствъ надвинулся на Чаева, котораго онъ всего пъликомъ сразу осознать не могъ.

Онъ смотръль на груду мусора и видълъ, что его первые шаги по безусловно върному пути— это отъ этой груды мусора; на этой грудъ онъ оставилъ многое изъ собственнаго мусора души, накопленнаго за 29 лътъ жизни—такъ ему было очевидно, что не будъ сегодняшней ночи, онъ, можетъ быть, въ этомъ собственномъ мусоръ рылся бы всю свою жизнь, принимая во многомъ ложь за истину, а истину за ложь.

Они тронулись. Шли тихо, не спѣша. Когда вошли въ комнату и подошли къ коляскъ ребенка—удивились: Надя не спала. На ея лицъ было то строгое раздумье, которое все строже и глубже, чъмъ ни ближе она къ концу.

Съ минуту она отца и мать какъ будто бы не замъчала, но видъли они, что она ихъ хорошо видитъ и понимаетъ ихъ больше, чъмъ они ее, ибо она ближе ихъ къ въчности.

Потомъ Надюща вдругъ вскинула на нихъ огромные отъ худобы и отъ страданія глаза и обожгла ихъ тишиной радости: изъ глазъ ея струилась полоса свъта, а маленькія уста внятно, съ невыразимой нъжностью произнесли:

<u>— Ма-ма... Па-на...</u>

За время бользни ребенка они только два раза слышали отъ него эти слова; и было это въ моменты, когда ребенокъ изнемогалъ отъ муки, а они впадали въ безсильное отчаяніе.



И вотъ тогда изъ груди маленькой крошки вырывался призывъ къ терпънію, звучавшій для нихъ величайшей наградой.

Теперь тонъ у малютки былъ другой. Она ихъ ни о чемъ не просила: со своихъ незримыхъ высотъ, гдъ близящійся духъ смерти пріобщилъ ея больше къ тайнамъ бытія и небытія, чъмъ то доступно человъческому сознанію, находящемуся еще подъ властью плоти—она ихъ только привътствовала!

Очарованные, они нъсколько минутъ въ молчании смотръли на малютку. Потомъ Въра взяла ее на руки и съ тъмъ свътлымъ лицомъ, какое можетъ быть только у человъка, пребывающаго въ бреду и бредящаго о чемъ то прекрасномъ говорила:

— Да, Надюша... Мы скоро отдохнемъ... Мы, родная, скоро отдохнемъ! Мы, Надюша, очень устали!

По лицу Въры медленно струились слезы. Чаевъ смотрълъ на жену и на дочь и слезы слъпили и его. Но эти слезы не были слезами упадка. Онъ видълъ, что тънь смерти неотступно легла на жену и ребенка—но это уже его не пугало, ибо всталъ и онъ на върный путь: на путь къ смерти. И чувствовалъ онъ, что будугъ тверды и спокойны его шаги по этому пути, какъ человъка, хорошо знающаго не куда онъ идетъ, а что онъ обязанъ итти по этому пути—по пути къ смерти. И чтобы его не ждало—радость отдыха на землъ

или длинная полоса бѣдъ и несчастій—ни въ радости, ни въ несчастіи онъ не свернетъ съ этого пути и не дрогнетъ на немъ и не забудетъ, что человѣкъ на землѣ долженъ быть не врагомъ смерти, а другомъ ея.

Онъ оглядывался назадъ-въ прошлое-такъ не легокъ былъ пройденный путь, что какъ то непонятно, какъ можно такой путь выдержать не упасть на немъ; взглядъ впередъ, въ будущееодиночество, темь и страхъ, но въ эти минуты прозрвнія онъ видвль, что страхъ передъ жизнью - это только крикъ немощной плоти. Ему котвлось силы огромной, нечеловъческой-не той, которая воть какъ теперь въ немъ родила больную боль сладкаго мученичества распятаго на креств жизни, а той, въ которой не было бы крика плоти, котя бы и самовозвышающагося. Силы не чувствительной къ уколамъ жизни, силы, мудро-спокойно принимающей на себя всв удары, какъ фатальныя послъдствія допущеннаго зла на земль, силы-достойной быть другомъ смерти.

Смерть ему чудилась, какъ величайшая любовь къ человъчеству и какъ величайшая мученица въ въчности: она грозно обрываетъ біеніе жесткихъ сердецъ палачей жизни и со скорбей принимаетъ послъдній вздохъ рано раздавленныхъ жизнью.

Онъ подошель къ женъ и сказалъ ей съ точно такимъ же выраженіемъ, какъ и она—точно былъ въ бреду и бредилъ о чемъ то прекрасномъ:

— Родная! Силы хочу, силы. Неизмёримой бы мощи для того, чтобы бороться съ палачами жизни. Сколько ихъ? Тьма! А воть не страшно. Вспыхнуло и горить во мнъ чувство, что надо выпить всю чашу жизни, какъ бы она не была велика и горька, ибо дано намъ нъчто для того, чтобы переживать не однъ только радости!

И, когда онъ кончилъ, Въра сейчасъ же под-

— Вотъ, вотъ! Върно! Ты не думалъ, что моя поъздка въ Крымъ—безуміе?

Чаевъ подтвердилъ, что—думалъ, что намѣревался сегодня даже Вѣрѣ объ этомъ говорить.

- Въ какомъ тонъ?
- Да хотъль тебя отъ поъздки отговорить. Лучше, молъ, остаться здъсь и ждать, когда смерть подберетъ.
  - Ну, а теперь, какъ думаешь?
  - У Чаева понурилась голова.
  - Надо, родная, ъхать. А, можеть, быть...
- Вотъ, вотъ! И я такъ думаю. Не сдамся. Ни за что до конца не сдамся!—и Въра припала къ плечу мужа головой и, говорила послъ бодраго, энергичнаго тона, уже съ тоской:—Ахъ, родной, когда вотъ такъ хорошо пострадаешь, какъ пострадали мы и, когда смотришь на жизнь черезъ это страданіе—какія тогда безграничныя перспективы радостей жизни открываются! Радостей чистыхъ, возвышенныхъ. Радостей, которыми будешь наслаждаться, какъ человъкъ, а не какъ

слъпое и жадное животное, готовое всегда и у всъхъ отнять то, чего нельзя отнимать... Всегда я думала: лучше съъсть свой маленькій кусокъ, чъмъ большой, да ворованный.

Чаевъ настоялъ, чтобы Въра вхала во второмъ классь. Въра было пыталась протестовать:

— Дорого. Лучше въ третьемъ.

Чаевъ хмурился.

— Экономь на чемъ либо другомъ. Дорога дальняя: четверо сутокъ. И въ третьемъ классъ съ мужиками и махоркой ты Надю и до Крыма не довезешь.

И онъ пошелъ и взялъ билетъ второго класса. Вагонъ былъ полонъ. Присутствіе постороннихъ лицъ, а главнымъ образомъ эта тягостная повздка, заставляли Чаевыхъ быть сдержанными.

Они говорили о пустякахъ, какими стараются замаскировать внутреннюю тревогу.

Вѣра просила мужа, чтобы онъ чаще писалъ, съ нѣжной шуткой въ голосѣ упрекая, что онъ на это «большой лѣнтяй», Чаевъ говорилъ, чтобы она поэнергичнъе лечилась.

Дали второй звонокъ. Надюща смирно лежала въ углу дивана. Чаевъ взялъ ее на руки и съ замъчаніемъ, что «должно быть, ужъ спитъ», подошелъ съ ней поближе къ свъту.

Надюща оказывается не спала. И когда онъ наклонялся, чтобы поцъловать ее въ лобикъ—на него изъ ея глазъ хлынула такая любовь и нъжность, что онъ сразу понялъ: «Такъ прощаются только тъ умирающіе, которые чувствують, что больше не увидятся».

Ему хотълось сказать, чтобы жена вхала одна, что этимъ она избавится отъ лишнихъ мученій, а ребенка онъ похоронить здёсь, но онъ промолчаль, ибо зналь, что жена на это не пойдеть.

Въ глазахъ у него помутнъло и, какъ въ туманъ онъ видълъ—подошла Въра, сдержанная, но съ испугомъ во взоръ, съ лицомъ блъднымъ, какъ полотно. Еще мигъ и ея руки судорожно кръпко обвили его шею, а уста приблизившись къ его уху, шептали:

 Родной, ѣдемъ вмѣстѣ. Прости, но... не могу представить, какъ я останусь безъ тебя.

У него невольно вырвалось:

— Я тоже не могу представить. Но на что же я съ тобой поъду? Дай Богь тебъ перебиваться на эти средства.

Это заставило Въру опомниться. Покорно и кръпко она поцъловала мужа, взяла у него ребенка и сказала:

- Иди.
- Но нътъ еще третьяго звонка?
- Ничего. Такъ будетъ легче.
- Да. "Такъ будеть легче",—повториль Чаевъ

и, поцъловавъ руку жены, вышелъ изъ вагона. Стоялъ противъ окна вагона и смотрълъ.

Дали звонокъ и поъздъ черезъ три минуты исчезъ за лъсомъ.

Тихо пошелъ Чаевъ домой, переживая то мучительное чувство, когда человъкъ не знаетъ, куда себя дъть.

Некуда торониться, нечего дёлать, велика вемля, а отъ горя своего на ней иногда никуда не уйдешь—такія мысли медленно вели его въ уголь его жилья, гдё тема для разсказа развернулась для него въ тему для трагедіи.

Когда онъ пришелъ домой—первое, что ему бросилось въ глаза—это котъ, съ расширенными отъ отчаянія глазами, мечущійся по комнать Чаевъ его понялъ: котъ вообразилъ, что его бросили.

Шесть мъсяцевъ назадъ Чаевъ привезъ его сосункомъ, былъ онъ тогда жалокъ, еле ползалъ, но такъ дикъ, что при появленіи всякаго посторонняго лица шипълъ и щетинился. Пищу принималь только отъ Чаева, но кромъ пищи требовалъ и еще кое чего.

Въ дни и ночи, когда уходъ за ребенкомъ затягивался по цёлымъ днямъ или ночамъ—этотъ звёрокъ въ то время иногда раздражалъ. Присядетъ Чаевъ—котенокъ лёзетъ на колёни; пойдеть съ ребенкомъ по комнатё—нужно глядёть, чтобы котенка не раздавить. Неустанно онъ кружился подъ ногами и, стоило Чаеву замедлить шагъ

или остановиться—ввёрокъ при помощи слабыхъ еще безсильныхъ когтей добирался по брюкамъ только до колънъ, а дальше не могъ и висълъ Чаевъ его отшвыривалъ или бросалъ на кровать Въры съ просьбой, чтобы она его отъ него избавила, но котенокъ отъ Въры не принималъ ласкъ и стремился къ Чаеву.

Вновь упорно, сколько бы его не скидывали, льзъ не выше кольнъ и висьль тамъ, судорожно стараясь удержаться, крошечный и неуклюжій жалкій и трогательный: съ мольбой животнаго смотрълъ онъ вверхъ и пищалъ, чтобы взяли и его.

И Чаева пронимала жалость; онъ бранъ его и сажаль на плечо-тамь звёрокь успокаивался, причиняя, однако, Чаеву иногда боль. Стоило ему наклониться впередъ-котенокъ, чтобы удержаться, впускаль ему въ плечо когти.

Приходилось терпёть, ибо и самому было жаль эту крошечную дикую жизнь, да и Въра заявляла. что звърокъ въ концъ-концовъ ее трогаетъ до слезъ.

И часто тогда у Чаева съ горькой улыбкой вырывалось: "Вотъ еще наказаніе то!" — теперь котъ для него сталъ дорогимъ воспоминаніемъ.

Отъ двери онъ позвалъ:

- Васька!

И мечущійся по комнать коть могучимь прыжкомъ очутился у него на плечв и жался къ лицу; все его твло дрожало отъ нервной дрожи, глаза, расширенные и возбужденные, въ слабомъ свътъ ночника ярко горъвшіе, какъ два круглыхъ зеленыхъ огня, съ недоумъніемъ смотръли на разбросанныя по комнать вещи, а въ особенности на-то мъсто, гдъ всегда стояла коляска ребенка. Приходъ Чаева его обрадовалъ, но отсутствіе коляски для него тоже было, очевидно, не малымъ безпокойствомъ. Онъ смотрълъ на пустое мъсто и мяукалъ.

Чаевь сняль его съ плеча и прижаль къ

груди.

— Милый авъры! И тебъ больно? И ты тоскуешь?

Припомнилась пора, когда котъ подросъ. Въ два мъсяца онъ уже не висълъ на колъняхъ: ловкій прыжокъ и онъ на плечв. Освоился съ Върой, съ Надюшей подружилъ: любилъ спать въ ея коляскъ, игралъ съ ней, что не всегда сходило ей безнаказанно: на ея рученкахъ оставались царапины. А потомъ котъ сталъ запумываться. Въ его тълъ все больше гибкости, задора, жизни, требующей движенія и развлеченія, а его маленькій другь ничего этого не разділяетъ. Напрасно онъ своими мягкими, бархатными лапочками, которыя уже научились скрывать когти тамъ, гдъ это не у мъста, нъжно заигрываетъ съ Надюшей—Надюща равнодушно взглянетъ на него и отвернется. И сидить тогда котъ, посматривая на Надюшу, немного обиженный и недоумъвающій: отчего она не принимаетъ его

49

ласкъ? А подъ конецъ онъ, должно быть, кое что понялъ: самъ Надюши не безпокоилъ, но если замъчалъ, что она не прочь посмотръть на него—онъ всегда готовъ былъ показать ей, сколько въ немъ неистощимой граціи, красивыхъ движеній, могучихъ прыжковъ и хитрыхъ уловокъ звъря.

И вотъ нътъ Надюши!

Теперь Васька—великольпный экземпляръ изъ ръдкихъ сибирскихъ породъ: шесть мъсяцевъ, а восемь фунтовъ въсу.

Тигръ въ миніатюръ. Дикій, неприступный для постороннихъ. Уже не шипитъ и не щетинится. Красивъ такъ, что рука невольно тянется къ его блестящей, выхоленной спинъ съ причудливой шерстью, а Васька этого не проститъ: взмахъ лапкой и рука въ крови! Потомъ немного отойдетъ и сядетъ и смотритъ на пострадавшаго гордыми, злыми глазами, точно говорящими: ласки твоей не прошу—значить не трогай меня!

И такой звърь теперь вотъ мяукаетъ!

Гладилъ Чаевъ кота и повторялъ, чувствуя, что въ этихъ словахъ выливается вся его боль и тоска:

— Милый звърь! И тебъ больно? И ты тоскуешь?

Такъ они, человъкъ и звърь сидъли до разсвъта, привязанные другъ къ другу свято и нерушимо: звърь тъмъ, что полюбилъ человъка, а человъкъ къ звърю за то, что привязанность звъря болъе благородна, чъмъ то бываетъ у людей. И когда встало солнце—юное, горячее и ликующее надъ землей, какъ въчный даръ неба, какъ символъ безпредъльной любви, дающей жизнь былинкъ и букашкъ, человъку и палачамъ его въ образъ человъка!—тогда звърь равнодушно отъ солнца отвернулся, а человъкъ звърю съ тоской сказалъ:

 Васька, Васька! Если бы ты зналъ, какъ иногда больно жить на землъ.

И тоже отвернулся отъ солнца... съ ненавистью! Въ этотъ день, къ вечеру, Чаевъ изъ этого города увхалъ, увозя съ собою и кота.

Сутки пробыла Въра въ пути благополучно. А дальше...

Пассажиры въ вагонъ принадлежали къ той публикъ, которая въ пути безъ книгъ и газетъ не можетъ обходиться.

Всв читали. У кого въ рукахъ газета, у кого--

Всв постепенно знакомились другъ съ другомъ, всв предупредительно оказывали другъ другу дорожныя услуги, кромъ Въры: отъ нея сторонились.

Она относилась къ этому спокойно, ибо принадлежала къ тъмъ натурамъ, у которыхъ хватаетъ силы на человъческую низость отзываться холоднымъ взглядомъ. Но за свою малютку она глубоко страдала, когда видъла, что Надюща чувствуетъ эти косые взгляды на нее и на ея мать.

"Какъ мало истиннаго состраданія и милосердія на землѣ,—думала она:—Неужели изъ всѣхъ этихъ господъ ни у кого нѣтъ настолько сознанія, чтобы понять, что ребенокъ въ подтачивающемъ его недугѣ виновать менѣе всего!".

И ее порывало крикнуть: "Скоты!"

Но встрвчалась она съ глазами своей малютки и они ей давали самообладаніе: такъ хорошо читала она въ этихъ огромныхъ и сдухотворенныхъ отъ страданія глазахъ сознательное презрвніе "къ эстетикъ" окружающихъ господъ.

Одна красивая, выхоленная барынька изъ тѣхъ, которыя вѣчно отъ чего-то лечатся—весной была въ Самарской губерніи на кумысѣ, лѣтомъ на Кавказѣ, теперь ѣхала въ Крымъ,—сумѣла задѣлаться кумиромъ всего вагона. Тонко кокетничая, она томно говорила о несчастъѣ быть нездоровой и ея жалобы звучали такъ мило, за что иначе нельзя платить, какъ трогательнымъ вниманіемъ. И дань вниманія ей несли обильно: мужчины передъ ней и по вагону ходили на цыпочкахъ, дамы соболѣзновали о ея нездоровъѣ. Утопая въ шелку, обложенная бархатными подушками, о которыхъ говорила, что "въ дорогѣ можетъ выносить только такія", кутаясь въ огромное мѣховое боа изъ соболя, она благосклонно—снисходи-

тельно принимала поклоненіе дамъ и мужчинъ.

Ей оказывали "милосердія и состраданія" много, слишкомъ много! И всё эти ухаживающіе за ней пассажиры обоего пола создавали иллюзію, когда нельзя неподумать: "Какіе милые, воспитанные люди!".

И вдругъ эта иллюзія исчезла по винъ больного ребенка Въры: отъ перемъны воды у него появилось разстройство желудка.

Вотъ тутъ то и началось!

Отъ ръзей въ животъ малютка плакала.

Пассажиры глухо зароптали.

— Тутъ не лазаретъ. Такіе должны вздить въ особыхъ вагонахъ.

А такъ какъ мать ребенка не хотвла этого ропота слышать— ей сочли нужнымъ заявить вслухъ:

- Сударыня! Вы бы отсюда потрудились убраться.
- Куда прикажете? холоднымъ взглядомъ уставилась Въра на господина съ носомъ алкоголика, съ обильными прыщами на физіономіи, но съ великолъпнымъ проборомъ волосъ на головъ и въ идеально сшитомъ сюртукъ.
  - Куда нибудь въ другой вагонъ, сударыня.
- Я полагаю, что и въ этомъ вагонъ имъю право ъхать, сударь!

Господинъ ретировался.

Въра дала ребенку каломеля. И когда его начало слабить, когда въ атмосферу вагона насы-

щеннаго духами вошель слегка кисловатый запахъ совершенно жидкихъ испражненій, ибо малютка кромъ небольшого количества муки Нестле за сутки ничего не принимала — тогда уже поднялась барынька.

Она лежала на своихъ бархатныхъ подушкахъ въ позъ, точно умирала, но голосъ былъ крикливъ, по животному-произителенъ:

— Ахъ, не могу! Одеколону, спирту, чего нибудь... Бога ради, тамъ у меня въ дорожномъ несессеръ пульверизаторъ! Я больна... Мнъ нуженъ покой... У меня нътъ ни малъйшаго желанія отъ кого то заразиться холерой!

И двое изъ ея наиболье ярыхъ поклонниковъ начали дъйствовать. Господинъ, въ идеально сшитомъ сюртукъ, ревълъ на Въру: "Вонъ! Немедленно вонъ отсюда!", другой, въ формъ инженера, носками сапогъ выбрасывалъ дътскія простынки за дверь вагона—двъ замаранныхъ, а нъсколько чистыхъ, должно быть, ужъ для болье полнаго счета!

У Въры замеръ голосъ. Ищущими глазами она смотръла на столпившихся пассажировъ и ждала: неужели никто не запротестуетъ? Если не мужчины, такъ женщины, по лицамъ которыхъ видно, что многія изъ нихъ не разъ были матерями? Но тщетно ждала Въра. Изъ всей этой воспитанной и выхоленной на сокахъ народныхъ рафинированной черни было много что то кричавшихъ противъ Въры злыхъ лицъ и нъсколько—смущен-

ныхъ, которые, пожалуй, и желали бы замолвить словечко за больную женщину съ больнымъ ребенкомъ, да не осмъливались!

Барынька завопила:

— Невыносимо! Кондуктора!

Инженеръ бросился за кондукторомъ, а "идеальный сюртукъ" началъ аттестовать себя передъ пассажирами "рыцаремъ":

— Господа! Эту строптивую женщину, по правилу, надо взять за плечи и вывести, если она упорно не желаетъ подчиниться общему протесту. Но господа, я привыкъ рыцарски относиться къ женщинъ. Я уважаю женщину и не могу допустить себя до грубыхъ мъръ, хотя бы она этого и была достойна. Извините, господа, ничего не могу подълать. Тутъ ужъ дъло кондуктора!

И онъ, отодвинувшись на нѣсколько шаговъ отъ Вѣры, поклонился пассажирамъ, прижимая руку къ груди, какъ актеръ на сценѣ, когда отвѣчаетъ на аплодисменты.

Вначаль этого позора ребенокь отъ ръзи въ животъ плакалъ, но потомъ, очевидно, забылъ боль и притихъ: онъ молча смотрълъ на злыя лица вслушивался въ крики.

И когда Въра заглянула въ лицо своей малютки—съ лица малютки и изъ глазъна нее илынулъ такой ужасъ, отъ котораго она застыла сама. Стояла и уже не видъла ни толпы пассажировъ, ни вагона, ни своего ребенка—безъ мысли, безъ чувства, съ однимъ ощущениемъ непередаваемаго ужаса.

Явился въ сопровожденіи инженера старшій кондукторъ.

— Воть, эта мадамъ! — ткнуль на Въру пальцемъ инженеръ.

Оть возбужденія онь задыхался.

Кондукторъ взглянулъ на Въру, на ея ребенка, на пассажировъ — и заявилъ:

— Не могу, господа! Не вправъ. Пассажирка имъетъ такія же права, какъ и всъ. А что касается непріятности—со взрослыми это случается, а тутъ... Примите, господа, во вниманіе: тутъ и вовсе—больной маленькій ребенокъ!

И кондукторъ тронулся изъ вагона.

Инженеръ грозилъ кондуктору:

— Я знаю порядки! На первой же станціи я заставлю начальника станціи объяснить вамъ ихъ!

Слышались голоса, что "туть не лазареть", что "жельзнодорожная прислуга въ Россіи по грубости убійственна", что "эту прислугу нужно учить жалобами"—кондукторъ шель изъ вагона не обращая вниманія.

И вдругъ вернулся къ Въръ:

— Мадамъ, прошу васъ състь. Такъ вы упадете! Гдъ ваше мъсто?

И онъ взялъ Въру за руку. И только тогда Въра пріобръла способность ръчи:

— Бога ради, переведите меня отсюда въ третій классь! Кондукторъ возразилъ, что такъ какъ у ней билетъ второго класса, онъ ее и переведетъ во второй; Въра стояда передъ нимъ умоляющая:

— Бога ради, въ третій! Вотъ мои вещи. Не будете ли добры?

Кондукторъ прежде отвелъ Въру, потомъ пришелъ за вещами, послъ вещей пришелъ въ третій разъ—собиралъ у двери вагона и за дверью разбросанныя дътскія простынки и качалъ головой.

Рафинированная чернь посматривала на него и уже не кричала: прятала свои когти, тихо перешептываясь.

Въ третьемъ классъ къ Въръ отнеслись сочувственнъе.

Простымъ бабамъ и мужикамъ горе матери оказалось понятнъе. Женщина лътъ подъ 50 помогала Въръ положить ребенку на животъ согръвающій компрессъ и говорила:

— Дѣло знакомое. Чужихъ лобановъ изъ богатыхъ своей грудью вскармливала, а свои дѣтишки мерли! Народишь младенца, бросишь его въ деревнѣ на соску, а сама въ городъ: нужда то и отъ родного дитя оторветъ! Откормишься тамъ, а своего младенца то ужъ нѣтъ. Такъ то, молодица! Богатство то все дѣлаетъ. Родить барыни умѣютъ, а кормить не желаютъ. Имъ удовольствіе, а намъ — поднимай-ка своей бабьей кровью господскихъ дѣтей.

Пожилой рабочій, въ страшно засаленной блузь, со злобой потеръ руками и подхватиль:

— Върно, тетка! Да и поднимай то еще на свою шею: мужицкой кровью вспоены, а мужика давять. Кровопійцы! Эхъ, большой непорядокъ на земль!

Такая тема захватила въ вагон виногихъ. Мужики, бабы, ремесленники обсуждали свое "житьебытье", да житье "баръ" и, хотя по внашности Въры видъли, что она "не народъ", но со свойственнымъ народу великодушіемъ не добивать человъка въ несчасть в, поглядывали на Въру участливо.

А Въра посматривала на эти грубыя лица, прислушивалась къ ръчамъ и думала: "Живъ Богъ въ душъ простыхъ людей".

Когда ребенокъ успокоился и заснулъ, она нъсколько разъ принималась за письмо къ мужу.

Написала:

"До сихъ поръ я не знала—до какой степени интеллигентные люди способны быть звърями! Немыслимо забыть этотъ ужасъ, гдъ толпа упитанныхъ негодяевъ и негодяекъ гнала меня съребенкомъ изъ вагона вонъ".

И разорвала.

"Я хотъла двумъ негодяямъ дать по пощечинъ и не могла: меня охватилъ столбнякъ. Я думала—какимъ словомъ назвать цълый вагонъ людей, изъ котерыхъ не нашлось ни одного голоса, который бы вступился за меня и за Надюшу, словомъ, ко-

торое бы передавало всю омерзительную сущность этихъ господъ—и такого слова не могла придумать. Отнынъ звукъ— "культурные люди"—вызываетъ у меня представление существа, въ гадливости съкоторымъ ни что не можетъ сравниться"!

Разорвала.

"Родной, если бы ты видълъ, какой ужасъ видъла я въ глазахъ Надюши, когда она смотръла на то, какъ насъ гонятъ?! Умирать буду, этого ужаса не забуду".

Разорвала.

"Чего еще ждать отъ этихъ людей? Развъ недостаточно одного этого факта, о которомъ буду говорить ниже, чтобы оставить за собою правоненависти на всю жиззь къ этому классу?".

Разорвала и это. Все ей казалось недостаточновыразительнымъ. Ръшила отложить письмо до другого дня, когда немного успокоится; но на другой день мысль о такомъ письмъ отбросила совсъмъ.

Представила себъ, какъ такой фактъ отзовется на слишкомъ нервной возбудимости мужа и пришла къ заключенію, что о такихъ вещахълучше всего разсказать лично.

Дорога длилась четверо сутокъ. Трое сутокъ проведенныхъ въ третьемъ классъ отозвались на Въръ и на ея ребенкъ тяжко. Отъ жесткихъ неудобныхъ скамей Въра чувствовала себя совершенно разбитой, все тъло точно было налито свинцомъ и неустанно болъзненно ныло; ребенокъ—отъ густо накуреннаго воздуха онъ такъ кашлялъ, что вызывалъ опасеніе у матери, какъ бы онъ не задохнулся.

Нъсколько разъ Въра готова была перебраться во второй классъ—но такъ и не—ръшилась.

Пережитая сцена во второмъ классѣ вошла въ нее жуткимъ страхомъ, неустанно томящимъ и терзающимъ: стоило ей только увидѣть лицо, на которомъ не лежало печати низовъжизни,—скрытый страхъ переходилъ въ открытый испугъ.

Сытыя и выхоленныя лица, куда трудь не наложиль своего облагораживающаго лицо отнечатка—той мудрости, которая знаеть, какъ велика и мучительна борьба за существованіе трудящагося человіка,—и куда голодь не занесь своей ни одной угрюмой морщины—были Въръ противны.

Блестящіе туалеты дамъ и модные костюмы мужчинь сдёлались для Вёры пугаломъ. Она вглядывалась изъ окна вагона въ пышно разодётыхъ господъ, когда они во время остановокъ на станціяхъ совершали прогулки и видёла, что кромё пресыщенія жизнью, а одновременно и безмёрной жадности къ ней на лицахъ этихъ людей ничего не было.

И раньше она относилась къ празднымъ клас-

самъ отрицательно, но все же иногда не могла себъ отказать въ удовольствіи посмотръть на изящныя элегантныя фигуры; отнынъ же, каждая такая фигура стала ей говорить отомъ чудовищномъ міръ, гдъ каждый охваченъ безуміемъ имъть больше, чъмъ у другихъ—почетъ, власть, деньги, роскошь, наслажденія—все ему одному, а когда все будетъ имъться, тогда мучиться желаніемъ того, чего нъть!

Трогался повздъ. Хотвлось Вврв отдохнуть на чемъ нибудь—она смотрвла въ окно, но такъ безнадежно мчались безконечныя оголенныя поля—эти долины надрывного труда, горькихъ слезъ и страшныхъ смертей, что у ней начинала кружиться голова и теряться представление о времени и мъстъ.

«Куда она такъ безконечно ъдетъ и зачъмъ? Что за люди окружаютъ ее? Къ чему эта пытка, когда она всъмъ своимъ существомъ жаждетъ покоя?

Но кашель и плачъ ребенка, приводили ее въ себя и мысленно она стонала: "Боже мой! когда же конецъ?"

Но до конца Въра такъ и не добралась. Въ Севастополъ, проъзжая изъ Ялты, повъдала Въръ, что за бъшеныя цъны вздуты на жизнь въ Ялть, какъ относятся тамъ къ несостоятельнымъ больнымъ—и Въра окончательно упала духомъ: сидъла въ Севастополъ и думала, что иного исхода нътъ, какъ вернуться назадъ.

Но назадъ вхать не пришлось. Встрвтилась Върв знакомая по гимназіи—графиня. Въра не хотвла двлиться съ ней своимъ горемъ, но графиня сама подошла къ ней, ибо ея цель жизни была «поднимать духомъ страждущихъ и обремененныхъ».

Настойчиво она лъзла въ душу Въры, дабы посъять тамъ благія съмена, но Въра въ свою душу графиню не пустила, посвятивъ ее только въ свое положеніе даннаго момента.

Графиня много не задумалась. Торжественнымъ тономъ объявила:

— Вы, значить, боитесь вхать въ Ялту потому, что тамъ все дорого и, что съ небогатыми больными тамъ обращаются плохо, не по христіански? Но, дорогая моя, повъжайте. Стыдно падать духомъ! Помните одно: "Пріидите ко мнв всв страждущіе и обремененные и Азъ упокою вы!" Всв мы должны нести въ этой жизни свой кресть безропотно. Вотъ я, видите дорогая, —я вижу спасеніе міра въ одномъ только Евангеліи и взяла на себя скромную роль быть проповъдницей Евангельскихъ истинъ. Не забывайте ихъ, дорогая, никогда! Вотъ вамъ отъ меня на память...

И она дала Въръ Евангеліе, которыя, оказалось, всегда имъла въ запасъ.

Въра взглянула на графиню—на пышущую здоровьемъ, шумящую шелками,—и губы ея зло дрогнули:

- Графиня, и это все?

Графиня развела руками.

- Дорогая, я васъ не понимаю.

— Не понимаете, графиня? Графиня, я какъ видите, больная женщина, мать умирающаго ребенка. Въ другое время, я, можетъ быть, нуждалась бы въ поученіяхъ, сейчасъ я нуждаюсь только въ помощи.

У графини закатились глаза.

— Въ помощи, дорогая? Вы больны и вашъ ребенокъ боленъ? А Онъ? Вы Его забыли? Того, безъ воли кого ни единый волосъ не упадетъ съ головы? Надъйтесь на Него: на великаго врача міра!

— Да, графиня, я надёюсь на врача небеснаго, но и земные, вёдь, нужны? Или, графиня, не нужны?

Графиня молчала. А Въра смотръла на эту «скромную» проповъдницу Евангелія и хотълось ей этой проповъдницъ сказать текстомъ изъ Луки: "Нътъ добраго дерева, которое бы приносило худой плодъ; и нътъ худого дерева, которое бы приносило плодъ добрый". Но сдержалась отъ открытой колкости и обощлась помягче. Открыла только что данное Евангеліе и указала:

- Вотъ, графиня, прочтите.

Графиня взглянула, и опять ея глаза въ экстазъ закатились вверхъ.

— О, да. Это все, дорогая, я знаю наизусть, "Ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнъ ъсть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; былъ странникомъ, и не приняли Меня; былъ нагъ, и не одъли

Меня; боленъ и въ темницъ, и не посътили Меня". Прекрасныя слова!

И, опять губы Въры зло дрогнули.

— И я, графиня, думаю, что—прекрасныя. Какъ видите, Евангеліе учитъ "нуждающихся и обремененныхъ" не однимъ только упованіямъ за гробомъ, но и земнымъ.

И тогда только графиня поняла, что дачей Евангелія и совътами, что въ немъ истина, не всегда можно отдълаться. Она поспъшно начала увърять Въру, что прекрасно понимаеть, что "слово безъ дъла мертво есть" и дала Въръ два письма — одно къ доктору, другое — къ генералу.

— Вотъ вамъ, дорогая. Васъ тамъ примуть по христіански! Пишите. И не падайте духомъ!

И графиня простилась—величественно—счастливая тъмъ, что она христіанка не на однихъ только словахъ.

Вмъсто Ялты Въра повхала въ Балаклаву.

Первый день, проведенный Върою въ Балаклавъ, остался въ ея памяти смутно, какъ иногда остаются тяжелые сны.

Прівхала она въ Балаклаву подъвечеръ, измученная дорогой до той степени, когда на ногахъ держатся исключительно только нервнымъ подъемомъ. Ночь она и ея ребенокъ про спали корошо

Въра проснулась около девяти утра. Чистый воздухъ, тишина, видъ, уютно обставленной, но незнакомой комнаты, коляска ребенка около ея кровати—все это показалось ей сномъ, отъ котораго боятся очнуться.

Она закрыла глаза и въ теченіе нѣсколькихъ минутъ не могла вспомнить, какъ она здѣсь очутилась. Наконецъ, вспомнила все. И мучительную дорогу, и второй классъ, и Севастопольскій вокзалъ, откуда, если бы не встрѣться ей графиня, она бы теперь уже ѣхала обратно домой.

Но пережитый страхъ былъ до того великъ, что даже и вспомнивъ все до мельчайшихъ подробностей, Въра не ръшалась открыть глазъ: а вдругъ эта внезапная перемъна къ лучшему злой сонъ?

Съ такой мыслью она лежала до тъхъ поръ, пока не проснулся ребенокъ.

Тогда она поднялась съ кровати, подошла къ окну, отдернула занавъску—на нее хлынулъ такой ослъпительный потокъ свъта, что съ этого момента она уже дъйствительно поддалась самообману.

Съ необычайнымъ приливомъ бодрости она быстро одълась, взяла ребенка и съ письмомъ графини отправилась къ доктору.

Докторъ прежде осмотрълъ Въру и успокоительно промычалъ:

— Ну, ваша бъда еще поправима.

Но, когда осматривалъ ея ребенка, Въра по его лицу поняла, что ея малютка плоха. Онъ не от-

нималь надежды; говориль, что "младенець болень трудновато, но будемь надёяться"—и Вёрё почудилось, что онь недосказаль: "на чудо!" Дальше докторь началь давать длинный рядь совётовь, чёмь лечиться и какъ питаться, но видя, что его паціентка въ такомъ состояніи, что едва ли его совёты запомнить, рёшиль записать все на бумагь.

— Забудете, сударыня! Потружусь ужь для вась. Главное—не теряйте духа... Для больного уныніе—ядь для его бользии. Лечитесь и лечите своего младенца аккуратнье.

А Въра слушала его и думала, что изъ всъхъ его совътовъ не исполнитъ ни одного.

Когда она вышла отъ доктора—первымъ ея желаніемъ было бросить рецептъ. Но взглянула она на небо и, судорожно сжатая рука, въ которой былъ смятъ рецептъ, готовая разжаться для того чтобы кинуть эту бумажку, сжалась еще кръпче, уже съ другимъ чувствомъ.

Тихо тронулась Въра съ этимъ рецептомъ въ аптеку. Изъ аптеки прошла въ городской садъ и долго тамъ сидъла, поглядывая на небо. Эта безконечная изумительно голубая высь, огнящаяся отъ солнца до того, что на нее больно было смотръть, навъвала на Въру тотъ чудесный міръ иллюзій, когда кажется, что нътъ тъхъ надеждъ, которыя были бы несбыточны.

Все прошлое до настоящаго дня—нужда и гнетъ всъхъ мелочей жизни, то пошлое прозябание, ко-

торое она видѣла въ людяхъ, вся нравственная тьма человъческаго общежитія—все отошло на вадъ, покрылось дымкой того рода воспоминаній которыя хочется забыть, скинуть съ себя, какъ тяжесть. На душѣ у Вѣры было легко, свѣтло и безконечно такъ, какъ легка, свѣтла и безконечна, была надъ ея головою высь неба.

Незамътно для себя она улыбалась. Ребенокъ отъ невыносимо яркаго свъта дня жмурился, по его исхудавшему личику струилось наслажденіе. И когда мать въ лицъ своей малютки уловила этотъ восторгъ бытія—на ея глазахъ выступили слезы счастья. Ей казалось, что подъ такимъ небомъ и подъ такимъ солнцемъ смерти нечего бояться.

И цълуя ребенка, она ему лепетала:

— Не унывай, Надюня! Тутъ мы воскреснемъ! Посмотри на небо: сплошная огненная бирюза. Тутъ, Надюня, люди рано не умираютъ. Это было бы дико!

Но на слъдующій день погода ръзко измѣнилась. Солнце, на которое Въра возложила надежду, какъ на самаго великаго врача міра, не выглядывало весь день. Съ утра тучи, словно крышкой нахлобучили городъ—и Въра почувствовала, что въ этомъ городъ, который еще вчера казался могучимъ источникомъ жизненныхъ силъ, ей тъсно и душно.

Послъ полудня пошелъ дождь, какъ поздней осенью.

Сильный вътеръ неустанно бушевалъ въ деревьях сада и отъ его злобныхъ порывовъ деревья страдальчески бились и гнулись и шумъли, какъ отъ боли.

Нъсколько десятковъ разъ въ теченіе дня Въра подходила къ окну своей комнаты и смотръла на городъ. Сжатый съ трехъ сторонъ горами, онъ казался маленькимъ и мрачнымъ.

Горы каменистыя, голыя, съ изръдка торчащими клочками тощей растительности, такъ уныло и печально поднимались въ небо, точно онъ застыл въ скорбныхъ воспоминаніяхъ о томъ далекомъ времени, когда онъ были покрыты густо-дъвственнымъ лъсомъ.

Въру охватывало отчаяніе, ей хотвлось плакать но она сдерживалась. Подходила къ своей малюткъ и виновато говорила:

— Крымъ — а такая погода! Воть никогда ничего подобнаго отъ Крыма не ожидала. Потерпи Надюща, потерпи. Завтра будетъ солнышко!

Ребенокъ сидълъ на кровати, обложенный подушками, печально и покорно прислушиваясь и къ словамъ матери и къ вою бушующаго вътра.

Скверная погода установилась на цёлую недёлю. Непрерывный холодъ, вётеръ и сырость держали Вёру всю эту недёлю въ комнатъ.

У ребенка появилось ръзкое ухудшение: онъ уже не могъ пересиливать своего недуга и стоналъ по цълымъ днямъ и ночамъ.

По днямъ Въра кое-какъ перемогалась, но когда наступала ночь—липкій ужасъ казалъ ей свое лицо отовсюду.

Въ окно глядъла страшная темь, на дворъ скорбно выла огромная цъпная собака, которую откуда то недавно привезли, а подъ этотъ скорбный вой неумолкаемо звенъли цыкады.

Крики цыкадъ Въру мучили и раздражали, вой собаки вызывалъ дрожь страха, стоны ребенка казались страшны не по-человъчески.

Едва волоча ноги отъ слабости, охваченная сорока-градуснымъ жаромъ—Въра съ вечера еще пыталась предотвратить эти стоны, натирая спинку и грудь ребенка эвкалиптовымъ масломъ.

Но это масло уже не помогало.

Ребенокъ стоналъ. И эти стоны въ усталомъ и воспаленномъ мозгу матери родили кошмаръ: иногда ей казалось, что это маленькое, высох-шее тъльце никогда не умретъ, что это олице-твореніе страданія—страданія безъ конца и безъ крика, данное ей за какую-то вину.

За какую?

Въ экстазъ отчаянія и въры она бросалась на кольни и молилась: плакала и рвала на себъ волосы и бросала ихъ на полъ, и волосы на полу смъшивались съ ея слезами въры.

А ребенокъ стоналъ.

70

Тогда она валилась на постель и ея тихій плачъ переходилъ въ тъ вопли, когда люди не помнятъ гив они.

Но злой и ръзкій стукъ въ стъну-стукъ требующій тишины, приводиль Въру въ себя.

Стараясь заглушить свое отчаяние скрипомъ зубовъ, она умолкала, а рука ея невольно хваталась за сердце: чудилось, что все оно у ней въ безчисленныхъ уколахъ, и изъ каждаго укола сочится кровь. Это представление переходило въ то чисто физическое ощущение, когда не сомивваются.

Въра начинала думать, что вотъ вотъ ея сердце сейчасъ перестанетъ работать, но, что же тогда станется съ ея малюткой? Кто позаботится о ней, какъ она?

Это чувство приближало ее къ ребенку. Долго она всматривалась въ восковое, заострившее личико и спрашивала:

- Надя, родная моя, что ты стонешь? Чего тебъ? чего? Ну скажи!

И слезы матери падали на тъльце и личико малютки, заставляя малютку умолкать. Огромными и глубокими глазами, гдъ молчаливыя страданія кричатъ яснъе всякихъ словъ, она глядъла на мать.

- Неужели я, Надюня, виновата, что ты сейчасъ стонешь? Не надо стонать... Кровь у меня льется изъ сердца. Милая моя крошка-потерпи: завтра, можетъ быть, будетъ солнышко!

Изъ тихаго, нъжнаго лепета голосъ Въры пере-

ходилъ въ полный тонъ, тихія слезы-въ неудержимыя рыданія.

— И понесетъ мама Надюшу бу-у... на солнышко! На то солнышко, Надюща, гдв небо - сплошная огненная бирюза. И ножки у Надюши будуть тепленькія. Тогда Надюша будеть поправляться...

Ребенокъ слушалъ, стоная глуше и слабъе, по временамъ раскрывалъ ротикъ, какъ бы желая что-то сказать.

А мать лепетала, повторяя одно и то же по нъсколько разъ. Потомъ лепетъ обрывался и переходилъ въ бредъ, куда вплетались жалобы и на цыкадъ, и на вой собаки, на тьму ночи, на сърые тусклые дни, на то, что она такъ страшно одинока, что есть у ней одинъ близкій человъкъ, но и того почему-то около нея нътъ.

А къ полночи она уже лежала на постели безъ движеній, безъ силь, въ такомъ жару, - когда казалось, что сейчасъ на ней вспыхнеть бълье. Потомъ чудилось ей, что по потолку ползаютъ огромные черви съ огромными усами, ловятъ тамъ мухъ, собираются какъ разъ надъ ней-вотъ отдъляются отъ потолка и падають на нее.

Она испуганно вскрикивала.

Въ ствику стучали. Такъ сильно и раздраженно что вся ствна дрожала. И опять Ввра приходила въ себя. Чувство зависимости на нъсколько минуть возвращало ей остроту сознанія. Своего крика она не помнила и полагала, что виною стоны

ребенка. Бралась рукой за коляску ребенка и тихо двигая ее взадъ и впередъ умоляла:

— Надюша, Бога ради, нестонай! Бога ради. Понимаешь: намъ здъсь за недорогую плату дали комнату и столъ, а больше ничего знать не хотятъ. Чтобъ съ нами не случилось—мы не должны безнокоить хозяевъ. Это человъческая доброта, Надюша. Бога ради, не стонай!

А затъмъ Въра опять впадала въ забытье.

Она не слышала уже стоновъ ребенка, но рука инстинктивно тянулась къ коляскъ — настолько безсильная, что сейчасъ же тяжело падала назадь, больно ударяясь о желъзо кровати.

Бредила о мужъ, жалуясь ему, что ей "совсъмъ невыносимо". Потомъ вскакивала, лихорадочно— блестящими глазами разыскивая по комнатъ мужа и, не находя его, съ тупымъ ужасомъ бормотала:

— Его нътъ. Значитъ, я одна. Почему—я одна? Какъ я могу быть одна?

Но слабость и жаръ опять клонили ея голову къ подушкъ. Ребенокъ сиротливо стоналъ. Мать чуть поднимала голову и тихо, какъ умирающая шептала:

— Крошка, прости меня.

На девятый день по прівадв въ Балаклаву, Ввра проснулась около семи утра. Ей показалось, что ее кто то толкнуль исказаль: "Солнце!" Она вскочила съ постели, подбъжала къ окну и, вдругь

почувствовала, что вся наполняется голубымъ свътомъ: небо было голубое!

Со слезами радости, съ невольно протянутыми къ солнцу руками, она стояла передъ окномъ и говорила себъ: "Глупая, въдь это же невозможно...",—а сама тянулась всъмъ тъломъ вверхъ.

Ей припомнились всв одинокіе дни и ночи проведенныя въ этомъ городв и, какъ двти въ минуты страха мчатся къ платью матери, такъ и ей хотвлось вмъств со своимъ ребенкомъ помчаться къ солнцу и прильнуть къ нему.

Потомъ она подошла къ своей малюткъ и стояла надъ ней, не замъчая, какъ слезы любви и молитвы катились по ея щекамъ.

Вспомнилась пора, когда ребенокъ былъ здоровъ.

Сквозь туманъ обильныхъ слезъ, она видѣла жизнерадостное, розовое, полненькое личико своей былой Надюши. Большіе синіе глаза съ роскошными рѣсницами искрились потоками жизни, мѣняя въ одну минуту десятки неизъяснимо очаровательныхъ выраженій: въ отдѣльности каждое не поймешь, а въ общемъ—восторженный гимнъ бытію.

Особенно ярко припомнился Въръ день въ на чалъ весны. Она была съ ребенкомъ въ саду. Унылыя и жалкія деревья, грубо обнаженная земля — вся картина наслъдія зимы вызывали у Надюши печаль и состраданіе. Надюша смотръла и молчала. Въра пришла съ ней въ этоть садъ

вторично черезъ двѣ недѣли. Весна не дремала: тамъ, гдѣ двѣ недѣли назадъ было уныніе и запустѣніе, теперь буйно расцвѣтали очаги новой, дивной жизни.

Но и маленькая жизнь не дремала. Попадался на глаза пышно распускающійся газонь—Надя съ удивленнымъ крикомъ показывала на него матери: въдь, она видъла и не забыла, что здъсь была грубо обнаженная земля, а теперь?..

И крошка рвалась къ этому изумрудному царству, чтобы насладиться имъ чисто физическимъ ощущеніемъ. Мать нарвала ей пучекъ травы—малютка жадно зажала его въ рученку и не выпускала.

А туть уже новыя впечатленія.

Березки обвъяны уже дымкой молодой листвы, яблони распускають свои душистыя почки, цвъты, точно въ сладостной тревогъ, еще смущенно и робко раскрывають свои лепестки—и все это для Надюши источникъ непрерывнаго наслажденія и изумленія, то сказочное царство, въ которое чтобы повърить—надо его непремънно осязать.

И мать удовлетворяла любопытство крошки листьями березы, почками яблонь, цвътами—все надя утащила съ собою въ свою колясочку и до поздней ночи упивалась дарами весны.

А на другой день уже сама запросилась настойчиво изъ комнаты туда, гдъ благодать яркаго весенняго солица, неисчерпаемыхъ красокъ—въ

царство, гдъ маленькая жизнь не могла удержаться отъ криковъ буйнаго восторга!

— Да, Надя была сама жизнь—страстная и чуткая, таинственная и святая, какъ весна. А теперь?—спросила себя мать и въ отчаяніи сжала руки у подбородка.

Въ отвътъ въ глаза матери лъзъ призракъ чего-то страшно необъяснимаго для нее. Она смотръла на маленькій скелетикъ и глаза ея съ изумленнымъ ужасомъ спрашивали и отвъчали: "Чъмъ держится эта жизнь? Нътъ, она не выживетъ. Она умретъ".

Глухо и безнадежно зарыдала. Но рыдала не долго. Въ отчаяніе начала пробиваться въра-голубымъ потокомъ, какъ голубое небо, ослъпляющимъ свътомъ, какъ свътъ солнца. И внутри Въры эта надежда радостно кричала: "А солнце? Оно Надюшу подниметъ!"

Вслухъ Въра сказала:

- Нътъ, надо взять себя въ руки.

И съ той трогательной бодростью, когда кръпятся очень обезсиленые и слабые больные люди, Въра пошла въ кухню варить ребенку овсянку. Даже улыбалась робко, той чуть замътной улыбкой, которая и върить сильно и сильно боится.

Малютка проснудась въ девять утра. Въра ее слегка покормила овсянкой и стала одъвать на прогулку. Въ это время малютка произнесла:

<sup>—</sup> Мама!

По прівздв въ Балаклаву это было въ первый разъ.

Въра вздрогнула и, счастливо улыбаясь, отозвалась:

— Что ты, моя родная?—"Мама!" Боже мой, какъ это ты сказала? Милая Надюня.

Потомъ взглянула въ глаза малютки и не могла оторваться. Эти глаза были давно не дътскими глазами—въ нихъ слишкомъ много было стреданія, теперь страданіе ушло въ глубину глазъ, уступивъ мъсто слишкомъ большому чувству любви,—любви одухотворенной страданіемъ.

На прогулкъ Надюща была тиха и какъ-то особенно вдумчиво печальна.

Весь этотъ день малютка провела спокойно. Ей котвлось только одного: лежатъ безъ движеній. То же самое и ночью. Мать нвсколько разъ заглядывала въ коляску и иногда натыкалась на открытые глаза, но во всю ночь ребенокъ не издаль ни одного звука.

Это спокойствіе заставляло мать думать, что ребенку легче. Утромъ она хотѣла дать ребенку молока. Онъ не принималъ. Но когда мать тоскливо и нѣжно начала упрекать его:

— Господи! Господи... То хорошо, то опять нъть аппетита. Надюня, такъ нельзя! Ну, ради меня, хоть немного.

Тогда ребенокъ слегка улыбнулся и принялъ нъсколько чайныхъ ложекъ.

Мать эту улыбку поняла. Качала головой и говорила: — А я-я-яй! Воть, значить, Надюня, какъ наши роли перемънились. Теперь будемь знать, что мы изъ младенческаго состоянія выросли и нась, если о чемъ просить, такъ просить не иначе, какъ тономъ къ взрослому лицу.

Потомъ Въра пошла на прогулку съ ребенкомъ въ городской садъ.

Опять было голубое небо, ослъпительное солнце, въ саду масса всевозможныхъ цвътовъ.

Мать было попыталась заинтересовать малютку цвътами, но она съ такой печалью взглянула на цвъты, что мать инстинктивно почувствовала въ этомъ взглядъ что-то жуткое и отнесла ее отъ пвътовъ подальше.

Минутъ на десять малютка успокоилась. Смотрѣла куда то глубоко-сосредоточеннымъ взглядомъ, взглядомъ существа, находящагося уже на грани отъ времени и пространства къ внѣ-времени и внѣ-пространству и, точно въ тактъ ходу своихъ тайныхъ переживаній, тихо перебирала пальчики своихъ рукъ.

Потомъ вдругъ застонала разъ, другой, третій, какъ отъ назойливой боли.

Въра не понимала: отчего? Лепетала:

— Надюня. Милая, что ты? Посмотри — какое небо: сплошная огненная бирюза! А солнце? Гръхъ стонать и капризничать въ такую погоду.

Надя стонала все чаще и чаще, со страдальческой гримасой жмурила оть солнца глаза.

И только тогда, когда Въра разглядъла на гла-

захъ ребенка странный тусклый налетъ — она поняла, что этотъ налеть не выносить солнца.

Чувствуя въ этомъ явление недоброе, она поспѣшила съ ребенкомъ домой. Ребенокъ во всю дорогу отъ солнца страдалъ, но когда очутился въ тъни комнаты—затихъ.

Съ полчаса онъ лежалъ на рукахъ матери неподвижно, съ закрытыми глазами, потомъ открылъ глаза и, такъ же, какъ вчера, произнесъ:

- Мама!

И опять мать вздрогнула и замерла.

Въ этомъ словъ она чувствовала какой то огромный, глубокій, сокровенный смысль: ей казалось, что ее внезапно поднимають на голово-кружительную высь и тамъ приносять дань тайной величайшей почести.

Комната, вся обстановка въ ней — всё видимые предметы уплыли изъ поля зрёнія Вёры: чудилось, что передъ ней хрустальная стёна, а за этой стёной — неизъяснимо прекрасная даль.

А звукъ "мама" онъ такъ звучалъ—ни отъ одного человъка въ своей жизни Въра не слышала ничего подобнаго, и даже въ музыкъ она никогда не улавливала такихъ нъжно-красивыхъ обаятельныхъ нотъ.

Это быль звукъ полно выраженныхь любви, молитви, благодарности — звукъ, вся глубина и красота котораго переходять за область человъческаго сознанія и чувствь.

Въра замерла и думала: что это? И какъ въ

отвътъ—ребенокъ вдругъ затрепеталъ на рукахъ матери, томно склоняя голову то на право, то на лъво.

Мать взглянула въ глаза ребенка и сердце ея заколотилось съ бъщеной силой: въ глазахъ ребенка вспыхнулъ послъдній ослъпительный свътъ и погасъ. Глаза начали быстро тускить, теряя сознаніе.

Въра положила ребенка на кровать и крикнула безумнымъ голосомъ:

— Боже, умираетъ!

Въ комнату вбъжала старушка-генеральша.

Указательный палецъ ея былъ предостерегающе поднягъ вверхъ, на лицъ таинственная улыбка; наклонилась къ Въръ и шептала:

— Тише, тише, Господь съ вами. Вы ребенка испугаете? Развъ такъ можно? Видите: отходитъ.

"Отходитъ?" Въра смотръла на генеральшу безсмысленными глазами.

А генеральша помолчала и продолжала.

— Это къ лучшему: меньше муки. Вамъ докторъ этого не сказалъ—вы мать, — но намъ объяснилъ. Вы прівхали слишкомъ поздно: праваго легкаго у вашего ребенка совсвиъ не было, а лъвое почти все разрушено. Богъ съ вами: тутъ и убиваться то гръшно.

Мелькомъ припомнила Въра выражение лица у врача, когда онъ впервые осматривалъ ребенка, но генеральшъ объ этомъ ничего не сказала, а отозвалась о другомъ: — Солнце-вотъ было мое упованіе!

Генеральша неопредъленно отмахнулась рукой и, съ видомъ, повидавшей на своемъ въку всякіе виды, возразила:

— Не вы первая, не вы послъдняя. Ведите ка себя попристойнъе, пока ребенокъ томится, а я пойду платьице шить.

Въра плохо поняла, что сказала генеральша и только слово "попристойнъе" връзалось ей въ сознаніе и она взглянула вслъдъ генеральшъ съ ненавистью и подумала: "А за своихъ дътей слишкомъ дрожишь!"

Малютка умирала.

Отъ физической ли боли, или свъть ее раздражаль—сильно жмурила глаза, три раза правая ручка поднималась къ лицу и тогда на лицъ появлялись судорожныя страдальческія гримасы; по временамъ раскрывала ротикъ—иногда, чтобы схватить воздуху, иногда что-то сказать.

Потомъ наступила неподвижность.

"Конецъ"—подумала Въра и наклонилась ухомъ къ груди ребенка. Нътъ, сердце еще тихо билось.

И слушая это замирающее біеніе, Въра чувствовала, что ея сердце леденъетъ, что отъ остроты этого ощущенія какъ то странно кружится голова: все —и мысль и чувства напряжены до величайшей степени, но нътъ ни одной мысли и ни одного чувства, которые бы опредъляли эти моменты.

Все въ ожиданіи... И, когда наступиль послёдній моменть, когда Вёра уловила послёднее біе-

ніе сердца—тогда Вѣра отшатнулась отъ ребенка и смотрѣла по комнатѣ дико недоумѣвающими глазами: она ясно слышала, что съ послѣднимъ ударомъ сердца малютки въ комнатѣ послышались чьи-то удаляющіеся шаги.

И она смотръла: кто? Конечно, никого не видъла, но звукъ удаляющихся шаговъ все еще слышался: тише, тише, вотъ замерли совсъмъ.

И тогда у Въры прекратилось странное головокруженіе, но почувствовалась невыносимая, жуткая тишина.

Она съла въ кресло у окна. Въ маленькомъ садикъ у окна чирикали какія то итички, дрались, съ пронзительнымъ пискомъ и комичнозлобно ощетинившись, два воробья, на дворъ лаяла собака, городъ несъ свои звуки — человъческіе голоса и стукъ колесъ, но Въру давила невыносимая, жуткая тишина.

До вечера просидъла у окна Въра и, припоминая таинственные шаги, про себя повторяла.

— Оторвали!.. Унесли!..

И была уже убъждена, что эти шаги она услышитъ еще разъ, но только не уходящіе, а приближающіеся: когда будетъ умирать сама.

На ночь Въра попросилась переночевать въ какой нибудь другой комнатъ.

Ея просьба была уважена.

Въра боялась не трупа своего ребенка, а той тайны, которая оборвала въ ребенкъ жизнь.

Малютку хоронили на другой день. Всъ хлопоты и приготовленія взяла на себя генеральша.

Надюща лежала въ розовомъ гробикъ, въ кисейномъ платьицъ, вся осыпанная тъми живыми цвътами изъ городского сада, на которые она вчера не хотъла смотръть.

Личико ея и безъ того очень худое—со смертью еще болье удлиннилось. Но въ этой худобъ была своя красота: всъ линіи лица были строго отточены и озарены покоемъ. Губы плотно сжаты, а въ уголкахъ губъ застыла чуть замътная улыбка и эта улыбка придавала всему личику выражение необычайной доброты.

Но больше всего притягивали мать глаза ея ребенка. Отъ слишкомъ большой худобы ихъ не удалось сомкнуть. Глубоко впавшіе, съ застывшимъ взмахомъ роскошныхъ рѣсницъ, отъ которыхъ ниже глазъ падала тѣнь, широко открытые — они затаили въ себѣ какую то остро сосредоточенную печаль. Тотъ тусклый налетъ, который помрачалъ ихъ передъ смертью, исчезъ: они были ясны и свѣжи, и выразительны больше, чѣмъ у живого существа.

Въ нихъ не было ни упрека за рано прерванную жизнь, ни пережитаго страданія, такъ ярко свътящагося изъ глазъ при жизни—была только одна огромная, бездонная печаль. О чемъ?

Въръ казалось, что въ этихъ поразительно живихъ глазахъ маленькаго трупика Смерть и

Жизнь одинаково вопіють противъ человіческой тупости и жестокости.

Она смотръла въ эти глаза и эти глаза говорили ей, что вотъ была живая, свътлая жизнь, жизнь, то прозрачная, какъ хрусталь, то манящая къ себъ своимъ непонятнымъ. таинственнымъ обаяніемъ тайны живого существа.

Была-и нътъ ее.

Была жизнь, въ могучемъ движеніи которой не было ни одного движенія въ состоявіи покоя —и вотъ теперь загадочный покой.

Была жызнь, похожая на великую ръку, тайное теченіе водъ которой никто не учтеть и не увидить, и воть эта неизжитая жизнь, прекрасная и ранняя, святая и волшебно-многообъщающая какъ юная весна—раздавлена.

Кто знаетъ, куда утекъ избытокъ этой неизжитой жизни? И кто скажетъ, какъ велика или мала отвътственность человъчества за преждевремен ныя смерти, если у человъчества нътъ строго опредъленной мъры на то, что такое во всемъ ея объемъ есть Жизнь?

Около гробика малютки, пока онъ быль въ комнать, побываль генераль, три гостившихъ у него дамы, вертълась прислуга—Въра не помнила, кому и что отвъчала на вопросы и соболъзнованія, не помнила ихъ лицъ, кромъ старушки генеральши которая одна съ истиннымъ участіемъ относилась къ горю матери. Смотря, какъ она суетится, Въра говорила ей:

— Дай вамъ Богъ всего хорошаго за все ваше участіе. Не будь васъ — я совершенно не представляю себъ, какъ бы я могла управиться съ хлопотами по похоронамъ.

Потомъ забывала и говорила генеральшъ то же самое.

По дорогв на кладбище, Ввра была какъ будто бы спокойна. За гробикомъ шли генералъ и три гостившія у него дамы. Съ недоумвніемъ она смотрвла на нихъ: зачвмъ они идуть — эти колодные, равнодушные къ ея горю, люди? И когда мысль подсказывала ей, что они идутъ, чтобы скрасить ея горе, что это шествіе одинъ изъ твхъ излюбленныхъ людьми пріемовъ, когда люди показываютъ, что человвка въ несчастіи они не оставляютъ одинокимъ—тогда Ввра невольно обдавала ихъ колоднымъ блескомъ глазъ и презрительной усмъшкой. Ихъ присутствіе казалось Вврв оскорбленіемъ.

Не лишней при этомъ была одна только генеральша. Она шла и молчала, но видъла Въравь этомъ молчаніи то, что старушка и до сихъ поръ не можетъ забыть, когда весь міръ кажется пустъ.

Священникъ на могилъ, его ослъпительно блестящая риза на солнцъ и жиденькій теноровый голосокъ съ могучей октавой дьякона — томили Въру.

Съ нетерпъніемъ она ждала конца этой обычной процедуры, чтобы остаться одной.

Но воть наступиль послъдній моменть и съ этого момента Въра ничего уже незамъчала и не помнила, кромъ одного чувства: когда она припала къ губамъ своей малютки — ей показалось, что застывшій взглядъ широко открытыхъ печальныхъ глазъ какъ-то странно дрогнулъ, а когда генеральша оттаскивала ее, Въру, отъ малютки — ей чудилось, что малютка приподнималась, чтобы прильнуть своими губами къ губамъ матери

Когда Въра немного очнулась—она поняла, что теперь все уже кончено.

Свъжій, маленькій холмикъ могилки, на которомъ она сидитъ, не вдалекъ, сторожащаяее, Въру— генеральша. — Это все, чъмъ зъключился ея міръ— міръ, когда то огромной радости, теперь міръ огромнаго страданія.

И то, что заключение это такъ просто, по-прежнему голубъетъ небо, свътитъ солнце, по-прежнему вездъ и всюду съ той же силой торжествуетъ жизнь, но никогда ея малютка не увидитъ этой жизни, а она, мать, своей малютки—Въръ казалось, что отъ одного только этого можно сойти съ ума.

Долго сидъла Въра на колмикъ безъ мысли о себъ, о томъ, что надо-же итти домой и, когда генеральша подошла къ ней, она не сразу поняла, чего отъ нея генеральша кочетъ.

Потомъ встала и усмвхнулась:

— Домой? Да, домой, конечно, нужно итти. Но что же дома?

86

Шла за генеральшей покорно. Но подъ этой внѣшней покорностью клокотали мысли и чувства, которыя по глубинѣ и силѣ находятся въ подсознаніи человѣка. Если бы спросить Вѣру, что она переживаетъ—она не сумѣла бы выразить.

И все, что она во время дороги до дому улавливала въ себъ — это внутренній задавленный крикъ.

Шла, смотръла на небо голубое—сплошное, какъ огненная бирюза, на жгучее солнце и, съ большимъ трудомъ сдерживала себя, чтобы не крикнуть вслухъ:

— 0, солнце, солнце, зачъмъ ты меня обмануло?

Въръ казалось, что если бы солнце не создало ей тъхъ иллюзій, какія у ней явились по пріъздъ, тогда бы ей не было такъ больно.

Цълую недълю провела Въра въ своей комнатъ безъ выходу. Весь міръ казался ей кладбищемъ, алюди—безсмысленными палачами. Чъмъ ни сильнье въ ней была боль утраты ребенка, тъмъ сильнье отвращеніе къ людямъ.

Когда прислуга приносила ей чай и объдъона смотръла на нее съ тъмъ чувствомъ, которое заставляетъ умирающаго звъря забиваться въ берлогу. Ей хотълось куда нибудь спрятаться, что бы никто не видълъ ея страданія, безсилія и тоски.

Тоска была странная.

Просыпаясь по утру, Въра ловила себя на мысли,—что сейчасъ нужно сварить овсянку, скипятить молоко, дать ребенку лекарства. Но черезъ минуту являлось сознаніе, что ничего этого не 
нужно: Надюши нъть! Не довъряя себъ, Въра 
вставала съ постели и шла къ коляскъ. Въ глубинъ сознанія змъилась издъвающаяся надъ собою мысль, что эти самообманы смъшны, малодушны, а глаза жадно искали маленькое, изсохшее 
тъльце и, не находя, вспыхивали мучительнымъ 
недоумъніемъ.

Напрасно Въра убъждала себя, что ни овсянокъ, ни молока теперь не надо—ей все-таки было непонятно, какъ она можетъ не варить овсянокъ и не кипятить молока, не заботиться в лекарствахъ для ребенка.

И день безъ этихъ хлопотъ вставалъ передъ Върой до такой степени длинный и пустой, что ее охватывалъ страхъ: какъ она его проведетъ, чъмъ заполнитъ?

Заполнить, казалось, нечемъ.

Въра ложилась на постель и плакала, а плача боялась, какъ бы кто въ комнату не вошелъ.

Давила тоска—мертвящая, зловещая, порывающая на безуміе: Вере страстно хотелось пойти въ кухню и варить тамъ овсянку, кипятить молоко: чудилось, что отъ этого будеть ей легче. Но какъ взглянутъ на эту явную несообразность генеральша и прислуга?

Этотъ вопросъ удерживалъ Въру въ постели. А по ночамъ Въру преслъдовалъ одинъ и тотъ же бредъ.

Видъла мужа. Онъ стоялъ передъ ней такой блъдный, слабый, съ такой страдальческой улыбкой на устахъ, какимъ она никогда его не видала. Она обрадованно тянулась къ нему:

— Прівхаль, родной! Не выдержаль? Это хорошо. Я такъ больно чувствовала отдъляющую насъ даль разстоянія.

Мужъ молчалъ. И Въръ въ эгомъ молчаніи чудился упрекъ.

— Винишь меня въ смерти Нади? Но виноватали я передъ ней? Я ей отдала все, что могла.

Мужъ молчалъ. Тогда Въръ казалось, что онъ ее не винитъ, но скорбитъ объ утратъ и, горячечные уста больной женщины говорили то, что она уже писала мужу:

— Не скорби, родной, не скорби! Видишь: смерть ея была неизовжна. Велики были наши общія страданія и это сознаніе должно примирить насъ съ твмъ, что мы утратили безконечно любимое существо, которому отдали все, что имвли въ своей горемычной жизни! Намъ не за что упрекнуть себя: наше чувство къ ней было неизмъримо по величинъ и ослъпительно по чистотъ. Сбережемъ, родной, это чувство для нашей крошки.

Привставала Въра на постели и тянула къ мужу руки.

— Да, Надюша для насъ будетъ въчно жить, котя жить далеко... Да, у насъ нътъ ее, но есть много сокровищь: воспоминаній!

Тогда Въръ казалось, что мужъ приближается къ ней и... вдругъ изчезаетъ.

Она просыпалась. И, какъ раньше при ребенкъ ей жутко было безъ мужа, такъ и теперь она испытывала эту жуть. Смотръла въ полуосвъщенную слабымъ свътомъ ночника комнату и бормотала съ тупымъ ужасомъ въ глазахъ:

— Я-одна? Какъ я могу быть одна?

На восьмой день по кончинъ ребенка, въ одиннадцатомъ часу вечера, когда Въра лежала въ 40 градусномъ жару, къ ней зашла генеральша.

Поправила у Въры подъ головой подушку, освъдомилась о самочувстви, а затъмъ, смущенно помявшись, сказала:

— Знаете, Въра Александровна, у насъ находятся выгодные квартиранты на весь домъ, кромъ нашего помъщенія, конечно. Но, вотъ бъда...

Въра поняла сразу, чего отъ нея хотятъ, и недала договорить генеральшъ.

— Вы хотите сказать, что этимъ квартирантамъ нужна и моя комната? Что же дълать? Уъду домой. Черезъ день-черезъ два ваша комната будетъ свободна.

Генеральша хотвла что то сказать, но подумала и поняла, что лучше всего ничего не говорить. И пожелавъ Въръ "спокойной ночи", она ушла. А Въръ ея комната вдругъ сдълалась настолько противной, что она поднялась съ постели, и вышла на балконъ.

Минутъ черезъ пять туда же, какъ будто бы случайно, навернулся генералъ:

— А, здравствуйте! Вотъ неожиданность! Васъ такъ ръдко приходится видъть. Какъ ваше драго-цъннъйшее?

Въра холодно отозвалась:

- Ничего. Спасибо.
- Да-а,—въ раздумъв протянулъ генералъ. И вдругъ заговорилъ очень любезно: —Вы такъ рвдко показываетесь на свътъ Божій... Я человъкъ военный, прямолинейный и прямо вамъ скажу: въ моихъ глазахъ вы стоите выше всъхъ здъшнихъ барынь. Я помню наши съ вами бесёды и, предпочелъ бы проводить время больше съ вами, чъмъ съ мъстнымъ бомондомъ. Удивительно безсодержателенъ этотъ бомондъ!

Въра въ комплиментъ "прямолинейнаго человъка" почувствовала грубую лесть; изъ какого источника эта лесть—она тоже догадалась. И спросила съ усмъшкой:

— Если это такъ, то почему же вы, генералъ, не проводили со мной время? Генералъ развелъ руками.

— Увы! виноваты вы. Настоящая затворница! Въ началъ своего прівзда вы удостоили меня двумя бесъдами, а дальше—забыли, очевидно, старика. А я эти бесъды вспоминаю съ удовольствіемъ: серьезныя бесъды!

Отвращение поднялось въ Въръ и подступило къ самому горлу. Къ чему этотъ старикъ лжетъ? Для Въры было слишкомъ очевидно, что генераль только что узналъ отъ генеральши о ея готовности очистить комнату, и вотъ, чтобы чтиъ нибудь успокоить свою маленькую совъсть—явился съ любезностями.

Когда отвращение немного схлынуло — Въръ стало старика жаль и тихо она ему сказала:

— Генералъ, будемъ откровенны. Можетъ быть, мои бесъды и доставили вамъ удовольствіе, но въ то, что вы желали ихъ еще—я не върю. Въдь, я же въ вашемъ домъ была изолирована, какъ прокаженная, и встръчъ со мной вы избъгали.

Генераль молчаль. Въра видъла, что онъ думаеть, какъ бы потактичнъе выбраться изъ неудобнаго положенія. Усмъхнулась и напомнила:

— Генераль, вы только-что сказали, что вы прямолинейный человъкь.

И тогда только генералъ сознался. Онъ немного наклонилъ голову внизъ и въ тонъ Върътихо отвътилъ:

— Да, да, вы правы. Но... понимаете, какъ я люблю своихъ дътей? Страшно люблю. А въдь,

всякій трясется больше за свое! Вашъ покойный ребенокъ и вы больны опасно. За себя я не боюсь, я уже старикъ, но за дътей встръчъ съ вами избъгалъ. Сознаюсь. Надъюсь, поймете меня?

Откровенность примирила Въру съ старикомъ. Ей захотълось надъ нимъ немного пошутить.

- Такъ за себя, значитъ, генералъ, не бойтесь?
- Нътъ. Пожилъ довольно. Пора, пожалуй, и умирать.
- Не ошибаетесь-ли, генералъ? Я, лично, напримъръ, думаю, что жизнь неизмъримо страшнъе смерти, но въдь такъ думаютъ только тъ, кто въ жизни очень много страдалъ.

При яркомъ свъть луны генераль быль видънь Въръ ясно. Средняго роста, хорошо упитанный, съ безмятежнымъ лицомъ тъхъ счастливыхъ людей, которыхъ ни жизнь и ни складъ души не заставляли глубоко засматривать въ вопросы жизни и смерти. Жизнь шла легко и свободно, какъ по рельсамъ, безъ подъемовъ, срывовъ и паденій, а мысль и чувство довольствовались тъмъ, что есть, и не искали того, что должно быть или будеть. Укладъ привилегированнаго положенія, традиціи, присущія этому положенію—вотъ рефлекторъ, который освъщалъ генералу путь жизни. Ему было свътло и спокойно, а жизнь другихъ при своемъ убогомъ свътикъ онъ не видълъ и не чувствовалъ.

Но генералъ кое-что читалъ, и прочитанное

сложилось въ его памяти, какъ непоколебимая истина для другихъ, но... не для себя.

Самодовольно и убъжденно онъ заговорилъ.

— Нѣть, я смерти не боюсь. Чего бояться? Пивагорейцы бились надъ вопросами: изъ чего и
откуда является духъ, куда стремится и что такое есть печальное таинство смерти? Гюго на эту
тему тоже говориль—и тоже въ духѣ пивагорейцевь. Что такое, молъ, смерть? Что она намъ
даетъ и что отнимаетъ и т. д. въ этомъ родѣ.
А Сократъ этотъ узелъ просто разрубилъ. Смерть
въ его представленіи была состояніемъ крѣпкаго
сна безъ сновидѣній, страданій и радостей. Словомъ, безъ всякой земной суеты. Нирвана блаженнѣйшая, полная забвенія— вотъ какъ понималъ
Сократъ смерть. И, по моему—онъ глубоко правъ!

Помолчалъ генералъ и вдругъ:

— Когда вы хоронили своего младенца—я, собственно, думалъ поговорить съ вами на эту тему. Отчаивались вы страшно, ну, я и хотълъ сказать вамъ, что страшнаго въ смерти ничего нътъ.

Въра вздрогнула. И пріязнь къ старику опять смънилась огвращеніемъ. Она приблизилась къ нему и ръзко у ней вырвалось:

— Если вы такъ разсуждаете, то зачёмъ же вы такъ трепещете за жиз ъ своихъ дётей? Или ваши дёти изъ особеннаго тёста?

Генераль опѣшилъ. Онъ стоялъ, потиралъ руки и не зналъ, что сказать.

А Въра приблизилась къ нему еще ближе-

вплотную, и придавленнымъ шепотомъ бросила:

— Генералъ, увъряя меня, что вы смерти не боитесь—вы лжете! Вамъ смерть никогда еще не казала своего лица, но у меня недавно умеръ ребенокъ, я сама скоро умру, я много, генералъ, думала и думаю о смерти—загляните въ мои глаза, генералъ!

Генералъ заглянулъ и огшатнулся. Ему припомнилось одно ничтожное обстоятельство: когдато онъ въ молодости подстрвлилъ птицу и, когда она умирала, онъ съ интересомъ слвдилъ, какъ въ полузакрытыхъ глазахъ птицы замирала жизнь.

И теперь, глаза больной женщины поразительно напомнили ему глаза умирающей птицы, и это напоминаніе показалось генералу страшно жуткимъ. Онъ пытался насильственно улыбнуться—вышла жалкая, плачущая гримаса. Потомъ пошелъ отъ Въры и бормоталъ:

— Богъ знаеть, что говорите. Вамъ нужно лечь въ постель. У васъ жаръ и вы.... ненормальны!

А Въра съ кохотомъ просила генерала:

-- Генералъ, вернитесь! Смерть не такъ страшна, какъ вы думаете. У смерти для иныхъ людей есть преимущества... Вотъ объ этомъ я вамъ и поразскажу!

Но генераль шель. Спина его содрогалась животнымь страхомь, а крыпко-упругія военныя ноги плохо повиновались: онъ спышиль впередь, а оны подгибались, дрожали, заставляя его, прежде чымь осилить шагь впередь, толочься на мы-

стъ. Когда старикъ исчезъ, Въра взглянула на небо. Темное, бездонное, съ мягко-печальнымъ свътомъ неисчислимыхъ звъздъ, оно было надъ землей, какъ необъятный покровъ безконечнаго милосердія и кротости.

"Это небо, — подумала Въра, — а вотъ земля"... Городъ еще не спалъ. Бухта блестъла огнями; съ военной миноноски наводили рефлекторъ то на дачи, то на башни старой разрушенной кръпости: было похоже на то, какъ будто бы дъти "пускаютъ зайчика". Воздухъ неутомимо ръзали трещавшія цыкады и, въ эти мелкіе, надоъдливые тягучіе звуки по временамъ вдругъ врывался неистовый вой: невыносимо скорбно плакала на дворъ собака.

И этеть вой одинокаго, тоскующаго о чемъ-то звъря, быль Въръ ближе и дороже, чъмъ всъ люди этого города. Ейхотълось спуститься внизъ, обнять кудлатую голову этой огромной собаки и плакать вмъстъ съ ней: человъкъ стъ горя человъческаго бъжить, а песъ никогда не шарахнется!

Въра разрыдалась. Назойливый кашель охватилъ и пригнулъ ее къ периламъ балкона. Итакъ, мъшая слезы съ кашлемъ, она плакала долго, а когда выплакалась—въ душъ было принято безповоротное ръшеніе ъхать къ мужу.

Умиротворенными, счастливыми глазами она еще разъ взглянула на небо, пошла въ комнату и написала письмо мужу.

"Черезъ два дня выважаю къ тебъ. Я поняла, что вылечиться бъдному человъку въ крымскихъ курортахъ такъ же трудно, какъ воскреснуть! Изъ Балаклавы я могла бы увхать куда-нибудь еще, но я не хочу мучить себя. Быть всюду одинокой, презираемой, отверженной только потому, что у тебя тощъ кошелекъ; видъть, что несчастье карается на землъ тяжелъе, чъмъ людской порокъ—когда воочію увидишь всю мерзость этихъ двухъ данныхъ, тогда поймешь, что счастливъ тоть человъкъ на землъ, который имъетъ человъка, на рукахъ котораго бы онъ могъ умирать. За этимъ, родной, къ тебъ и ъду. Твоя Въра".

Въра не ошиблась: она пережила своего ребенка только на три мъсяца. И день смерти ея былъ для Чаева днемъ, когда въ представлении человъка жизнь теряетъ все, чъмъ она раньше казалась величава и обаятельна.

Шли дни, недъли, мъсяцы не принося Чаеву облегченія, а засасывая его все глубже въ тотъ тупикъ, гдъ живое человъческое существо становится уже отмежеваннымъ отъ міра. Онъ погрузился въ ту бездну чистаго страданія, гдъ гаснутъ краски жизни, жалкимъ эхомъ звучатъ ея призывные голоса, гдъ пошлая тьма и безсмысленная суматоха человъческаго существованія проръзываются однимъ взглядомъ, какъ лучъ солнца глубину колодца.

Въ Чаевъ боролись двъ тайны—жизнь и смерть —и смерть подавляла жизнь.

Ежедневно онъ вставалъ ровно въ восемь утра,

пилъ стаканъ-два чаю и принимался за неизмѣнное: начиналъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатъ.

До смерти жены и со дня смерти ея онъ неисчислимое число разъ прошелъ по этому пути то печальный, съ покорнымъ примиреніемъ, то съ гивнымъ подъемомъ бунта блуждалъ онъ въ темномъ кругу темныхъ загадокъ и выбилъ слъдъ косую линію изъ угла въ уголъ.

Иногда это было для него той болью, которая уже не есть боль, а сладострастное созерцаніе въ ея глубину; иногда—повторять пройденное съ однимъ и тъмъ же результатомъ, заходить со всёхъ сторонъ и натыкаться на одно, имя чему: Тайна—это было такимъ страшнымъ, страдальческимъ однообразіемъ, отъ котораго онъ пытался спастись бъгствомъ.

Съ ужасомъ онъ смотръль на свой слъдъ—на косую линію изъ угла въ уголъ— и эта линія казалась ему грознымъ символомъ.

Въ мысляхъ о смерти онъ не измъримо далеко ушелъ, чъмъ бы человъкъ никогда о ней не думавшій, но, когда онъ спрашивалъ себя, что же у него въ конечномъ счетъ положительнаго, тогда приходилъ къ заключенію, что всъ его размышленія о смерти въ сущности сводились къ нулю.

Онъ могъ выставить тысячи положеній, что смерть—величайшее благо и, тысячи положеній, что она—величайшее зло, но какъ то, такъ и другое все это было изъ области видимаго чёлове-

комъ, а въ области невидимаго—съ момента, когда смерть кладеть на уста человъка печать молчанія—тамъ онъ зналь не больше животнаго.

И эта мысль, унижающая, выгоняла его на улицу. Огромные дома, снующіе извозчики, мчащіеся трамваи и автомобили, человіческія лица на каждомь шагу — вначалі этоть мощный потокъ жизни успокаиваль его и, даже слегка захватываль: гді то въ глубині его уставшаго и подавленнаго существа поднимала голову жажда жизни и робко говорила, что нужно набраться силь на подъемь, а не поддаваться на упадокъ духа.

Но потомъ все это движеніе жизни показалось ему ненужной сустой настолько, что онъ почувствоваль себя въ ней лишнимъ.

И съ тъхъ поръ, стоило ему только показаться на улицу—ледяное спокойствіе охватывало его и сильнъе ръзало раздвоеніе: одно робко и запуганно спрашивало: "Жить?"— другое властно отвъчало: "Не стоитъ"!

Это "другое" говорило ему, что и скучно и стыдно жить въ жизни, гдъ въ порядокъ вещей вошло принимать естественное и необходимое для однихъ за преступленіе, а преступленія другихъ—за норму.

И губы Чаева холодно кривились, когда онъ думалъ:

«Сколько идіотовъ и звъриныхъ сердецъ сладко и невинно отдыхаютъ подъ тънью своихъ преступленій противъ человъка въ этомъ огромномъ городъ?»

Онъ остро чувствовалъ и видълъ, что въ томъ бъщеномъ темпъ, на какой обречена жизнь однихъ и, въ томъ мертвомъ поков, которымъ нагло пользуются другіе — нътъ великаго чувства отвътственности за каждое "Сегодня": какъ въ стонахъ и проклятіяхъ погибающихъ, такъ и въ шумномъ, безсмысленно-веселомъ время-провожденіи живыхъ мертвецовъ есть одно только слъпое и жадное: "Завтра"!..

И вся трагедія человъческой жизни, гдъ хозяева жизни громоздятся на пасынковъ жизни, казалась ему отвратительной комедіей: живые трупы ведуть свой безконечный танецъ на трупахъ!

И такъ онь бродилъ по улицамъ города до тъхъ поръ, пока не пустъли его глаза. И тогда его охватывалъ необъяснимый страхъ: а вдругъ кто нибудь почувствуетъ, что сътчатка его глазъ неотражаетъ ни домовъ, ни извозчиковъ, ни трамваевъ, ни человъческихъ лицъ?

И эта мысль родила у него не менте странную мысль: онъ начиналъ думать, что мертвому не менте страшно среди живыхъ, чтмъ живому среди мертвыхъ.

Спѣшно онъ шелъ домой. А жуткій страхъ заставляль его все болье и болье надбавлять шагу: онъ хорошо видълъ все воодушевленное и невоодушевленные предметы, но все видънное имъ странно преломлялось въ его зрѣніи въ пустоту—и эга пустота была нестерпима.

Очутившись въ своей комнать, Чаевъ чувство-

валь некоторое облегчение. И грозная косая линія изъ угла въ уголь, казалась не такъ уже страшна. Съ горькой улыбкой онъ смотрель на следъ своихъ ногь и думаль, что когла нибудь после него придеть плотникъ и рубанкомъ сострогаеть, а маляръ закрасить безплодный путь его исканій, где разумъ жалко спотыкается на первыхъ же шагахъ.

Это безсиліе человіческой мысли тянуло его къ столу. Онъ присаживался, но работа не шла. У него не было необходимаго для него услевія: тишивы.

За одной ствной его комнаты жила консерваторка, терзающая рояль по 16 часовъ въ сутки, за другой безголосый хористь, мнящій себя великимъ артистомъ и неутомимо работающій надъсвоимъ голосомъ, а за дверью его комнаты—хозяй-ка, въчно грызущаяся съ кухаркой, что "то сожгла, другое не дожарила".

Невольно прислушиваясь къ визгливо-пронзительному крику хозяйки, къ голосу надрывающагося "артиста" и къ треску клавишей рояля— Чаевъ съ непередаваемой тоской смотрълъ на чистые листы бумаги: роднъе и дороже этихъ листовъ бумаги у него въ жизни уже ничего не было.

Эта бумага манила его къ себъ, объщала отдыхъ, забвение всей остроты его переживаний. Ему казалось, что она смотрить на него съ мучительнымъ укоромъ за то, что она чиста. Онъ нервно набрасывалъ какой нибудь отрывокъ мысли и, не читая, смотрълъ: черныя строки вспыхивали въ его глазахъ далекимъ, блъднымъ, мерцающимъ свътомъ и, бумага говорила ему, что для всякаго страданія, если оно претворено на ней въ образы, есть предълъ, гдъ страданіе утрачиваетъ отчаяніе, гдъ боль становится дорогой и гордой болью.

И, подобно человъку, измученному мракомъ ночи и грезящимъ о солнцъ, Чаевъ заламывалъ руки за голову: чтобы онъ теперь создалъ, если бы у него была тишина?

Но дикіе, см'вшанные звуки челов'вческой злобы и глупости били по слуху Чаева, какъ камни, и та чудесная, страшно глубокая музыка, которая вдохновенно рвалась изъ него, замирала: мысли и чувства его туп'вли.

И съ оглушительнымъ, внутреннимъ крикомъ: "Творить!", съ сознаніемъ, что только въ творчествъ онъ можетъ подавить весь этотъ безконечный трепеть своихъ переживаній—онъ хватался съ отчаяніемъ за перо и начиналъ писать.

Но начатая вещь на первомъ же листъ невольно скомканная летъла подъ столъ. А дальше уже шло то безумное напряжение, отчего съдъетъ волосъ, тухнетъ взглядъ и стынетъ кровь, или тотъ экставъ, когда мятежный духъ человъка и изъ муки творитъ себъ высшую радость.

Много такихъ часовъ провель за столомъ Чаевъ, когда весь вивший мірь утрачиваль для него всъ свои звуки и краски, когда всъ пять чувствъ его были до такой степени нечувствительны, точно не существовали.

Съ бълымъ, какъ мълъ лицомъ, съ лихорадочно горящими, глубоко ушедшими въ себя глазами, съ низко склоненной надъ чистыми листами бумаги головой, сидълъ человъкъ и думалъ, что только откровеніями страданія человъкъ когда нибудь поднимется на ту высочайшую грань, гдъ съ одной стороны раскроется жизнъ со всъми своими тайнами смертей и рожденій, съ другой—будетъ стоять обнаженное Лицо Въчности.

А потомъ у Чаева наступалъ упадокъ. Онъ незнакомъ былъ съ чувствомъ страха передъ грозой, но рояль, хористъ, перебранка хозяйки съ кухаркой, дълали съ нимъ нъчто подобное этому чувству: онъ затыкалъ уши ватой, бросался въ постель и зарывалъ голову въ подушки.

И такъ лежалъ, трепеща отъ мысли, что сбъжать ему изъ этой обстановки нельзя, ибо тутъ, когда у него безденежье, онъ можеть должаться за комнату за мъсяцъ—за два, чего въ другомъ мъстъ не позволятъ.

Когда хористъ уходилъ въ театръ — становилось потише; въ одиннадцать ночи хозяйка съ кухаркой прекращала свои распри, въ двънадцать дъвица оставляла въ покоъ свой рояль.

Въ квартиръ наступала тишина. И тогда Чаевъ поднимался съ постели, раздъвался и ложился опять. Прислушиваясь къ тишинъ, и чувствуя, что все тише и тише эти непереносимые приливы и отливы болъзненно-приподнятой чувствительности, которые терзали его днемъ, что взамънъ къ нему грядетъ тихое озареніе напряженнаго самоуглубленія только въ область духа—онъ привътствоваль ночь:

«Благословенны часы ночи: часы тишины и покоя! Когда узнаешь жуть дня—о, какъ тогда глубоко поймешь, что за великая мудрость вътомъ, что день смъняется ночью».

Потомъ онъ припоминалъ весь свой день—такой страшно-длительный и всегда однообразный, что память о немъ, казалось Чаеву, нельзя хранить до другого дня.

Онъ закрывалъ глаза съ огромнымъ облегченіемъ, что еще день пережитъ и, сухія, безкровныя губы его шептали этому дню съ кроткой и чистосердечной улыбкой:

— Нынъ отпущаеши...

И едва Чаевъ закрывалъ глаза, какъ въ непроницаемомъ мракъ ему начинала чудиться ярко освъщенная безъ начала и конца широкая полоса свъта, въ которой тихо идутъ убъленные съдинами старцы въ бълыхъ одеждахъ. Лицъ этихъ старцевъ невидео: скрыты оборотомъ головы вправо. Они идутъ такой тихой, медлительностранной, точно знакомой съ въчностью поступью.

Это не было сномъ.

Стоило Чаеву открыть глаза—видение исчезало; закрываль — и вновь эта безконечная, светлая

цвиь былых одвяній, дававшая Чаеву то необы чайно блаженное ощущеніе, когда человыку кажется, что онъ изъ невысомой матеріи.

Онъ лежалъ боясь пошевельнуться, думая, что такое необычайное ощущение легкости должно быть у умирающихъ, когда они испускаютъ последний вздохъ, а сквозь его сомкнутыя въки выбивались слезы тоски, желающей невозможнаго:

«О, если бы такъ оторваться отъ земли навсегда»!—тихо проносилось въ немъ и, моментами ему казалось, что раскрывается потолокъ и онъ поднимается ввысь.

Но проходиль этоть моменть и съ горькимъ страхомъ сознаваль человъкъ, что путь земной еще не конченъ, что страшное лицо жизни все еще стоить передъ нимъ и требуетъ отъ него новыхъ жертвъ—какихъ же еще?

И отъ этого вопроса онъ содрогался, ибо зналь, что страданія того, кто сумыль заглянуть въ бездны страданія, подобны миническому дракону: отруби одну голову—выростуть десять!

И тогда въ намяти раздавленнаго человъка звучало проклятіе жизни—ужасающее своей грозной глубиной, вопіющее о томъ, насколько же должна быть страшна жизнь, когда отъ нее отказываются съ такимъ кроткимъ крикомъ: "Дорогая, я такъ устала. Надо отдохнуть…"

Эти нъсколько словъ Чаевъ когда-то прочиталъ въ отдълъ происшествій, которыя отравившаяся курсистка на клочкъ бумаги оставила своей подругъ, и съ тъхъ поръ этихъ словъ не забывалъ.

Всю страстную недёлю стояли ярко-весенніе дни—и въ эти дни Чаевъ рёшилъ поёхать на первый день Пасхи на кладбище.

Наступилъ первый день свътлаго праздника, но съ утра Чаеву стало видно, что о повздкъ на кладбище нечего и думать: было пасмурно, небо клубилось черными тучами, непереставаемо моросилъ мелкій, какъ сквозь сито, дождь. Глубоко несчастный, какъ можетъ быть несчастенъ только человъкъ затравленный до того, что уже отмежеванъ отъ всего міра, Чаевъ долго стоялъ у окна въ томъ жалкомъ, слъпомъ помраченіи, когда ему казалось, что его путь—это роковой путь.

Происходило величіе атмосферическихъ измъненій, явленіе, можеть быть, необходимое для равновъсія міровыхъ законовъ или для плодородія земли, а ему чудилось, что стоитъ ему чего либо пожелать, такъ во всемъ противъ него зная сила темнаго неумолимаго рока.

— Что же я еще жду?—спрашиваль онь себя:
—Въдь, отнято все, что человъку скрашиваеть жизнь; больше нечего отнимать, кромъ твоей

жалкой, одинокой, никому ненужной жизни. Къ чему же цъпляться за нее?

Наконецъ, онъ опомнился и сообразилъ, что есть же завтра, послъ-завтра, словомъ, будетъ же когда-нибудь хорошая погода?

И тогда ему стало стыдно за затемнъніе мысли и, зло онъ поглумился надъ собой и надъ всъми, кто въ такомъ гръхъ повиненъ.

Фатъ, гоняющійся за любой юбкой, клянеть такую погоду. Скучающая и незнающая чъмъ убить время какая-нибудь барынька — киснетъ съ видомъ мученицы, когда погода дурна. Да, мы очень и очень добры, мы зла никому не желаемъ, но если погода намъ въ чемъ-либо помъщаетъ или престо не нравится, тогда мы клянемъ небо и землю, забудемъ мужика, который въ это время, можетъ быть, Бога благодаритъ, забудемъ все и всъхъ, кромъ себя, ибо желаемъ очень немногаго: власти вліять на стихію!

Звонъ колоколовъ густымъ гуломъ шелъ въ окно и этотъ гулъ былъ Чаеву нестерпимъ; онъ ему напоминалъ пору, когда онъ въ такіе дни не былъ такъ одинокъ.

Знакомые, къ которымъ можно было бы пойти не только въ эти дни, но и всегда, у Чаева имълись, но никого изъ этихъ знакомыхъ онъ видъть не хотълъ. Ему въ этотъ день безумно, до невольныхъ слезъ, которыхъ онъ удержать не могъ, хотълось видъть одно существо—своего кота.

Все безконечное разнообразіе сотенъ знакомыхъ ему человъческихъ лицъ расплывалось въ ничто и во всемъ міръ милое и дорогое для него было только въ образъ этого животнаго, котораго уже не было.

Этотъ звърь много скрашивалъ тяжелые дни своего хозяина. Къ постороннимъ онъ оставался по-прежнему неприступенъ; онъ очень нравился хозяйкъ, но при попыткахъ ея приручить его къ себъ—давалъ отпоръ когтями и зубами.

Такая же участь постигла кухарку и хориста. Звърь точно чувствовалъ, что человъкъ по своей природъ опаснъе всякаго звъря, что довъряться людямъ нужно съ выборомъ, ибо звърь никогда и ничего не продастъ, а человъкъ—чъмъ онъ не пожертвуетъ ради денегъ?

Особенно сильно котъ ненавидълъ кухарку. При каждомъ ея появленіи, онъ, хотя бы она его и не трогала, былъ готовъ броситься на нее, а когда Чаевъ, взявъ его на руки, начиналъ его сдерживать, котъ такъ къ нему жался, какъ будто бы просилъ беречь его отъ этой бабы.

И не даромъ. Кухарка два раза заводила съ Чаевымъ разговоръ, предлагая продать кота за пять рублей. Чаевъ хмурился и оба раза просилъ ни съ какими продажами не приставать.

Баба уходила за дверь и оттуда ворчала:

— Тоже... Самому иногда ъсть нечего, а туда же—тварь держитъ. Самъ безъ хлъба сидитъ, а его напарываеть: что ни день — на пятакъ пе-

Однажды Чаевъ вышель изъ дому и когда вернулся—кота не было. Онъ сразу понялъ, кто виновникъ пропажи и пошелъ на кухню. Улики были налицо: руки кухарки были поцарапаны. Чаевъ пошелъ не съ цѣлью заводить скандалъ, а съ миролюбивымъ предложеніемъ откупить кота, но при взглядѣ на кухарку, на ея наглую усмѣшку, которой она встрѣтила его—понялъ, что она въ кражѣ ни за что не сознается и молча, съ поникшей головой, вернулся въ свою комнату.

Съ недълю Чаевъ тосковалъ по котъ сильно, потомъ острота утраты какъ будто бы сгладилась, но въ этотъ день, въ день свътлаго праздника, подъ звонъ колоколовъ проснулась съ новой силой.

Онъ припоминалъ всю трогательную привязанность звъря къ себъ.

Вотъ часы, когда онъ, Чаевъ, особенно угнетенъ, тогда котъ забирается къ нему на плечи и, мурлыча, трется своей великолъпной шерстью о лицо Чаева такъ ласково, а вмъстъ съ тъмъ и настойчиво, точно говоритъ: "А я? Ты обо мнъ забыть? Я тутъ, съ тобой!"

Воть его жалобы звёрю: "Милый, Васька! Больно, больно жить на землё. Если бы ты зналь, какъ больно..." А Васка, если онъ всей боли земли не зналь, такъ чувствоваль: переставаль мурмыкать, а въ умныхъ, дико-гордыхъ глазахъ свётилось тяжкое раздумье звёря.

Весь день Чаевъ протолкался изъ угла въ уголъ по комнать, а когда наступила ночь и онъ улегся въ постель—онъ думалъ все о томъ же: какъ бы теперь этотъ звърь выгибалъ свою спинку колесомъ, терся мягкими, бархатистыми лапками о его грудь, и пълъ бы свои непонятныя пъснитакъ вдохновенно, что у него перехватывало бы горло и до тъхъ поръ, пока онъ не засыпалъ.

Некому теперь тихимъ любящимъ голосомъ сказать: "Ну, ну, вижу, что любишь. Но зачъмъ же надрываться то: я и такъ повърю". Не объ комъ, засыпая, думать, что это живое, дикое, существо—единственное, что дорого, что надо беречь, что любить тебя, что, можетъ быть, такъ же больне переживаетъ въ себъ воспоминаніе объ исчезнувшей дътской колясочкъ...

Не на комъ остановить своего взгляда съ мыслью, что вотъ существо, одаренное благороднымъ инстинктомъ, но во сколько разъ оно выше человъчества, у котораго очень утонченъ разсудокъ, но атрофированы возвышенныя чувства души и сердца, атрофировано то, что ставитъ человъка ниже звъря?

Чаеву казалось, что въ лицѣ Васьки у него отняли мостикъ, который соединялъ его съ жизнью: звѣрь давалъ ему свою любовь, тепло, свѣтъ— отняли у него этого звѣря— отняли послѣднее, что примиряло его хоть немного съ жизнью.

И лежа въ постели, онъ метался въ тоскливой безсильной злобв, что и туть у него на дорогъ встали деньги богатыхъ людей, ибо бъднякъ не будетъ покупать кота за пять рублей; метался и плакалъ, съ тупымъ оччаяніемъ, думая: "Все отняли! Все украли! Все на землъ идетъ такъ: однимъ слишкомъ всего много, другимъ, кромъ пустоты, мукъ жизни и злобы—ничего!"

Чаеву было очень странно видёть на необъятно пустынномъ мёстё храмъ, но онъ къ этому храму двигался неудержимо, ибо думалъ, что, если здёсь онъ не осмёлится искать разгадки, тогда упустить случай, который никогда не повторится.

Воть небольшая паперть и, когда Чаевъ встучиль на нее—онъ увидаль, что дверь въ храмъ открыта; постоявъ въ нерѣшимости на паперти, онъ робко вошелъ во внутренность храма. Внутри было тоже странно: ни иконъ, ни живописи по стѣнамъ, ни иконостаса,—вмѣсто него темная завѣса. Правая сторона храма совсѣмъ пуста, а на лѣвой—рядъ гробовъ подъ золотыми покровами. Озираясь по сторонамъ и видя, что кромѣ него ни единой живой души, Чаевъ ощутилъ въ себѣ невыразимую жуть при мысли двигаться впередъ, но и вернуться назадъ также былъ не въ силахъ.

Вотъ первый гробъ, вотъ второй, третій, чет-

вертый и, каждый гробъ создаваль величащее колебаніе: не въ этомъ-ли?!

Необходимо подойти и поднять съ головы покровъ, но на это Чаевъ не рѣшался: казалось, что если онъ ошибется—эта ошибка будетъ той роковой ошибкой, послѣ которой у него будетъ отнята возможность дальнѣйшихъ поисковъ нужнаго лица.

И воть онь останавливается передъ каждымъ гробомъ, стараясь подъ покровомъ угадать форму знакомой фигуры. И когда оказывалось, что это не то тъло, которое онъ зналъ, что одно больше, другое—меньше, что нужно пойти дальше, тогда съ каждымъ новымъ шагомъ впередъ Чаевъ переживалъ тотъ сверхъестественный ужасъ, при которомъ человъкъ прибъгаетъ къ молитвъ: то ему мнилось, что онъ зашелъ слишкомъ уже далеко—стоитъ ему сдълать шагъ назадъ и расплата за дерзость прикуетъ его на этомъ шагъ тутъ навъчно, то, что этимъ шагомъ расплаты будетъ слъдующій шагъ впередъ.

Назадъ—страшно, и впередъ—тоже. Какъ же быть? И рѣшая мысленно, что лучше ужъ—впередъ, Чаевъ съ величайшимъ усиліемъ дѣлалъ шагъ впередъ и творилъ про себя странную молитву: "Я въ госкъ и тоска во мнъ... Что же страшнъе этого для человъка?"

Итакъ онъ миновалъ восемь гробовъ, вотъ восьмой-около самого клироса и въ немъ Чаевъ нашель то, что искаль и, что боялся найтти: свою покойную жену.

До входа въ этотъ храмъ онъ томился мислью, что если въ этомъ храмъ онъ не найдетъ жены—тогда значитъ она не умерла, а жива, но затерялась гдъ-то отъ него на землъ, гдъ, конечно, онъ и будетъ ее искать.

Но кромъ жены, Чаевъ натолкнулся въ этомъ крамъ и еще на нъчто, о чемъ совсъмъ не думалъ: въ маленькомъ и уютномъ гробикъ рядомъ съгробомъ матери покоился его покойный ребенокъ.

Чаевъ былъ пораженъ: и тъмъ, что жена и малютка безъ покрововъ, и тъмъ—какимъ же образомъ ребенокъ могъ очутиться съ матерью, когда похороненъ отъ матери за нъсколько тысячъ верстъ? Но надъ этимъ вопросомъ онъ долго не задумывался.

Наличность жены въ этомъ храмв послужила для него доказательствомъ, что она двиствительно умерла; до этого онъ помнилъ, что жена какъ будго бы умерла, что онъ ее какъ будто бы по-хоронилъ, но жилъ этотъ фактъ въ его памяти такъ смутно и зыбко, какъ чье то злое внушеніе.

Въ храмъ была необычайная тишина. Изъ узкихъ и высокихъ оконъ готическаго стиля въ храмъ лились полосы свъта—не свъта земли: этотъ свътъ давалъ увъренность, что его никогда не коснулось солнце.

Какой то непостижимый покой чувствовался въ

этомъ неземномъ свътъ, гдъ тишина тысячами неслышимыхъ для человъческаго уха голосовъ, возносила гимны Непостижимому Величію!

Чаевъ не дышалъ. Онъ замеръ передъ женой и ребенкомъ отъ счастья за нихъ. Онъ ушли отъ него страшными тънями человъка, съ печатью "обезславленной и обезображенной смертью красоты"— теперь же передъ нимъ было нъчто такое прекрасное, чего онъ никогда не могъ себъ представить.

Были у нихъ всъ тъ же знакомыя ему лица, но лица точно никогда не переживавшія страданій духа и тъла.

Ничего не скрала съ этихъ лицъ смерть, что онъ имъли въ себъ въ пору цвътущаго здоровья, кромъ одного только румянца. Лежали безкровныя тъла и, чувствовалось Чаеву, что между этимъ неземнымъ свътомъ и цвътомъ ихъ лицъ —безкровно-матовымъ—есть какая то неуловимая гармонія.

Все было здёсь тайной, дивнымъ очарованіемъ. Малютка и женщина покоились въ своихъ гробахъ въ вёчно бодрствующемъ божественномъ снё: не дрогнетъ ни одинъ мускулъ лица, все оно—полная неподвижность смерти, но эта же неподвижность каждой линіей лица говоритъ, что смерть таитъ за собой высшую форму жизни.

Молись, бейся въ изступленіи головой объ эти гроба—лица лежащія въ нихъ не нарушать печати молчанія, не скажуть болье того, что имъ

можно сказать: своимъ счастьемъ и покоемъ женщина и малютка говорили Чаеву, что о жизни на земль онъ не сожальють, что земля со своими маленькими радостями, печалями и страданіями имъ чужда, кромь одной жемчужины земли: Любви!

Помимо счастья и покоя Чаевъ видѣлъ на этихъ лицахъ улыбку—улыбку тихой радости свиданія, привѣта, улыбку безъ тѣни скорби о томъ, какимъ страданіемъ онъ искупаетъ утрату ихъ; ему чудилось, что сквозь сомкнутыя вѣки женщины и малютки на него смотрятъ съ кроткой лаской глаза и просятъ: "Не тоскуй о насъ. Смотри—развъ вамъ плохо?"

Имъ было хорошо—на столько, что рядомъ съ чувствомъ счастья за нихъ у Чаева выросло чувство отчаянія, что а онъ вотъ не можетъ быть съ ними, не знаетъ того, что знаютъ онъ.

Онъ имъ не чужой совсъмъ, но все-таки чужой, ибо онъ слишкомъ родны между собою: это родство не только въ совершенно похожихъ выраженіяхъ лицъ, но даже и въ гробахъ.

Чаевъ зналъ, какъ велико иногда бываетъ обаяніе видъть, какъ ребенокъ никнетъ къ груди матери, а мать застываетъ въ блаженномъ упоеніи материнства, но то, что онъ видълъ здъсь, его поражало.

Маленькій гробикъ ребенка ютился около гроба матери такъ, какъ могла поставить только рука Невидимаго.

Что можетъ быть печальнее, если рядомъ съ

гробомъ матери стоитъ гробъея малютки, но тутъ въ этой постановкъ гробовъ былъ выявленъ такой символъ, сила и красота котораго полностью недоступны пониманію человъка.

И своимъ немощнымъ человъческимъ разумъніемъ Чаевъ постигъ изъ этого символа лишь то, что этотъ символъ, символъ жестокости человъка: жизнь каждаго существа на землъ величайшая святыня, даръ неба и проклятъ на землъ тотъ, кто топчетъ этотъ даръ, кто самъ хочетъ жить, а другихъ толкаетъ въ могилу.

Чаевъ передъ гробами стоялъ въ ногахъ и не было у него ни одного движенія, ни одной мысли прикоснуться своими устами до тѣлъ женщины и ребенка, ибо, хотя эти тѣла и говорили ему, что онъ для нихъ близокъ, дорогъ, что ихъ связь съ нимъ не порвана смертью, что онѣ съ своей любовью для него то, чего не отнимаетъ отъ него само небо, но пока онъ плоть и кровь—ни онъ, ни онѣ не могутъ переступить той священной дали, гдѣ бы плоть въ силахъ была осязать своимъ цѣлованіемъ духъ освобожденный отъ плоти.

И съ мыслью, что тайна близка, а руками ея не коснешься, Чаевъ стоялъ и не дышалъ отъ экстаза передъ величіемъ смерти. И не смълъ даже желать смерти—стоялъ и всъмъ существомъ своимъ молилъ объ одномъ: «Такъ бы стоять въчно!»

На этомъ Чаевъ проснулся; и проснулся въ обычное время: въ восемь утра.

Этотъ сонъ онъ принялъ, какъ милость неба— указаніе свыше страдающему человъку на то, какъ онъ долженъ принимать Жизнь и Смерть.

День Чаева тоже радоваль: съ постели ему солнца не было видно—не то оно въ сторонъ, не то выше оконъ,—а комната напоена чудеснымъ, розовато-золотистымъ тепломъ.

Не спѣша онъ поднялся съ постели и присѣлъ къ столу. Ему захотълось запечатлѣть свой сонъ на бумагѣ и, когда онъ его набросалъ и прочелъ и сопоставилъ со всѣми тѣми впечатлѣніями, которыя остались въ немъ отъ сна—ему стало понятно, какъ жалко лепечетъ человѣкъ, когда начинаетъ говорить о тайнахъ смерти. Ея красоту и величіе можно только чувствовать, но передать нельзя.

Въ одномъ только человѣкъ слишкомъ преуспълъ передъ смертью: это оклеветать ее.

Чаеву представилась ужасная картина: что представляль бы изъ себя міръ, если бы та измученная и раздавленная часть человъчества, которая стонеть на землъ подъ игомъ наглыхъ и безстыдныхъ, никогда бы не умирала?

Отъ этой каргины Чаевъ содрогнулся.

Потомъ онъ неспъща пиль чай и размышляль все о томъ же снъ.

И казалось ему, что не измѣнить небо своихъ непреложныхъ законовъ—дать болѣе, чѣмъ дано что не дасть оно міру, міру преждевременных могиль, міру, гдъ лучшій цвъть жизни въ лицъ высокихь духомь людей всегда затравлень и затоптань—не дасть оно этому проклятому самопроклятьемъ міру такъ желаемаго имъ чуда, ибо небо слишкомъ велико для роли няньки къ своимъ блудливымъ, трусливымъ и пресгупнымъ дътямъ!

Не дрогнеть твердь небесь оть гула слѣпого страданія, ибо никто не созданъ рабомъ и у каждаго человъка есть возможность бороться противъ своего поработителя: платить за ударъ ударомъ.

Вышель Чаевъ пзъ дому съ тъмъ, что ему въ цълости и молчании хотълось принести на дорегую могилу.

Было въ немъ какое-то необычайное ощущение кротости и та острая, больная, застарълая тоска по покойной женъ, которая точила его еще задолго до ея смерти, претворялась въ этой кротости въ ту мягкую, свътлую печаль, когда человъкъ можетъ плакать легкими, возвышающими его и облегчающими слезами.

Такимъ Чаеву и хотълось прибыть на кладбище. Но это ему оказалось не подъсилу. На одной площади онъ простоялъ болъе часа. Слъдовалъ вагонъ за вагономъ и каждый вагонъ брался приступомъ.

Выло что то дикое, унижающее человъка безмърно, въ этой свалкъ. Кто сильнъе и наглъе, брали, конечно, мъста раньше. Сотни людей толпились и уважали, вновь наплывали сотни лиць —и ни одного лица не видёлъ Чаевъ, гдё бы была печать духа, мысли, достоинства: всюду злыя, свирёныя рожи!

Онъ смотрълъ на эти рожи и съ отвращениемъ думалъ:

«Мы прогрессируемъ! Вотъ онъ современный, культурный человъкъ, являющій дикое зрълище такой свалки, когда онъ отвратительнъе стада животныхъ, гонимаго бичемъ пастуха. И въ какой день—въ день, когда празднуютъ Имя распятаго за нихъ?

Чуть не случилось несчастіє: какой-то рабочій съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ рёзкимъ движеніемъ толпы былъ сброшенъ на рельсы и, если бы кондукторъ во время не затормозилъ вагона, рабочій и ребенокъ были бы раздавлены.

Всв ахнули, шарахнулись въ стороны, ни одна рука не протянулась къ находящемуся въ опасности, а когда рабочій поднялся и, судорожно прижимая къ груди свою крошку отошелъ поодаль отъ толпы, толпа начала ту же давку и свалку, глумясь надъ рабочимъ:

- Ротозъй!
- Вотъ дуракъ! Тутъ взрослому невмоготу, а онъ съ ребенкомъ лъзетъ!

Чаевъ пошелъ пѣшкомъ, пытаясь представить себѣ, какое лицо было бы у Христа, если бы онъ видѣлъ этихъ "христіанъ" въ эти дви, когда они цѣлуются во Имя Его, или говорятъ "поздравляю

съ высокоторжественнымъ днемъ Воскресенія Христова?"

пвъты земли и неба.

Итти ему было далеко, но во всю дорогу у него быль на душъ скверный и острый осадокъ. А когда онъ дошелъ до воротъ кладбища—стало еще хуже.

Какъ передъ оградой, такъ и за ней стояли длинной цъпью въ два ряда нищіе. Еще издали они тянули руки и хоръ канючащихъ голосовъ, гнусавыхъ и надтреснутыхъ, ръзкихъ и хриплыхъ, умоляюще придавленныхъ и свиръпо озлобленныхъ нестерпимо противно вылъ въ воздухъ:

— Баринъ, за упокой души...

Зловонныя рубища, вмёсто лиць на каждомъ шагу чудовищныя маски, откуда глубина наденія смотрить на весь мірь Божій съ ненавистью дьявола—необычайно страшны были эти лица въ этоть ярко-весенній день, когда воздухъ благоухаль отъ солнца и оть распускающейся зелени!

Выло Чаеву и стыдно и больно.

«Вотъ, — думалъ онъ: — обратная сторова современной культуры, у которой ни въ чемъ нѣтъ мужества итти до конца: карать смертной жизнью за нищенство – на это рѣшиться не можетъ и отъ удовольствія доводить людей до нищенства отказаться не желаетъ. Слава тебѣ родъ людской, ибо безобразишь ты землю отъ банкира до нишаго!»

Было Чаеву и стыдно и больно до того—хотълось остановиться и зло сказать:

— Идіоты! Просите за упокой душъ не мертвыхъ, а живыхъ. Отпъвайте заживо себя и все человъчество своими дикими гнусными голосами.

Съ темными глазами, угрюмую остроту и тяжесть которыхъ человъкъ ввъряетъ только земль, Чаевъ шелъ къ могилъ жены. Увянула и сгинула по дорогъ на кладбище, какъ роза затоптанная ногами, та его необычайная кротость, съ которой онъ вышелъ изъ дому, та свътлая, мягкая печаль, когда человъкъ можетъ плакать легкими, возвышающими его и облегчающими слезами.

Не поднимая на ходу головы онъ шелъ почти до самаго конца кладбища не замъчая, какимъ тонкимъ очарованіемъ пронизанъ этотъ пріютъ смерти.

Въ одномъ только мъстъ онъ кинулъ взглядъ въ сторону: молодая женщина сидъла и плакала надъ свъжей могилой.

И уже далеко отошелъ онъ отъ этой могилы, а внутри его все еще зло звенъло:

«Рюнить баба? Рюнь, рюнь!..»

Долго стояль онъ передъ крестомъ своей жены и такъ странно ему было видъть на этомъ крестъ свою фамилію: казалось, что онъ—это уже не онъ—одной этой надписью здъсь онъ похорониль себя.

Когда у него ноги устали—онъ не ръшился състь на могилу жены и опустился на могилу рядомъ. Но сейчасъ же пересълъ на свою съ укоризненной мыслыю:

«Дорогую пощадиль, а на чужую не постьснялся. Вездъ и всюду нашъ эгоизмъ!»

Долго онъ сидълъ съ наклоненной къ землъ головой, съ темными, ничего не видящими глазами.

Опять точила его тоскливая боль, бѣшеное непримиреніе, что то, что подъ крестомъ, подъ тонкимъ слоемъ земли "никогда невозвратимо, никогда!"

Эти слова звучали въ немъ, какъ безконечный стонъ и плачъ, говоря ему о скорби человъческой жизни.

Чего онъ отъ жизни хотълъ? Въ сравненіи съ другими очень немногаго; всё соблазны міра шли мимо него, ибо та напля чистаго, возвышеннаго счастья, которую онъ имёль въ лицъ женщины не вязалась съ этими соблазнами, а звала на свой путь-на путь къ прекрасному, къ возвеличенію человъка! Но злой и преступный ходъ жизни давить прежде всего то, что ему враждебно. Ничтожество жирно питается на землъ человъческимъ ничтожествомъ, а все, что выше егообречено на гибель. Затравиль этоть проклятый ходъ жизни его жену и вотъ ея утрата рушитъ всю его жизнь. Унего отняли каплю его личнаго счастья — и воть та огромная тяжесть жизни, которую онъ несъ при женв легко и бодротеперь раздавила его.

Чаеву казалось, что это кладбище — кладбище нетлънныхъ. Онъ силился представить себъ видъ разложенія труповъ—и не могъ.

Какъ живая мерещилась ему его жена—не та, которую онъ клалъ въ гробъ, а та, когда она была здорова, — и безумная мысль настойчиво осаждала его подавленный мозгъ:

«Всего только полтора — два аршина земли... если-бы...»

Но онъ изо всёхъ силъ противился этому страшному порабощающему чувству, которое способно руками разрыть могилу, сорвать крышку съ гроба для того, что бы хотя на мигъ взглянуть.

И когда это чувство онъ подавиль—ближе и родне онъ ощутиль покойную. Чудилось ему, что между нимъ и ей возникла какая тихая, невидимая, живая связь, которая не передается словами, но въ которой все, точно душа льнетъ къ душе и языкомъ глубины человеческихъ чувствъ говоритъ о мире и примиреніи.

"Всв живемъ и всв умремъ,—кротко думалъ онъ:—Сколько я проживу—самое большее, если исключить всякія роковыя случайности, десять—пятнадцать лють. Что такое это передъ вычностью? Мигъ! И неразумнюе-ли его прожить безъ тоски, безъ боли о томъ, чего уже не вернешь, какъ бы ты этого не желалъ?"

Чаевъ поднялъ голову, взглянулъ по сторонамъ и тихо покачалъ головой: кладбище выглядъло сказочнымъ уголкомъ.

Всюду распускающаяся зелень, ликующій хоръпорхающихъ птицъ, ярко-бълые стволы березъ и солнце, то солнце, которое бываетъ такъ обаятельно только ранней весной съ тъмъ нъжнопрозрачнымъ, звонкимъ воздухомъ, гдъ идетъ неуловимая игра синевато-огнистыхъ бликовъсъ звуками.

И это обиліе свъта и красокъ творило изъмъста скорби какую то тайну мудраго единства жизни и смерти, точно два добрыхъ духа—Жизнь и Смерть сошлись здъсь и върили, что слъпое, несчастное человъчество научится когда нибудьлегко жить и легко умирать.

И сколько Чаевъ ни смотрълъ по сторонамъ ни единой скорбной мысли, ни единаго скорбнаго чувства не рождалось въ немъ. Даже ветхіе и печально поникнувшіе отъ времени убогіе деревянные кресты и тъ говорили о чемъ-то безконечно миломъ и трогательномъ.

Чаевъ былъ доволенъ: тѣмъ, что выжидалъ повздки на кладбище нъсколько мъсяцевъ.

Острое недоумъніе какой-то смутной недоговоренности оставиль въ немъ бълый саванъ снъга, когда онъ хорониль жену. И пока снъгъ лежалъ на землъ—каждый день былъ для него порывомъ навъстить покойную, но онъ выдержалъ себя до конца. Упорно ему думалось, что навъстить нужно въ свътлый весенній день и тогда... Что тогда? Этого онъ хорошо не зналъ. Казалось одно, что только въ весеній день у него исчезодно, что только въ весеній день у него исчез-

125

нетъ зимняя недоговоренность и замънится яснымъ отчетомъ. Въ чемъ?—Этого тоже себъ не представлялъ, но чувствовалъ, что этотъ отчетъ будетъ чъмъ то важнымъ, ръшающимъ.

И теперь онъ понядъ, что не обманулся.

Онъ долго сидълъ на могилъ жены; сидълъ до иллюзіи, когда ему чудилось, что такая въ него входитъ благоговъйная тишина, когда можно незамътно для себя Богу душу отдать.

И мысль въ немъ звучала, какъ отрывки тихой, далекой музыки:

"Благословененъ остатокъ дней и благословененъ конецъ! Хорошо бы умереть, вотъ сейчасъже, здѣсь на могилѣ, но хорошо и еще пожить. Жить и безбольно, безтрепетно, съ свѣтлымъ чувствомъ въ себѣ ожидать конца. Порокъ, простая человѣческая жадность и слѣпота езть наша боязнь смерти, наше неутолимое "еще бы пожить!"

Пошелъ Чаевъ съ кладбища, когда оно начало шумъть и ръзать глаза потоками пышныхъ нарядовъ.

Слишкомъ криклива была эта толпа своими нарядами и праздничнымъ настроеніемъ въ этой тишинъ: такъ же свътило солнце, такъ же буйно развертывалась зелень, а Чаеву казалось, что тамъ, гдъ глукая и смъшная, мелко тщеславная и жестокая толпа не умъющая чувствовать повсюду щедро разбросанныхъ щедротъ Бога, тамъ меркнутъ свъть и краски природы.

Выйдя съ кладбища, Чаевъ бодро зашагалъ по городу. Долго тянулась окраина города зъ жалко-убогихъ домишекъ, съ тоскливо-темными окнами, но когда наступилъ центръ—видъ роскошныхъ дворцовъ будилъ въ Чаевъ чувство, какое испытываютъ выздоравливающіе.

"Жить! Жить!" — оглушительнымъ крикомъ проносилось въ немъ и отъ этихъ могучихъ словъ тотъ внутренній горизонтъ Чаева, который во время его упадка духа сузился до мыслей и чувствъ только о себъ, вдругъ раздвинулся въ безконечность.

Жизнь всего сущаго, казавшаяся до этого дня такой далекой и ненужной, вновь подошла къ къ нему вплотную и обвила его встми своими радостями и болью.

Жадно онъ смотрѣлъ на городъ, слушалъ красный звонъ его колоколовъ и, думая, сколько людей въ этомъ городъ, сердца которыхъ сочатся кровью подъ этотъ звонъ, томился бъшенымъ приступомъ мести и разрушенія.

Ему мерещились картины народнаго гнъва, когда камня на камнъ не оставляется тамъ, гдъ слишкомъ пышно распустились черные цвъты въ лицъ политическихъ мошенниковъ и наглыхъ, зажиръвшихъ мъщанъ, гдъ бъднякъ ограбленъ и осмъянъ до того, что давно забылъ думать о себъ, какъ о человъкъ, гдъ трудъ умаленъ, какъ безчестіе, а праздный паразитизмъ живетъ съ гордо-поднятой головой, и онъ давалъ себъ

127

объщание жить и работать только во имя этого дня.

м. СИВАЧЕВЪ.

Минутами на Чаева находило сомнъніе, что отого грязнаго, торжествующаго надъ жизнью потока никому и никогда не остановить, ибо этотъ потокъ отравилъ души рабовъ и рабовладъльцевъ до того, что ихъ ничъмъ уже не исцълить: это въкъ мертвыхъ, догнивающихъ душъ. гдъ все живетъ инлюзіей и ложью, преступленіемъ и насиліемъ!

Но стоило Чаеву взглянуть на небо и опять тишина и мирь, бодрость и въра охватывали ero.

Небо слалс ему незримые цвъты.

Чувствовалъ Чаевъ, что память о дорогихъ угратахъ въ жизни будетъ съ этого дня цвъсти въ его душъ той свътлой печалью, которая никогда ни омрачится безплодными взрывами тоски; что никогда у него уже не повториться это безсиліе, когда человіть самь же топчеть свою волю, грезитъ о смерти ежедневно только для того, чтобы упиться больной мыслью о суеть-суеть человъческого существованія.

Домой Чаеву итти не хотълось. Онъ присълъ на бульваръ около памятника Пушкина и, наблюдая, какъ мимо него густо идетъ шумная, праздничная толпа, жадно-жадно вглядывался въ человъческія лица.

Такъ онъ просидълъ, пока не стемнъло. Тогда онъ пошелъ домой и засълъ за работу надъ давно забытыми рукописями. Проработаль до поздней ночи, а передъ тъмъ, какъ лечь спать, набросаль въ свой дневникъ:

"Привътствую тебя большая мудрость, которая пришла ко мнв послв столькихъ испытаній: отнынв я ничвмъ не буду поражаться, ничвмъ восторгаться, никогда не буду унывать, а темъ паче, отчаиваться! Сегодня я не чувствоваль себя, какъ и впредь не буду чувствовать, въ огромномъ городъ чужимъ, одинокимъ, безнадежно потеряннымъ, хотя и былъ въ немъ одинокъ. какъ перстъ: знаю я, что такихъ, какъ я, въ городъ много и эта невидимая связь будить во мнъ ту веселую ярость, которая думаеть за себя хорошо посмъяться... Жаль, конечно, что жизнь человъка такъ коротка, но все же-лучше поздно, чьмъ никогда, понять, что долгъ человъка - это до конца итти противъ злыхъ силъ жизни.

Какъ вспомнишь, до чего я былъ забить-жуть беретъ.

Вся человъческая подлость и глупость чудились мнъ въ одномъ образъ. Идешь по улицъ и кажется, что пятится передъ тобой доомерзвнія мизерный, съ хищнымъ, сухо-застывшимъ диномъ. съ колючими, какъ иглы, глазами, съ дьявольски насмъщливой улыбкой на тонкихъ и холодныхъ какъ ледъ, искривленныхъ губахъ человъчекъ и смвется: "Видишь, какъ я противенъ, малъ, ничтоженъ, а между тъмъ-я неуловимъ и необъятень! Я—властелинь надъ жизнью. Я царь надъ

Посвящаю М. Г. Я...

подлостью и глупостью, а подлость и глупость развъ въ человъчествъ измъримы и исчерпаемы? Ха-ха-ха! Кто поклоняется мнъ, тотъ — глупецъ можетъ быть умнымъ, взысканнымъ всъми почестями жизни; кто противъ меня—умный будетъ глупцомъ и нищимъ, онлеваннымъ и презираемымъ всъми!"

Да, въ жизни безъ жизни, въ мірѣ безъ мира души люди гдѣ-то далеко—далеко—въ свѣтломъ туманѣ ранняго дѣтства учатся изживать великую радость бытія: благодарную ясность взгляда на міръ Божій, безъ которой одни безконечно наглѣють, другіе—безконечно принижаются.

И когда я думаль объ этомъ—было странно видъть, что надъ такимъ человъчествомъ такое небо! Кроткое, голубое, залитое ослъпительнымъ солнечнымъ свътомъ оно благословляло землю, ту землю, вся исторія которой сплошной и безпредъльный цинизмъ человъчества надъ человъкомъ.

Мнв хотвлось хохотать надъ лже-христіанами, върящими въ спасительную силу смиренія, утверждающими, что надо покорно подставлять голову подъ удары несправедливости; хохотать надъ тупостью и слабостью, которая никогда не осмвливается поднять гордо головы къ небу и подумать, что единственный завътъ этого чудеснаго неба человъку, пока человъкъ живъ на землъ,—это: "тебъ отомщеніе, и азъ воздай!"

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

Еще только шестой часъ утра, а два ряда правильно разставленныхъ коекъ уже оживляются.

Молодежь просыпается неохотно, лѣниво; подниметь голову, посмотрить на окна, прислушается: блѣдный, робкій свѣть уличнаго освѣщенія слабо серебрить окна, изрѣдка звякають звонки трамваевъ.

И опять прячуть головы подъ одъяло: можно еще немного поваляться.

Старики поднимаются со вздохами облегченія. Съ вечера они улеглись на покой вм'яст'я съ тараканами, но это не м'яшаетъ имъ говорить:

— Слава Богу! дождались и утра. Ночь-то тянется-тянется, конца не видать.

Начинается тяга въ уборную: идутъ умываться. Молодежь по утрамъ жестока къ старцамъ: лежитъ и нъжится. Приходится какому-нибудь съдому, сгорбленному мужу, который и самъ то еле видитъ, вести уже совсъмъ слъпыхъ мужей. Стоитъ поводырь и терпъливо ждетъ, когда можно тронуться: за поясъ его халата объими руками прицъпится одинъ, за этого точно такъ же другой, за другого третій, за третьяго четвертый.

Дъло съ глазами пустяковое, минутное, а вотъ поди-ка безъ глазъ: натыкаются другъ на друга, безпомощно и боязливо бороздятъ руками воздухъ, качаютъ головами:

- Охъ, Господи!

Наконецъ-то, трогаются. Молодежь зубоскалить:

— Третій звонокъ!

Печальное и трогательное шествіе: старыя, жалкія д'яти!

Согбенныя спины, руки цѣпляющіяся за кушаки халатовъ, то, какъ они идутъ, все ясно говоритъ, что никогда эти люди глубже не понимали, какъ необходимо: "Любите другъ-друга!" И они теперь любятъ по настоящему: какъ бы не оторваться, не спутаться? Чувствуется, что каждый на ходу только тѣмъ и занятъ, какъ бы не толкнуть сосѣда впереди и не дать наткнуться на себя сосѣду сзади.

Лисыя головы трясутся, наклонены впередътакъ скорбно, покорно: знаютъ бъдныя, старыя дъти, какъ они теперь безпомощны. Съ какой стороны не явись обидчикъ—не увидятъ. Значитъ, нечего и головой вертъть: склони выю—бей, если сердце не дрогнетъ!

Палата освъщена одной лампой подъ густо-матовымъ колпакомъ. Вълыя, высокія стъны отъ такого свъта играютъ зловъщей синевой трупа. И глумятся надъ старенькими: тъни отъ шествія на стънахъ чудовищныя — точно медленно подвигается какая-то страшная живая каряга.

Является няня Авдотья. Въ рукт большой, мъдный чайникъ съ кипяткомъ; несетъ его съ видомъ, даже въ стант перегнулась, хотя тяжесть не столько ужъ велика,—какъ будто-бы совершаетъ непосильный подвигъ.

Свиръпая женщина лътъ подъ пятьдесятъ, съ тонкими, ядовито поджатыми губами, со злымъ раздраженіемъ въ глазахъ и, мягкой, неслышной походкой.

Молодежь вскакиваеть, посившно набрасываеть на себя халаты и мчится умываться.

Хоть не всѣ Авдотью боятся, но всѣмъ непріятно видѣть и слышать, какъ она покачаеть головой и изречеть:

— Это что такое? Лежатъ?... а?

Она никогда не кричить, тонъ у нея всегда ровень, но таковъ, точно большаго преступленія не можеть быть.

Возвращаются изъ уборной старцы. Ползуть старенькія уже за молодежью одинъ по одному и радуются:

— Ишь ты, молодые глаза-то поскоръе ведутъ. Начинается часпитіе.

Авдотья за своимъ столикомъ въ углу палаты сидитъ въ такой внушительной позъ: боязно подойти.

Первую чашку наливаеть себь. И не какъ нибудь, а съ любовью, съ почтительностью къ своей особь.

135

Слъпыхъ у ней по ея глубокому убъжденію никогда не бываетъ:

м. СИВАЧЕВЪ.

- Притворяются. Небось мимо рта ложки не пронесутъ.

А по этому она никогда больнымъ на столики кружки съ чаемъ не подаетъ.

Разносять слъпымъ чай молодежь. А она только снисходить до того, что бы налить. Не по кружкь не по двъ, а когда ихъ на ея столикъ цълый рядъ-со всей палаты.

Разносчики стоять, ждуть и смотрять на ея чашку: раньше чайника въ руки не возьметь, пока не отопьеть сама.

А пьеть чинно, важно, не спъща, какъ солидные люди. И выраженіе въ это время на лицьядовитъе, словами не выскажешь:

- Ничего. Подождете.

Отпила. Наливаетъ прежде себъ и, конечно, съ той же любовью, почтительностью, даже съ невольной умильной улыбкой, но первая чашка для больного - и превращение: вся страшно-живое воплощение темной злобы.

Тутъ настолько холодная, застарълая ненависть, которая мнитъ себя великой добродетелью. Чтобы Авдотья недълала изъ своихъ прямыхъ обязанностей, все у ней въ ярко выраженномъ видъ выходитъ:

- Только мое доброе сердце...

Сразу ее и не поймещь: ошеломляеть. Кажется, что соглашаясь служить няней-она дёлаеть великую милость, приносить большую жертву и сердится, что этого не цёнять, какъ следуетъ. Чай пьется невесело. Изръдка кто-нибудь изъ молодежи перебросится словомъ-другимъ: вяло робко.

А старики и совсёмъ помалкиваютъ. Научены уже горькимъ опытомъ, что какой разговоръ не заведуть, Авдотья вмѣшается и всѣхъ, кто говорить неугодное ей, отность:

— Молчи, если ужъ Богъ убилъ!

Слышать это, когда они и въ самомъ дълъ убиты, старикамъ не подъ силу.

Даже Егорушка, восьмильтній бутузь, большой илуть, любитель поболтать, въ темахъ для разговора никогда не затрудняется, даже и онъ держить языкь за зубами. Чуеть маленькимь сердечкомъ въ бабъ что-то неладное, посмотритъ то на нее, то на больныхъ и, видя, что всв Авдотьи порабливають, преисполняется страхомъ, иногда граничащимъ съ недоумъніемъ и почтительностью.

Одинъ только человъкъ не трепещетъ передъ Авдотьей-это загнанный нуждой и бользнями литераторъ. Ему лътъ около 30-ти.

Вечеромъ онъ ложится позже всъхъ; по утрамъ въ палатъ холодно и онъ никогда не встаетъ съ постели, не выпивъ чашки чаю.

Высунеть изъ подъ одъяла голову и спрашиваеть своего соседа съ левой стороны:

— Маня, а мнѣ приволокли? Маня собственно и не Маня, а Дениска-17 лът-

137

ній мальчугань, настолько хорошенькій, что многимь дівицамь не угнаться. Ніжный цвіть лица, румянець коть выріжь, каріе, умильные глазки сь поволокой, даже и голось—мягкій, женственный, а когда Дениску молодежь начнеть мять, туть ужь ніть сомнівнія, что Дениска появился на світь Божій не въ полномь смыслі. Маней только потому, что здітсь замізшаны злыя шуточки природы: взвизгиваеть и жеманничаеть точь въточь, какь деревенскія кокетливыя дітвки, когда ихь парни тискають.

Дениска на литератора "за Маню" сердится: очень его ужъ иногда молодежь одолъваетъ. А служить все-таки охотно: чашка чаю уже на столъ. Нельзя, конечно, и не пококетничать: силится изъ ласково улыбающагося лица сотворить нъчто вродъ презрительнаго равнодушія и пъвуче тянеть:

— Мнъ? Лежебокъ какой. Долженъ я тебъ чай

подавать? Слугу какого нашелъ.

Литераторъ съ улыбкой выпиваеть чашку, встаеть съ койки, суетъ ноги въ туфли, набрасываеть на плечи халатъ, забираетъ полотенце и идетъ въ уборную.

Едва онъ выходить изъ палаты, Авдотья ко-

сится на его койку:

— Это што такое? Всв люди поднялись, а онъ коть бы што. Во лбу глаза-то. Хуже его ни одного больного никогда не было. Всв хороши, но этоть чище всвхь!

И смотритъ на всъхъ больныхъ: не поддержитъ ли кто?

Оказывается нътъ. Всѣ молчатъ. Блѣднѣетъ баба отъ злости. А тутъ еще Денисъ,—знаетъ, шельмецъ, когда подъязвить!—стоитъ съ чашкой литератора и невинно говоритъ:

- Няня, налей-ка ему чайку-то.
- Подождеть. Что онъ за баринъ такой, что не въ очередь ему буду наливать. Разъ попалъ сюда, да надълъ арестантскій халатъ, будь ты хоть полковникъ, а честь тебъ со всъми равна. А онъ, кто такой? Въдь, этого не знаемъ. Много ихъ такихъ съ хитровки сюда являются.

Помолчитъ. Ужъ ей трудно дышать. Передохнетъ и вырветъ у Дениски чашку:

— А тебѣ не слѣдуетъ къ нему лѣзть. Пусть самъ во время встаетъ и ходитъ себѣ за чаемъ. А опоздалъ—побудь-ка безъ чаю: другой разъ не проспитъ. Что онъ тебя подрядилъ ухаживать за нимъ?

Денисъ возвращается къ своей койкъ:

'— Подрядить—не подряжаль, а почему же хорошему человъку не уважить.

Авдотью всю передернеть.

— Хорошъ!.. Это што такое? Нашелъ "хорошаго", нечего сказать. Должно быть, много у тебя въ головъ... Вонъ онъ хорошій-то: выльзъ изъ подъ одъяла, какъ свинья, и ушелъ.

Тутъ Авдотья признаеть, что у ней есть слѣпые:

— Вонъ, старики, невидущіе люди, да и тѣ встанетъ съ постели и уберетъ за собой. А этотъ... убирай ка вотъ за нимъ!

Дениска поправляетъ подушки, стелетъ одъяло

и поджигаетъ:

— Мы уберемъ. Хорошему человъку почему не уважить. А онъ правду говоритъ: няньку, говоритъ, вы избаловали, ничего она изъ того, что она должна дълать, не дълаетъ вамъ.

Нянька уже не въ силахъ говорить. Качаетъ головой и встъ Дениску такимъ взглядомъ: чтобы она сдълала этому мальчишкъ, если бы имъла неограниченную власть?

Слышится приближеніе литератора. Авдотья наливаеть его чашку. Не въ очередь. Чайникъ тоже

виновать: отчаянно гремить его ручка.

Говорить Денискъ шипящимъ шепотомъ:

- Бери. Неси хорошему человъку...

Денисъ идетъ, но передъ столомъ походка робкая: какъ ни храбрится, а есть страхъ передъ бабой. Всѣ молчатъ. Головы больныхъ, особенно у плохо видящихъ и слѣпцовъ, понурены низко, скорбно.

Возвращается литераторъ и принимается за свою чашку чаю. Смотритъ на больныхъ: знаетъ уже, что въ его отсутствие больнымъ за него пришлось пережить нъсколько тяжелыхъ минутъ.

Жаль ему этихъ покорныхъ, пришибленныхъ жизнью людей. И хотя у самого нътъ ни малъй-шаго желанія болтать — заводить какой-нибудь разговоръ.

— Какъ старики спали? Что видъли во снъ? Старики всегда видятъ сны.

Больные чуть-чуть оживляются. Когда литераторъ заговориль—ови посмълъе.

Авдотья недовольна—косой взглядъ на литератора и общее замъчаніе:

— Ну, вы не очень-то прохлаждайтесь. Вамъ только дёловъ-то!

Какъ ни сдерживается, но выходить такъ грубо, элобно, что даже у литератора пробъжить по тълу непріятная дрожь; иногда онъ промолчить, иногда отпарируеть:

— На всёкъ паракъ, няня, гоните. А къ чему неизвъстно. Дайте людямъ чаю спокойно попить.

Авдотья молчитъ.

Больные съ чаемъ спѣшатъ. Особенно старики: то уныло сидѣли въ ожиданіи, пока имъ няня соблаговолитъ налить, теперь обжигаются. Огпитъ чай. По положенію: по двѣ чашки на человѣкаъ Больше не полагается. На это у Авдотьи свеи соображенія: рѣже будуть въ уборную ходить и поль въ палатѣ чище. Моетъ и вытираетъ Авдотья чашки; и хоть моетъ и вытираетъ плохо, но гремятъ у ней онѣ на славу.

Громъ этихъ чашекъ имѣетъ для больныхъ свой языкъ: жмутся и чувствуютъ больные насколько они здѣсь нежелательны.

Литератору, конечно, достается больше всъхъ. Надумала Авдотья ввести порядокъ, чтобы больные за чистотой чайной посуды следили самии люди было покорились: дня три мыли и вытирали.

Но литераторъ поднялъ бунтъ:

— Это не дъло больныхъ. Вы, няня, не имъете права сваливать своихъ обязанностей на больныхъ.

Авдотья поджала губы:

- Ну, ужъ мнъ это лучше знать. Чего вамъ тутъ дълать: за что-нибудь вы должны же казенный хлъбъ ъсть.
  - А вы за что получаете казенныя деньги?
- За что тебя не спрашивають. Какой нашелся!

Литераторъ пообъщаль, что онъ запросить врача: обязаны-ли больные слъдить за чистотой посуды? До запроса Авдотья не допустила, но загремъли съ тъхъ поръ въ ея рукахъ чашки.

Вытерта и убрана посуда въ столъ. Больнымъ изъ налаты надо уходить: няня будеть наводить порядокъ въ налатъ. Она почему-то очень не любить, чтобы кто-нибудь въ это время тутъ оставался. Исключенію подлежатъ только тъ, кому наканунъ сдълана операція.

Выбираются больные изъ палаты въ столовую. У Егорушки съ этой поры начинается трудовой день: тянеть на буксиръ одного или двухъ старцевъ. Держатся дряхлыя руки за плечи малыша—малышъ серьезенъ, ведетъ съ важнымъ сознаніемъ, что онъ дълаетъ—большое дъло.

Страшно грохають табуретки, столы, рызкимъ

рывкомъ сдвигаются койки, неистово стучить по полу щетка: казенное добро расплачивается передъ Авдотьей за то, что въ ея палатъ всегда такіе неугодные ей больные. Горе больному, который послъ операціи вынужденъ въ это время лежать здъсь. Чего только онъ не наслушается.

Всв негодяи. Всв двлають ей, Авдотьв, на зло, всв въ уборной нагадять до того, что она не можеть убирать: тошнить. Всв нищіе, бредяги съ Хитрова рынка: заботься о нихъ, служи имъ, а когда выписываются, никто гривенника на чай не дасть.

Горе такому больному: послъ этого онъ не только въ уборной гадить, но и по палатъто боится пройти.

Горе такому больному: когда онъ будеть выписываться и, не желая попасть въ число бродять съ Хитрова рынка, дасть Авдоть на чай, онъ убъдится, что она недовольна гораздо большимъ, чъмъ гривенникъ. Приметь съ видомъ, точно она ничего не принимаеть, а если ей дадуть мъдяками—и совсъмъ не приметь. Двугривенный серебромъ возьметь, мъдяками, даже и больше—нъть: такой металлъ ее оскорбляеть!

Въ столовой свътло: горятъ три лампы. Оживленно: тутъ пьютъ чай еще изъ двухъ палатъ:

средней и церковной. Палата Авдотьи называется "катарачной". По больничному порядку больные изъ катарачной тоже должны пить чай въ столовой,— на этотъ счетъ Авдотьъ уже дълали врачи замъчаніе, но ей это почему-то не нравится и она продолжаетъ поить чаемъ въ своей палатъ.

Няня Луша носится изъ столовой въ свою палату—церковную, — съ чашками чая.

Катарачные ей замвчають:

- Балуешь ты своихъ больныхъ, няня.

— Ужъ очень молоденькіе у меня. Нельзя имъ не услужить. Люблю молоденькихъ!

Отъ молоденькихъ въ ея палатѣ всегда тихо, какъ въ могилѣ, да и пахнетъ могилой: глухіе и слѣпые лѣтъ отъ 70 и старше. Рѣдко бываютъ моложе.

Съ завистью посматривають катарачные на Лу-шу: намъ бы такую!

Лушъ лътъ за 27. Кръпкая, круглая отъ полноты, подвижная, жизнью и радушіемъвъетъ отъ всей ея фигуры и лица.

Начинають ее просить:

- Няня, ты перепросилась бы въ нашу палату. У насъ полегче.
  - А въ мою кого?
  - На твое мъсто наша.

Луша отмахивается руками:

— Ни за что! Да она ихъ всъхъ, какъ мухъ поморитъ. У васъ молодежь, да и та боится. А со стариками, что будеть?

Конченъ чай и въ столовой. Идетъ уборка въ средней и церковной палатахъ.

Въ средней — няней племянница Авдотьи Анна, дъвица лътъ 22. Она тушитъ въ столовой лампы.

— Нюша, —просять больные, —погодила бы тушить-то. Ужъ очень здёсь безъ огня-то того...

Нюша ни слова: только на моментъ вздернетъ носъ—онъ на ея лицъ самое дерзкое, самое выразительное.

Ропщутъ старики:

— Яблоко отъ яблони недалеко откатывается. Но, должно быть, племянница только еще "цвъточекъ". До больныхъ она тоже далеко не сердечна, но такого трепета, какъ ея тетка, она внушить не въ силахъ. Она на больныхъ по временамъ кричитъ, они вступаютъ въ перебранку, потомъмирятся и говорятъ, что съ ней еще "житъ можно!"

Чувствують люди, что въ ея нападкахъ больше глупости, самодурства, чъмъ зла. Дълають, пожалуй и, не безъ основанія, предположенія, что туть "не безъ наставленій тети". Но въ общемъ о "цвъточкъ" много не говорять, но за то о "ягодкъ" толкують. Одни съ недоумъніемъ:

— Въкъ прожилъ, а такой бабы не видалъ. Какіе есть люди? а?

Другіе со страхомъ:

— Говорять: баба? Воть тебь и баба: любой мужикь струсить! Потому: зломь она дышить. Воть что. Она тебя не только словомь обожжеть, а однимь взглядомь. Аспидь! Дьяволь, а не баба!

Многое тутъ говорится. И даже даются совъты: писемъ черезъ Авдотью не посылать. На такое письмо не жди отвъта: марку прикарманитъ, а письмо изорветь. Что въ палатъ при уборкъ она не терпитъ больныхъ потому: не любитъ свидътелей.

Жалуются, что пропадаетъ сахаръ, чай, деньги. — Много не украдеть. А если есть у тебя рубля два-три—двугряшъ или побольше—свистнеть. Иной разъ и не догадаешься: подумаешь, что самъ на что-нибудь потратилъ и забылъ.

И опять совъты: денегь въ палатъ не оставляй,

а носи при себъ.

Говорять, потомъ проносится: "шш-шы!. - и всъ замолкають.

Мягкими, неслышными шагами Авдотья плыветь черезъ столовую въ коридоръ.

На лицъ гордость: ей подъ 50, а она еще молодыхъ затыкаетъ-убранась раньше всъхъ!

То, что она начала уборку раньше Луши и Анны-это она изъ виду упускаетъ.

На больныхъ посмотрить подозрительно: ужъ знаетъ, что-нибудь о ея подвигахъ?

Прошла и опять разговоры о ней, но уже со страхомъ, жуткимъ шопотомъ.

Литераторъ гдъ-нибудь въ углу: наблюдаетъ. Желтые, безобразные халаты, понуренныя фигуры съ невнятнымъ шопотомъ на устахъ-чувство непріязни и страха возникаеть у литератора отъ этой группы, которая въ полутемнотъ напоминаетъ ему одну сцену изъ Метерлинка. Онъ думаеть, что это не люди, а твни людей. Но гдв же люди? Чудится ему, что люди гдв-то впереди, но гдъ же впереди, когда многіе изъ этихъ люлей почти уже на краю могилы?

Шушукаются твни. Изрвдка вырвется молодой голосъ:

— Надо жаловаться на нее старшему врачу... И сепчась же затихнеть. Такъ, что самъ говорящій сознаеть, что у него вырвался пустой, ненужный и опасный звукъ.

Если бы старшій врачъ узналъ Авдотью во всемъ ея величіи, онъ, можетъ быть, и смъстиль бы ее. Но никогда ему никто изъ больныхъ про Авдотью ничего не говориль. Его всв боятся. Ему лътъ подъ 70. Онъ сухъ. Холоденъ. Ежедневно обходить всё палаты больницы, но смотрить на больныхъ странно: сквозь нихъ, точно передъ нимъ вещь, мъшающая ему что-то разглядъть въ пространствъ. Усталость-ли тутъ, или безразличіе отъ долгаго соприкосновенія съ больными трудно понять. Но за то онъ очень зорокъ къ внъшнему порядку. Никогда не поинтересуется твмъ, какъ кормятъ больныхъ, въ какой атмосферф, создаваемой служащимъ персоналомъ, имъ приходится лечиться и, грозить нянямъ штрафами, если замътитъ, что больной лежитъ на койкъ въ халатъ.

Больные недоумъвають:

— Сидъть въ халатъ на койкъ можно, а лежать нельзя? Чудно!

Всвми силами стараются выполнять это требование—и все-таки попадаются.

ПІушукаются тіни. Потомъ постепенно всі замолкають. Дрожать. Зябко кутаются въ калаты. Съ завистью посматривають на больныхъ средней палаты: они не боятся своей няни и, во время уборки, лежать на койкахъ подъ одіялами. Имъ теперь не холодно. Мерзнеть въ столовой одна только катарачная палата.

Вентилируетъ Авдотья свою палату черезъ-

Давно закрыты фортки въ церковной палатъ, жалъетъ Луша своихъ молоденькихъ; за ней закрываетъ въ своей и Анна, а у Авдотьи все еще двъ фортки настежь, хотя открыла ихъ раньше всъхъ.

Мерзнутъ катарачныя, но ни у кого нѣтъ смѣлости дерзнуть: закрыть фортки, или хоть напомнить объ этомъ Авдотъѣ.

Литераторъ долго ждетъ—зябнетъ самъ, но ждетъ: а не проявитъ-ли кто-нибудь изъ нихъ такого мужества. Безплодно. Развъ иногда какойнибудь старецъ начнетъ коченъть и взмолится:

— Михайла, иди, Христа-ради, закрой ты тамъ... Литераторъ идетъ и смотритъ на градусники: у Лукерьи 11, у Анны 10, у Авдотьи 8 или 7. А не явится она еще долго: не закрой фортокъ—сойдетъ до 0.

Спѣшатъ катарачныя изъ столовой въ свою палату, прячутся съ головой подъ одъяла и щелкають зубами.

Является истопникъ, смотритъ на градусникъ и сыплетъ по адресу Авдотьи забористую брань: онъ съ ногъ сбивается, одинъ на всю больницу, гдъ всего 37 печей, а эта "чортова баба" студитъ на зло. Такъ-ли она студила, когда обязанность топить лежала на нянькахъ?

И подождаль бы онъ ее, да некогда. Ну, да погоди: онъ ей еще покажетъ!

Напихалъ истопникъ дровъ, затопилъ и бъжитъ въ другія палаты.

Является Авдотья. Причесалась. Вымылась. Бълый чепецъ на головъ. Дълъ до прихода врача никакихъ.

Косится на окна. Если нътъ литератора въ палатъ-попадетъ всъмъ на оръхи:

— Закрыли? Поторопились? Непремвнно старшему врачу скажу. Это што такое? Надо или нъть освъжить, чтобы вашей вонью не разило? Съ кого спросять это?

Но если литераторъ тутъ — смолчитъ иногда Авдотья, за то онъ припомнитъ.

— Вы помните, что у меня отъ вашего "освъженія" въ прошломъ году было: на-завтра назначили на выписку, а у меня къ вечеру температура до 40. Хорошо, что все обошлось простой лихорадкой. А въдь, могло-бы быть что-нибудь и похуже. И развъ одинъ я: со сколькими ужъ это

бывало? Врачи лечутъ, а вы имъ больныхъ портите.

Авдотья молчитъ. Непоколебимо увърена, что "освъженіе" важнъе человъческой жизни, кромъ собственной: сама въ это время сидъла въ тепломъ ванномъ отдъленіи. А если въ палатъ еще холодно—ей никто не помъщаетъ вновь уйти туда-же.

Дениска на минуту набирается смълости:

— Что, няня, върно, то върно. Истопникъ вонъ говоритъ, что когда няньки въсвоихъ палатахъ топили, тогда ты фортками такъ не студила. Видно, свой горбъ-то больше всего жалъешь!

Передъ Дениской Авдотья уже не смолчить.

— Заткни ротъ-то! Кто-нибудь пусть поговорить, а ты заткни,—вырывается у ней такимъ вловъщимъ тономъ, что Дениска ничего лучше не находитъ, какъ испариться изъ палаты.

Уходить онъ. За нимъ остальная молодежь. Даже Егорушка и тотъ бъжитъ.

Въ катарачной—мучительная тишина. Слышно, какъ молодежь гогочетъ въ коридоръ, доносятся отдъльныя слова и фразы изъ средней палаты. Старики уныло вздыхаютъ. Поговорили-бы они о томъ—о семъ; вели-бы свои добродушно-дряхлыя бесъды, если бы здъсь не эта баба.

Авдотья сидить на своей койкь—у стыны, пункть, откуда видно всыхь. Тонкія губы до того поджаты: губъ ныть. Глаза медленно, съ застывшей холодной ненавистью, переходять съ одного лица на другое. Ея лицо, — умерли на немъ всъ движенія человъческой души, кромъ злобы и скуки.

Злитъ Авдотью эта тишина. Видно, что ей и самой хочется поговорить, но она сдерживается. Во-первыхъ, чтобы не ронять своего авторитета, во-вторыхъ, уже по опыту знаетъ, что если и снизойдетъ до того, чтобы о чемъ-нибудь заговорить — бесъда не наладится. Никто ея мнъній не раздълитъ, всъ будутъ молчать.

Она сидить и, по истинъ съ адскимъ териъніемъ ждетъ: а все-таки, не затъется-ли?

Острота тишины ростеть. Той тишины, когда нельзя молчать.

Авдотья по своему глубоко страдаеть, но она выдержить. Своимизлорадными взглядами, упорно ищущими глазь другихь, она вынуждаеть раскрыть уста даже у слъпцовь: лежить или сидить старець, свъта Божьяго невидить, но чувствуеть что-то нехорошее, отъ чего нужно оградиться.

Такъ, очевидно, иногда у кого-нибудь вырвется:
— О, Господи! Помилуй мя гръшнаго...

Авдотья даже этого не пропустить. Маска скуки и злобы дрогнеть презрѣніемъ, оживится ядовитой улыбкой.

— Вамолился? Это што такое? Съ молоду-то, чай, объ этомъ не думалъ, а когда Богъ убилъ, тогда "О, Господи!" Народъ...

Промодчатъ больные. Но еще острве обострится тишина: звукъ человъческаго голоса уже необхо

151

димъ. Начинаютъ говорить. Безсвязно. Отрывочно. Ибо нельзя не говорить: иначе эта тишина можетъ вырвать крики бъщенства и безумія.

Няня не дремлетъ. Подаетъ реплики.

Ничего новаго. Все тоже, что и всегда: больно, грубо, низменно. Человъкъ съ двухъ-трехъ словъ уничтожается, втаптывается въ грязъ до той степени, когда не въ силахъ отвъчать: не позволяетъ собственное достоинство.

Авдотья въ крайнемъ бѣшенствѣ — красныя пятна на напряженно поблѣднѣвшемъ лицѣ: съ ней не желаютъ говорить?!

Литераторъ начинаетъ чувствовать себя неладно. Кружится голова. Тонъ, которымъ онъ говоритъ,—грань, когда человъкъ изо всъхъ силъ кръпится сохранить самообляданіе.

— Что вамъ, няня, нужно? Чего вы хотите отъ людей? Если вы не можете переносить больныхъ—не служите. Найдите себъ какое-нибудь другое дъло.

— Больные,—отзывается Авдотья:—Я сама побольные такихъ больныхъ. Больные? Вонъ шеи-то какія на казенныхъ хлъбахъ наъдаютъ.

— Согласенъ и съ тъмъ, что вы больны. Объ этомъ ваша племянница говорить на всю больницу...

Авдотья отмалчивается: ненаходится, что возразить.

Върно, она часто прихварываетъ. Иногда неявляется на день, на два. Однажды даже недъли три отлежала въ какой-то больницъ—съ этихъ поръ ея племянница Анна на вопросъ, чъмъ была больна тетка, убъжденно отвъчаетъ: "Чъмъ? Извъстно: отъ зла!"

Авдотья молчить. Она побита. Страшно въ это время ея лицо — лицо мученицы, которая воображаеть, что въ тяжести несомаго ею креста повинна даже родная кровь; но еще страшнъе губы: прямая, едва замътная, живущая судорожной дрожью, линія.

На эту линію даже жадный до наблюденій литераторъ не можеть долго смотръть. Отворачивается съ чувствомъ непріязни, отвращенія и иногда говорить:

— Эхъ, няня-няня. Оттого вы больны, что вамъ не даютъ высказать противъ людей всю свою ненависть. И никогда не выскажете. У васъ ее такой запасъ—до могилы хватитъ, да и въ нее учесете.

Авдотья хлопаеть глазами. Признакъ, когда она силится понять и не понимаеть. Въ другое время въки ея глазъ почти неподвижны.

Потомъ съ видомъ мученицы—опомнитесь-де, молъ, что вы говорите?!—покачаетъ головой и скажетъ:

— Это што такое?

Жутко старикамъ отъ этой злой, неукротимой силы и хочется отдохнуть на чемъ нибудь свътломъ.

Справляются о времени. Потомъ, кто нибудь броситъ:

- Что-то барыня долго не идетъ.

— Придетъ, милая. Такая о насъ не забудетъ! Няня не утерпитъ:

— Это што такое? Ужъ очень вы о ней... Гребеть за васъ денежки, вотъ и помнить.

Старики точно и не слышали: ладятъ свое, какъ добра барыня, какъ внимательна, какъ заботится о своихъ больныхъ.

Кривляются, дергаются губы няни. Острый ножь для нее, когда кого нибудь хвалять, а барыню въ особенности. На лицъ гадкая-гадкая улыбка.

— Тоже... нашли ангела... изъ подъ мельницы!

Если бы все-то разсказать...

Дълаеть паузу. Смакуетъ. "Все" Авдотья разсказываетъ, должно быть, нянямъ. Лукерья часто говоритъ, что если бы барыня знала, что о ней несетъ Авдотья, — Авдотьи давно бы здъсь не было.

— Если бы все то разсказать, —насладившись, продолжаеть няня: —знала я ее дввушкой... Или воть умираль въ прошломъ году докторъ... Ужъ на что бы лучше: его ученица. Она къ нему и явись... Боже ты мой, что туть было... А ужъ нельзя сказать: быль человъкъ, царствіе ему небесное. (Набожно крестится). Такъ, что онъ дълаль? Топалъ ногами, кричалъ: Кто ты такая? Вонъ...

Няня недоговариваетъ, но циничное слово понятно всъмъ.

Всв молчать молчаніемъ: грязное къ чистому не пристанетъ. Литераторъ смотритъ на няню: Гадина. Какая Гадина!

Онъ помнитъ, что, когда былъ живъ "хорошій человъкъ"—не было для няни худшаго человъка, чъмъ онъ: потому что, она была подъ его въльніемъ.

Умеръ онъ—заступила его мъсто барыня, или, какъ ее зоветъ няня "докторица", плохой человъкъ сталъ хорошимъ, а хуже докторицы—она самый недобрый человъкъ для няни изъ всего врачебнаго персонала больницы.

Уходить литераторъ изъ палаты. Бродить по коридору, по столовой, часто поглядываеть на часы: ждеть барыню.

Вотъ является фельдшеръ. Маленькая фигурка съ надменно-откинутой назадъ головой, съ узкими, невидимыми, но юркими глазами.

— Асистентъ явился, — думаетъ съ улыбкой литераторъ, наблюдая, какъ этотъ маленькій человъкъ чувствуетъ себя въ палатахъ безъ врачей: при нихъ онъ сокращается, но безъ нихъ—въроятно съ такимъ видомъ никогда не шествовалъ по больницъ и самъ старшій врачъ.

До больныхъ фельдшеръ не особенно человъколюбивъ. Исполняетъ машинообразно все, что ему прикажетъ врачъ; часто получаетъ нагоняи за невыполненныя приказанія и робко извиняется: забылъ!

Но за то, гдъ нужно показать и постоять за авторитеть администраціи, хотя это въ большинствъ случаевъ бываетъ и не у мъста, маленькій человъкъ великольпенъ: голосъ поднимается до мощнаго баса!

Больные, конечно, его порабливають, недолюбливають и, молчать.

Въ схваткахъ съ няньками онъ менфе счастливъ.

Видить "заботливый" глазъ упущенія и покрикиваеть во всю: онъ здёсь первая спица въ колесницё! Идеть включительно до внушеній, что если такъ относиться къ своимъ обязанностямъ, то не нужно и служить.

Няни его не боятся, но не грубять: покричить, покричить—таковъ же будеть.

Кромъ Авдотьи. Эта ужъ не уступить ему ни одного слова. Бъсится до розовыхъ пятенъ на напряженно поблъднъвшемъ лицъ, напеминаетъ, конечно, другими словами: врачу — исцълися самъ.

Онъ пасуетъ. А она ходитъ весь день съ гордостью: "Отчитала! Не лъзь. Я не кто нибудь, я старшая няня. Жить 15 лътъ и допустить, чтобы какой нибудь фершалишка помыкалъ? Ну, нътъ; погодишь!"

Девять часовъ утра.

Въ дни операцій женщина-врачъ является и раньше.

По палагамъ проносится въсть:

Барыня идетъ.

Вст подбадриваются. Оживляются. Въ катарачной—облегченно вздыхаютъ.

Походка у барыни—походка въчно спъшащаго человъка: половина фигуры наклонена впередъ.

Литераторъ смотритъ и думаетъ:

— Да, эта женщина не думаеть о красивыхъ позахъ. Некогда. Надо дъло дълать,—вотъ что гнетъ половину прекрасной фигуры.

Съ ея появленіемъ въ палатахъ точно прибавляется больше свъта, радости, тепла. Желтые, замызганные халаты—и тъ даже веселъе кажутся. Всъ больные, которые хоть немного видятъ, привътствуютъ барыню почтительными поклонами—всъмъ она отвъчаетъ глубоко—радушнымъ наклономъ головы и тихимъ движеніемъ губъ чувствуетъ женщина неподдъльность чувствъ и, съ сознаніемъ, что выше этой награды ничего не можетъ быть, чутко слъдитъ, чтобы никто не былъ обиженъ ея вниманіемъ.

Дежурная няня подносить ей халать. Она одъваеть и смотрить на больныхъ: большимъ— большимъ раздумьемъ—неугасимая забота, какъ свътлая свъча, свътится въ ея глазахъ.

Егорушка считаетъ своимъ долгомъ явиться на

лицо. Стоить бутузъ передъ барыней, чуть-чуть повыше ея колънъ и, смъло чеканить:

— Здластвуй, балыня!

Иногда она сразу и не пойметь: откуда такой звукъ? Смотритъ съ недоумъніемъ по сторонамъ.

Но Егорушка не таковъ: скоро не смутится. Ему во что бы то ни стало надо услышать голосъ барыни. Вторично свидътельствуетъ свое почтеніе:

— Здластвуй, балыня!

Она его замъчаетъ. Улыбается:

— Здравствуй, Егорушка, здравствуй!

Егорушка уходить: удовлетворень безъ мвры! Рожица серьезна на диво: съ какой нибудь неумъстной шуткой, пустымъ словомъ—не подходи. Принесло маленькое сердце дань изъ своихъ лучшихъ чувстъ и уходитъ счастливое, упиваясь сознаніемъ, что и ему платятъ тъмъ же.

Авдотья стоить у входа въ свою палату и возвъщаеть своимъ жертвамъ:

— Больные, выходите.

Надобности въ этомъ возвъщении нътъ: всъ знаютъ, что барыня пришла, многіе уже и вы-

Но... надо же Авдоть в показать, что бы "докторица" слышала, что она своих обязанностей не забываеть.

Голосокъ у ней въ это время райскій. Барыня ипогда точно этого и не замізнаеть. Иногда не удержится и взглянеть: если бы Авдотья сыла

поумиве, она поняла бы, что никогда не вернуть ей симпатій докторицы.

Въ сопровождени нянекъ и фельдшера барыня идетъ дълать обходъ тъхъ оперированныхъ, которые еще должны лежать.

Остальные изъ всёхъ трехъ палатъ собираются въ среднюю.

Конченъ обходъ.

Передъ окномъ табуретка. Становится барыня за эту табуретку, съ правой стороны фельдшеръ и няня, столъ съ медикаментами—на двъна три секунды остановитъ взглядъ на шеренгъ въжелтыхъ халатахъ.

Молодежи мало: на шесть-семь старцевъ одинъ. Зорокъ глазъ барьни: больныхъ въ общемъ человъкъ до 30, а она сразу замътитъ:

— Авдотья, а почему нътъ такого-то?

Молодежь легкомыслена: забудеть какого нибудь старца въ палатъ. А иногда и жестока: ос. тавитъ затъмъ, чтобы насладиться, когда Авдотъъ влетитъ нагоняй.

Авдотья не сразу тронется съ мъста: пока покосится на молодежь—почему, молъ, не вывели? —а Дениска уже мчится въ палату.

Знаетъ барыня эти взгляды, до мелочей изучила и, ръзко звучить ея голосъ:

— Сколько разъ я вамъ говорила: не больные здъсь для вашихъ услугъ, а вы для больныхъ Ваша обязанность водить слъпыхъ!

Авдотья идетъ. На Дениску зыкнетъ, несчаст-

наго, забытаго слъпца грубо схватить за рукавь и шипить:

— Это што такое? Всъвышли, а ты еще спишь? Ты спишь, а тамъ за тебя выговоры получай.

Но при выходъ изъ палаты, когда она уже на глазахъ "докторицы", Авдотья мъняетъ тонъ:

— Не сюда, не сюда, дъдушка. Иди за мной. Это што такое: ты сюда, а онъ туда.

Всъми силами старается показать передъ врачемъ добрую душу.

Докторица взглянеть ей на лицо: на немъзлоба, что ей все таки приходится подчиняться; посмотрить на то, какъ она волочеть больного: съ такой ненавистью и отвращеніемъ держится няня концами пальцевъ за рукавъ халата, точно—это падаль, отравляющая ей жизнь,—посмотрить докторица и, голова устало наклонится на моменть внизъ, лицо поблъднъеть: кажется, что сейчасъ потеряетъ самообладаніе.

Нътъ: выдержитъ. Черпаетъ силу въ своемъ дълъ: принимается за осмотръ.

Егорушкъ почетъ. Знаетъ, шельмецъ, что любитъ его барыня за то, что на операціяхъ держитъ себя рыцаремъ, не пугается, не кричитъ; развъ иногда, если ужъ невмоготу, скажетъ: "Ой, тосно, балыня!"

Знаетъ это, шельмецъ, и лъзетъ на осмотръ всегда первымъ.

Какъ на операціяхъ, такъ и на осмотръ Егорушка держить себя молодцомъ: куда прикажутъ

глазами смотрёть, — ужь не запнется. Отпустить его барыня съ улыбкой: довольна бутузомъ. За Егорушкой почеть наиболёе дряхлымъ старцамъ.

Мягко авучить голосъ женщины-врача:

— Пожалуйте.

Лукерья усаживаеть больного на табуреть, придерживаеть ему голову свади.

Тономъ не приказанія, а просьбы звучать слова:

— Направо. Налъво. Вверхъ. Внизъ. На меня-Со стариками бъда. Пока-то онъ на табуретъ сядетъ, пока-то наладится двигать глазами.

Много такихъ, которые совершенно не могутъ дать обстоятельнаго изслъдованія теченія бользни. Его просять смотръть вверхь, онъ упорно пучить глаза внизъ, ему говорять "направо", онъ—наліво.

Терпъніемъ вибрируетъ голосъ барыни:

— Дъдушка, ну, вверхъ! Смотрите на потолокъ. Неужели вы не можете? Мнъ такъ не видно вашего глаза.

Или:

— Дъдушка, направо. Направо, я васъ прошу. Неужели вы не знаете, гдъ правая сторона? Иногда бъется долго. Прибъгнетъ къ помощи фельдшера:

— Скажите ему.

Фельдшеръ внушительно — строгимъ баскомъ покрикиваетъ и щелкаетъ пальцами:

— Вверхъ. Смотри вверхъ! Не туда смотришь! И сейчасъ-же поправится: женщина-врачъ обращается ко всъмъ "на вы".

— Вверхъ. Смотрите вверхъ. Смотрите туда,

гдъ я щелкаю. Слышите?

Иногда и "щелканье" не помогаетъ. Барыня въ отчаяніи—отворачивается къ окну и устало у ней вырывается:

— Я такъ не могу. Я брошу его осматривать. Но пройдеть полминуты, минута — вновь набралась силь. Просить ласково. Чуть не умоляеть. Знаеть, что, если лаской не поможешь, грубымъ окрикомъ совствиъ запугаешь.

Больные негодуютъ-стоять и шепчутся:

- Вотъ, чортовъ пень.

- Дуракъ.

— Да бросить бы его. Чего она съ нимъ бъется.

Надъ такимъ "пнемъ" потомъ издѣваются. Внушаютъ ему, что онъ не одинъ. Учатъ, какъ надо смотрѣть.

Авдотья стоить и злорадно улыбается: изъ такихъ "пней" она черпаетъ убъжденіе, что недаромъ она ненавидитъ больныхъ, а во вторыхъ—рада, что "докторица" мучается.

Но добыется барыня своего: осмотритъ больного.

Отпустить, облегченно вздохнеть и, слъдовъ усталости, приподнятыхъ нервъ, какъ не бывало. Авдотья стоитъ въ сторонъ. Занята Анна, занята Луша, а она—старшая нянька больницы, въ сторонъ. Старшей она себя считаеть не потому, что существуеть такое отличіе, а потому, что живеть—больше всъхъ.

Въ глубинъ души у ней давно сложилась увъренность, что, какъ старшая няня, она и не должна ничего дълать: ея дъло—уже приказывать бы, наслюдать. И раньше она такъ и поступала: стоитъ гдъ нибудь въ сторонкъ, сама ни до чего не касается, но зато, если другія няньки что нибудь по ея мнънію сдълали не такъ, смотритъ имъ въ глаза весьма выразительно: "эка, дура!"—и качаетъ презрительно головой.

Но "докторица" такую роль не одобряла; потребовала дёло и отъ "старшей няни". И, долгую, должно быть, борьбу пришлось вести женщинъ,—врачу, чтобы дойти до мысли: лучше отказаться отъ услугъ такой няни, чъмъ ихъ видёть.

Она стала дълать видъ, что Авдотья ей не нужна; старалась обходиться услугами двухъ нянь и фельдшера.

Авдотья поняла и въ ея сознаніи произошла перемъна: какъ гнушаться ея услугами, услугами старшей няни?! Стоить она въ сторонъ—лицо искажено злобой, красныя пятна то выступають, то исчезають на смертельно-блюдной кожъ, губы—страшная, едва замътная линія, глаза когда барыня наклонена надъ больнымъ, съ ненавистью впиваются въ нее.

Подниметъ барыня голову-взглядъ ея на Ав-

163

дотью —взглядъ на пустое мъсто; Авдотья опуститъ свои глаза внизъ, лицо: она мученица! Чъмъ она заслужила такое отношеніе?

м. СИВАЧЕВЪ.

Такъ пройдеть полчаса, иногда даже болъе.

Не выдержить-ли Авдотья этого позорнаго положенія, или струсить, какъ бы ея опасенія не оправдались: "Что жъ она меня такимъ манеромъ выжить думаеть? 15 лътъ служу, сколькихъ докторовъ перевидала, а эта, —безъ году недълю здъсь и что дълаетъ? -- не выдержить и старается влъзть въ общую работу.

Воспользуется случаемъ, когда Луша своихъ "молоденькихъ", уже побывавшихъ на осмотръ, потянеть въ свою палату—и встанеть на ея мъсто. Луша буксиритъ старцевъ съ веселымъ видомъ. Ее не тяготять эти старые слёпые и глухіе, нигдв она о нихъ не забываетъ: на осмотрв старается пропихнуть поскорве.

Аннъ въ сущности все равно, кто позже, кто поскоръе, но усердіе Луши ей не нравится и она ее шпигуетъ замъчаніями:

— Чего ты не въ очередь пихаешь своихъ? Луша отмалчивается; знаетъ свое: старичковъ нужно освободить поскорве! Молодежь постоить, а ея "молоденькимъ" это не легко.

Отвела Луша своихъ старцевъ, встаетъ на мъсто Авдотьи и смотритъ, какъ она за нее управляется. Старшая няня свиръпствуетъ. Старцу помогаетъ състь на табуретъ — чуть не свалитъ. Голову начнеть держать-держить такъ, точно воть воть будеть вертъть на сторону. Упаси Богъ, если очередной больной чуть замедлить.

Барыня крыпится-крыпится да не выдержить. Сыплются на Авдотью замвчанія:

- Нельзя-ли сажать потише!
- Зачвиъ вы больному голову давите?
- Не рвите... Не рвите такъ грубо за рукава халатовъ!

Авдотья прежде огрызается:

— Я и не рву. Какъ же ихъ еще сажать-то? И качаетъ головой: за что на нее нападають?

Въ глазахъ барыни начинаютъ вспыхивать острые огоньки; смотрить она на Авдотью, когда дълаетъ ей выговоры, уже въ упоръ: голосъ начинаеть звенъть. Авдотья пасуеть: отмалчивается Но если она въ силахъ держать языкъ за зубами, то совершенно не въ ея власти обуздать свою злобу: нътъ-нътъ, кого нибудь да и рванетъ.

Видить барыня, что такъ спокойно работать нельзя: устраняетъ Авдотью, Луша становится на ея мъсто.

Стоитъ Авдотья. Дъло спокойное. Подъ стать старшей няни. Когда то она чувствовала себя довольной въ этой роли: изредка подать кусочекъ марли, пропитанной іодоформомъ. Тогда пріятно было такъ стоять, всв чувствовали въ этомъ почеть, а теперь-лица всёхъ больныхъ расцвёли, довольны безъ мъры, радуется фельдшеръ, лукаво посматриваеть Луша и, даже въ глазахъ

собственной племянницы читается: такъ тебя и надо!

Стоитъ Авдотья. Стоитъ съ видомъ мученицы. Фигура, лица—вся застыла въ злобъ, въ ненависти, слегка движутся одни только невидимыя губы.

Анна послъ осмотра будеть всъхъ увърять:

— До крови раскусала!

Зато барыня спокойна. Безъ Авдотьи дѣло ладится.

Шеренга желтыхъ халатовъ таетъ безъ услугъ "старшей няни" быстръе.

До литератора очередь еще долга. Въ сторенъ кучка молодежи, тоже въ ожидании очереди—онъ стоитъ за ними и наблюдаетъ за барыней.

Она стройна и на рѣдкость красива. При первомъ взглядѣ—ослѣпляетъ.

Она работаетъ молча и сосредоточенно, но лицо и глаза говорятъ, отражаютъ ходъ мыслей и чувствъ.

Вотъ дрогнулъ кончикъ изящнаго носа, гордый, обаятельно затвненный волосами лобъ, чуть наморщился, нахмурились темныя брови, глаза вспыхнули—синіе-синіе и глубокіе, какъ море: все это значитъ, что теченіе бользни осложняется, нало надъ этимъ хорошенько подумать.

Сѣлъ на табуретъ другой больной.

Этотъ радуетъ. Хмурь съ лица исчезла. Прекрасные лучистые глаза ясны, какъ лазурь неба. Видитъ литераторъ, какъ чутки къ боли пальцы барыни, когда она касается глазъ; припоминаетъ въ какихъ отвратительно-гнойныхъ бользняхъ подъ конецъ осмотра копаются эти пальцы съ любовью, со страданіемъ и думаетъ, что эта женщина проживетъ не напрасно:

— Она дълаетъ дъло. Огромное, великое дъло, Это не то, что говорящіе безъ умолку о благъ человъчества "барыньки".

Подъ конецъ осмотра барыня устаетъ. Вдругъ ея фигура выпрямляется, голова чуть чуть откинута назадъ; въ такомъ положении пробудетъ съ минуту. Смотритъ на больныхъ: тутъ не только великое сознаніе отвътственности, туть уже нъчто большее: величавый экстазъ творчества.

У литератора дрожь восторга.

Вогъ доходитъ очередь и до него.

Изящнымъ, ласковымъ жестомъ барыня указываетъ ему на табуретъ и, какъ музыка, входитъ въ литератора звукъ:

- Пожалуйте.

Онъ приближается и садится осторожно и почтительно. Она не знаетъ его истинной профессіи. Въ исторіи бользни подъ рубрикой "родъ занятій" онъ записался ремесленникомъ: "токарь".

Своими глубокими, прекрасно-лучистыми глазами она заглядываеть въ его больной глазъ и, когда говоритъ: "Пожалуйста, направо. Налъво. Вверхъ. Внизъ"—тонъ у нея другой, чъмъ обыкновенно. Звучитъ суще, серьезнъе.

Съ иными дъдушками кначе обращаться и

нельзя, какъ съ малыми дътьми. Обласкай, — чего надо и добьешься; будь чуть посерьезнъе, подъловитъе, растеряется, смутится старецъ и нужнаго отъ него не вывъдаешь.

Съ литераторомъ у барыни иная статья. Видитъ она въ немъ человъка сознательнаго. Этотъ понимаетъ, что "ублажать" всъхъ при массъ работы и времени не хватитъ.

Когда конченъ осмотръ-барыня заключаетъ:

— Великолъпно! Очень хорошо у васъ идетъ. Говорить это она и дъдушкамъ, но имъ больше для успокоенія, съ литераторомъ она дълится улучшеніемъ въ бользни тымъ тономъ радости и довърія, что этотъ человыкъ можетъ уразумыть, что значитъ удовлетвореніе въ любимомъ дълъ.

Литераторъ чувствуетъ это и думаетъ, что, если бы тутъ никого не было, онъ у этой женщины поцъловалъ бы руку: молча! Поцъловалъ бы и пошелъ. Какъ эстетъ, онъ полагаетъ, что истинное поклонение и благодарность должны воздаваться въ тишинъ и тайнъ.

Иные изъ прозръвшихъ старцевъ дълаютъ это проще: становятся передъ барыней на колъни и при всъхъ благодарятъ и за любовь и за ласку, и за помощь. За литераторомъ еще десятка два больныхъ. Онъ идетъ въ свою палату, но и оттуда, выбравъ такой укромный уголокъ, гдъ бы его барыня не могла видъть, наблюдаеть за ней.

Наконецъ, пріемъ конченъ. Барыня моментально

улетучивается въ амбулаторію: тамъ еще больше дъла. За ней исчезаеть и фельдшеръ.

Литераторъ тоскливо вздыхаетъ: ушла! И косится на больничную обстановку: все ему кажется здъсь безъ этой женщины нестерпимо хмуро и съро.

Лукерья и Анна убирають на свое мъсто инструменты, лекарства. Авдотья отъ пережитой злобы, какъ говорится, съ креста снята: смертельно блъдная и на ногахъ еле-еле держится. Чтобы помочь нянямъ—ей ужъ не до этого: идетъ отлеживаться въ отведенное для нянекъ помъщеніе. Въ церковной палатъ мертвая тишина. Иные молоденькіе спятъ, иные уже и забыли, гдъ они, что съ ними?

И это бываеть.

Въ средней и катарачной толкують: кого и чёмъ сегодня барыня порадована и огорчила.

У нъкоторыхъ до того умиленныя и восторженныя лица, точно они видять свътлое видъніе. Для особенно върующихъ барыня послъ Бога второе лицо, а для тъхъ, которые въ въръ слабы, она божество:

— Вся жизнь въ ея рукахъ: вылечить—поживешь, нътъ—и голозы не приложишь, какъ будешь на свътъ маяться.

Жизнь сурова. Заставляетъ учиться, знать.

Многихъ изъ этихъ людей жизнь заставила притти въ больницу съ такими опредъленіями глазного зрачка: "озерокъ, зенки".

168

Туть они не только учатся правильно называть зрачокъ-полотеры, мужички, никогда до этого невидавшіе столичнаго города, дворники и пастухи, рабочіе сыплять терминами: "катаракта, трахома, іеритъ, редактомія, эципировка". Слушаеть литераторь. Встають передъ нимъ фабрики, деревни, проселочныя дороги, столичные города и уъздные закоулки-по всеи Руси ежегодно согни людей будуть благословлять образь прекрасной женшины.

Слушаетъ литераторъ и думаетъ, что это не эфемерная слава знаменитаго пъвца, артиста.

За разговорами о барынъ время у больныхъ летить. Въ столовой гремять ложками, тарелками.

Въ средней и церковной палатъ довольны:

— Ну, воть и объда дождались!

Въ катарачной и покушать уже хотять, да не радуются:

- Экъ, Господи! Опять грызть будеть. Какая ужь туть вда. Кусокь въ горив становится, когда она язвить.

Идеть наломничество изъ трехъ налатъ въ столовую. Лукерья наиболье, молоденькимъ "не прочь подать объдъ и въ палату, но они хотятъ непремънно объдать "виъстъ съ нянюшкой".

Скрипять старыя развалины, того и гляди, какъ бы гръхъ не случился: упадетъ и разсыплетс я Но, однако, двигаются:

— Веселье съ ней.

Шумно усаживаются за столъ больные Анны.

Катарачные тише воды, ниже травы. Молодежь, правда, пробуетъ храбриться, но робко и искоса. не забываеть посматривать на свою няню. Старики жалки и смъщны: такъ усаживаются на скамьи за столь, точно хотять, чтобы ихъ не видъли и не слышали, - это при слъпотъ то!..

Авдотья у стола, какъ монументъ: ждетъ, когда Анна и Лукерья принесуть съ кухни щи и кашу. По правилу и она должна ходить, но она считаетъ, что свое время отходила.

Являются "младшія" няни. Одна вновь бъжить на кухню, другая разливаеть на оба стола. Слышать катарачные, какъ тамъ просять:

- Мнъ, няня, побольше. Прибавь-ка чуточку! Другіе недовольны:
- Очень много. Не съжмъ!

У Авдотьи такихъ поблажекъ не водится. Она сама знаеть-сколько кому дать.

При полномъ молчаніи всёхъ своихъ больныхъ она прежде грубо побросаеть на тарелки по куску мяса.

Не видять старцы ни кусковъ, ни Авдотьи, но то, какъ шлепаются эти куски, заставляетъ ихъ вздрагивать, сжиматься.

Потомъ начинаетъ разливать. Ни у кого не поднимается рука протянуть ей тарелку. Протянешь-виновать:

— Чего лѣзешь? Не знаю, когда дать? И ждешь-тоже:

— Заснуль? Это што такое. Дай только Богь терпънія!

Молодежь приносить себя въ жертву старикамь: усаживается поближе къ Авдотьъ, старцы въ дальнемъ концъ, къ углу ближе, гдъ довольно темно.

Волей-неволей приходится молодежи по командъ Авдотьи подавать ей тарелки, передавать ихъ по-очереди на конецъ стола.

Молодой фабричный рабочій—Курановъ, 17 лътній Санька, Дениска—изо всъхъ силь стараются угодить своей нянъ—и не могутъ:

- Развѣ такъ подаютъ? Человѣкъ... Какъ будешь жизнь-то жить?
- А ты? ей ты? Что разлиль! Глазъ-то нътъ. Свинья! Подтирай за ними. Въ хлъвъ вамъ быть, а не съ людями.

Разливаеть она тоже рывкомъ да кидкомъ и, если иногда плеснетъ мимо тарелки—это тоже пойдетъ въ счетъ пролитаго "свиньями".

Молчать. Всё молчать. Егорушку не скоро и замётишь: сжался между стариками, голова изъ подъ уровня стола торчить лишь волосами. У Егорушки лицо запуганное, недоумёвающее: если онъ боится Авдотьи—такъ онъ маленькій, а почему взрослые?

И должно быть, Авдотья ему рисуется такимъ грознымъ и всемогущимъ существомъ, противъ котораго бороться и думать нечего—его возможно только умилостивить.

Знаетъ Егорушка, какъ жадна нянька на пищу больнымъ; знаетъ, что въ его тарелкъ будетъ щами покрыто лишь дно,—этого ему недостаточно, но что за бъда, какъ истинный мужичекъ онъ послъ объда пожуетъ хлъбушка, и, когда доходитъ очередь до него, онъ пускается на хитрость—проситъ нъжно и умоляюще:

- Няня, мив супу совсвив-совсвив немнозечко! Такъ чуть-чуть!
- У Авдотьи на лицъ легкое движеніе—сухаясухая и ядовитая гримаса:
- Не учи. Безъ тебя знаю, сколько надо. Влей тебъ и побольше—очистишь.

Разлиты щи. Принимаются катарачные ъсть.

Является литераторъ. Его тарелка около Авдотьи и, съ самаго начала объда является для нее наиболъе ненавистнымъ предметомъ.

Иногда помолчить. Иногда и не вытерпить:

— Это што такое? Какое распущение. Жди его. Литераторъ нервенъ, угрюмъ. Не ходилъ бы онъ на такие объды и совсъмъ, если бы у него было на что питаться помимо больничнаго содержания.

Онъ садится съ мыслью не взвинчивать себя: въдь, все равно ничего не измънишь. Но невольно видить и замъчаеть все то, что видять и замъчають всъ.

Вотъ миска съ мясомъ: на десять человъкъ. Авдотья выпожила только половину, а остальное — сама покушаетъ сколько можетъ, а остатокъ пойдетъ замужней дочери. Всъ видятъ, какъ эта

173

дочь является къ маменькъ и уходить нагруженная узломъ. Тутъ мясо отнятое у больныхъ за объдами-отъ каждой порціи по кусочку; тутъ цыня порцін-это оть тыхь, кому дылалась операція. Въ этотъ день присвоить порцію и самъ Богъ велълъ-всв няньки такъ дълаютъ: больному всть не полагается. Но Авдотья находить, что оперированному не надо всть мяса и на другой и на третій день. Если больной покладистый, дълаетъ видъ, что въритъ ей, что мясо еще не время всть, она обхаживаеть его на порціи ласково: "Для твоей же пользы говорю. По мев хоть вшь, да тебв же, ввдь, худо-то будеть: "Но если попадется изъ такихъ, который желаетъ кушать свою порцію мяса не только на третій, но и на второй день-много злобы выльется на голову такого смъльчака.

Въ пользу дочери же Авдотья ловить у оперированныхъ и порціи ситнаго.

Литераторъ смотритъ на миску съ мясомъ. Авдотья вдругь спохватывается: прячеть миску въ шкафъ для бълья, который стоить туть же въ столовой. Кто бы другой посмотрълъ-она бы и глазомъ не повела; а этого боится: пожалуй, и донесеть. Эта боязнь заставляеть ее и мяса ему больше дать, и щей и каши-старается умилостивить точно такъ же, какъ ее Егорушка.

Но, должно быть, литераторъ очень ужъ неблагодарный человъкъ: всъхъ этихъ преимуществъ онъ точно не замъчаетъ, а за ней слъдитъ.

Не можеть она за объдомъ равнодушно выносить его взглядовъ.

Съ появленіемъ литератора катарачные чувствують себя немного пободрже; знають, что она при немъ помягче, а если зарвется, онъ осадитъ. Литератору жаль этихъ мучениковъ: пришиблены до крайности. Начинаетъ шутить съ Дениской, Санькой, Егорушкой. Натравить ихъ другъ-на друга, вклеитъ въ это тріо и Куранова. Бранится молодежь довольно энергично, зло. Егорушка великольпень: пышеть такимъ гнъвомъ, что трудно удержаться отъ смёха. То у него кто-то хлъбъ стащилъ, то въ тарелку корку хлъба бросили. Визжить на всю столовую:

— Ла въдь, -- это-зе плямое безоблазіе!

Это уже онъ выудиль изъ лексикона литератора. Ругается молодежь, но глаза говорять иное: эти тяжелыя минуты закрёпляють ихъ дружбу.

Благодарно улыбаются старцы: спасибо Михаилу! Всъ, включительно до маленькаго бутуза, понимають, что этоть шумъ устраивается съ цълью: чтобы не давило молчаніе, не такъ больно ръзала Авдотья.

Она качаетъ головой:

- Это што такое? Какъ въ кабакъ. А если старшій врачь навернется, - кто будеть въ от-BBTB?

Литераторъ наматываетъ ей на усъ:

- За это отевчать не придется, а за что-нибудь другое, когда-нибудь и попросять къ отвъту.

Позеленъетъ няня, но промолчитъ: она выше всякихъ подозръній!

Лукерья и Анна столбами у своихъ столовъ не торчатъ: въ свободную минуту присаживаются къ больнымъ.

Авдотья никогда себя до этого не допуска-

Литераторъ думаетъ, что не въ этомъ-ли разгадка того, что она упорно поитъ своихъ больныхъ чаемъ не въ столовой, а въ палатъ. Тамъ у ней отдъльный столъ, здъсь она будетъ вынуждена състь на одну скамью съ больными: стоя пить чай не совсъмъ удобно, да и тянется онъ много больше объда.

Думаеть литераторъ и пытаетъ:

— Вы, няня, присъли-бы. Въ ногахъ, говорятъ, правды нътъ. Вонъ Лукерья и Анна куда моложе васъ—а зря не утруждаютъ себя. Чего вы стоите, когда къ этому нътъ надобности.

Авдетья молчить. Только лицо чуть дрогнеть сухой и ядовитой гримасой, да жадно блуждають глаза, кого бы ей осадить? Поводовь у ней къ этому не мало.

Кто раньше съёлъ тарелку щей и, потянулся было за кашей — дерзаетъ на это только молодежь, осмълъвшая при литераторъ, — нельзя Авдотъъ обойтись безъ внушеній:

— Поторопился. Какъ на пожаръ. Что, очереди не знаешь? Жди! Видно, ъсть то мужичекъ, а работать то мальчикъ. Старики не забываются: съвсть старець щи и ждеть, когда наступить очередь каши.

Авдотья и этого не проглядитъ:

— Хорошъ старичокъ: кушать-то молодого угонитъ. Это што такое?

Качаетъ головой съ видомъ наивысшаго удив-

И это качаніе головы и непередаваемо-злая иронія въ тонъ-убійственно дъйствуєть на самую кръпкую натуру.

Какая-то чудовищно-злая власть, которая способна принизить человъка до того, что ему стыдно за то, что онъ долженъ ъсть.

Литераторъ иногда промолчить, иногда теряетъ самообладаніе. Голосъ напряженъ, звенить:

— Вы не очень-то, милостивая государыня! Сколько разь я вамъ говориль—и опять говорю: я буду жаловаться врачу. Всё мы люди, а не безплотные ангелы. Всё должны ёсть. И не вамъ упрекать людей: ёдите вы больше, чёмъ больные. Вдите за счеть больныхъ. Стыдитесь!

У Авдотьи—красныя пятна. И злобно—недоумъвающіе глаза:

— А я тебъ тоже сколько разъ говорила: я тебя не трогаю,—не трогай и ты меня. Чего тебъ отъ меня надо? Да и что я такое сдълала? Слова сказать нельзя. Какіе анералы, подумаешь.

Помолчить—и уже съ видомъ мученицы и съ крестнымъ знаменіемъ.

- Вотъ передъ Богомъ говорю: тыщи боль-

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

ныхъ видала, а такъ ни одинъ не обижалъ, не-измывался.

Объдъ отравленъ окончательно.

Вновь всв подавлены, растеряны.

Авдотья чувствуеть себя нобъдительницей и добиваеть:

— Жуютъ... Это што такое? Ужъ этотъ не человъкъ, не работникъ, который такъ ъстъ. Долго я буду дожидаться?

Молодежь спешить. Старцы низко нагибаются надъ тарелками. Иной слепець изъ боязни не налить на столь—вымочить не только усы и бороду, но вымараеть въ щахъ и повязку надъглазомъ.

Къ усамъ и бородѣ Авлотья равнодушна; качаетъ лишь головой и ядовито улыбается, но повязку—не стерпитъ:

— Это што такое? Хуже свиньи. Бсть, а повязка въ тарелкв.

Молчитъ литераторъ. Виновникъ не помышляетъ объ оправданіяхъ, что онъ не видитъ— тономъ забитаго, запуганнаго человъка умоляюще проситъ:

- Нянюшка, прости! И самъ не знаю, какъ вышло. Поторопился, вотъ и бъда.
- Поторопился? Что же у тебя рожа-то изъ дубовой коры? Не чувствуешь, что обливаешься? За щами вторая пытка: каша—размазня.

За 15 лътъ пребыванія на мъстъ няни—Авдотья не научилась сдълать самой простой перевязки;

когда больному прикажутъ измърить температуру, она кого нибудь изъ нянекъ или изъ больныхъ спрашиваетъ; "Сколько?"

Тайна термометра для нее непостижима.

За то въ томъ, какъ надълить больныхъ кашей безъ масла, въ этомъ Авдотью превзойти трудно.

Смотрять съ завистью на посуду съ кашей Дениска, Санька, Курановъ—смотрять и облизываются.

Вкусно пахнетъ масломъ. На всъхъ его хватитъ, чтобы сдобрить размазню, еслибы не Адотья: все масло сгонитъ къ стънкамъ посуды, окружитъ его вокругъ размазни кольцомъ, чтобы не расплывалась туда, куда ему плыть не слъдуетъ.

Перемѣшавъ такимъ образомъ изъ середины кастрюли она начинаетъ надѣлять: быстро и грубо, шлепается на тарелки размазня. Нѣтъ въ это время у "старшей няни" того медленнаго, не спѣшащаго величія, съ какимъ разливаются щи. Щи никуда не стекутъ, предательское масло, какъ разъ подведетъ!

Гонитъ изо всёхъ силъ молодежь:

- Ну, давай тарелки! Чего спите?

Молодежь подаетъ. Покорно. Обезкураженная наглостью.

Литераторъ смотритъ съ ненавистью на Авдотью и съ сожалъніемъ на больныхъ.

Они жують размазню съ отвращеніемъ: безъ

масла, она горчить. Они не прочь бы отказаться отъ такой каши и попросить еще щей.

Пользуясь минутой, когда Авдотья съ довольнымъ видомъ тащитъ прятать въ шкафъ посуду съ кашей—они шепчутся:

- Какъ умъетъ дълать: масломъ даже и не пахнетъ.
- А щей то сколько осталось? Съёль бы лучше щець, чёмъ это.

Литераторъ заглядываетъ въ посуду со щами: иногда не розлито и половины.

И предлагаеть:

— Чего же вы молчите? Щей дала вамъ по двъ ложки, размазни по ложкъ. Масло коть сама сожреть, а щи то, въдь, въ помойное ведро пойдутъ. Хотите, я сейчасъ приведу старшаго врача?

Всѣ молчатъ. Развѣ только иногда какой нибудь старецъ скажетъ:

— Богъ съ ней. Богу отвътитъ. А отъ врача шуму много будетъ, а пользы—какъ бы еще куже не было. Богъ съ ней!

Литераторъ уходить въ палату. Авдотья подходить къ столу и косится на тарелку литератора:

— Баринъ. Размазни не можетъ кушать. Сталобыть, еще не голоденъ. А какъ же "мы-то" вдимъ? Больному что: онъ лежитъ, ничего не дълаетъ, ему изъ дому все тащутъ. А мы работаемъ. Намъ никто ничего не принесетъ. До объда то такъ натопаешься, что и этой размазнъ рада!

Этимъ "мы" Авдотья добиваеть людей окончательно.

Всѣ дѣлаютъ видъ, что Авдотья въ недостаткѣ пищи не причемъ.

Обвиняють экономку и эконома:

— Въ карманъ себъ тянутъ.

И вспоминають врача, который уже умерь: воть быль человъкъ! Въ недълю два-три раза обязательно приходилъ пробовать пищу. Чуть чего нехватаеть, или что плохо—сейчасъ экономку къ отвъту. Тогда всего было много: и говядины, и щей, и каши—маслянъй не надо!

Больные припоминаютъ врача, которому няня, когда ръчь идетъ о барынъ, осъняя себя крестнымъ знаменіемъ, желаетъ "Царствія Небеснаго", какъ хорошему человъку.

Но туть о барынъ ръчь молчить, а посему Авдотьи ядовитая улыбка и перемъна мнънія:

— Это што такое? Тоже... нашли человъка! Мнъ лучше его знать, чъмъ вамъ. Не въ свое дъло онъ лъзъ, вотъ что. Его дъло палата съ больными, а не кухня. А онъ вездъ свой носъ совалъ.

Приподнимается у Авдотьи рука, складывается въ крестное знаменіе, но не для благого пожеланія:

— Прости меня Господи! Крутъ былъ покойникъ, не тъмъ будь помянутъ. Обижалъ сильно!

Разговоры прерываются. Однимолча, черезъ силу, довдають кашу. Не довшь— Авдотья не упустить случая накинуться:

- Это што такое? То жалуются: все имъ мало.

А сами не сожрутъ и того, что дали. Глаза у васъ жадные!

Другіе довли и ждуть, когда можно будеть выйти изъ-за стола.

Наконецъ, конченъ объдъ. Идутъ катарачные въ свою палату. Идутъ униженные, оскорбленные до той глубины, гдъ нътъ ни гнъва, ни злобы, а есть только безконечный стыдъ и отвращеніе. Идутъ и говорятъ:

- Если бы деньги въ карманв...
- Мало что... Не только бы говядину, да ситный—бери все, что полагается больному, только не ръжь, не измывайся, не аспидничай.

Плохо бъднякамъ.

Авдотья неистово гремить посудой и громить "свиней": и налили, и накрошили, и жадны—куска чернаго хлъба не оставять!

Въ "черномъ хлъбъ" всъ няньки заинтересованы: собираютъ куски и продаютъ. Авдотья при своемъ умъньи "рвать кусокъ изо рта" пользуется, конечно, отъ этой статьи больше всъхъ.

Попутно старшая няня отпускаеть словечки и по адресу младшихъ нянь—Лукерьи и Анны: какое распущеніе—у нихъ еще объдъ не конченъ!

Няни точно не слышатъ. Зато больные невольно посматриваютъ на Авдотью и шепчутся:

- Вотъ баба...—Не дай Богъ!
- Какъ ужъ они ее терпятъ? Чего только не переносять?

 Не дай Богъ такую няню. Хуже лихого татарина.

Литераторъ послѣ обѣда бродитъ по всѣмъ угламъ угрюмый, подавленный: мѣста себѣ нигдѣ не найдетъ. Въ средней палатѣ стариковъ нѣтъ, юной молодежи тоже почти не бываетъ— большей частью люди лѣтъ подъ 40.

Туть послъ объда любять соснуть. Иные просто поваляться. На катарачныхъ смотрять съ пріятнымъ сознаніемъ:

 У насъ спокойнъй. Покой намъ наша нянька даетъ.

Въ церковной палатъ Лукерья укладываетъ своихъ молоденькихъ "баюшки-баю".

И халатъ скинетъ, и подушку поправитъ, и подъ одъяло уложитъ.

Молоденькіе отъ нее прямо въ экстазъ.

Свъта Божьяго старые хрычи не видять, а признанія сыплять такія, какими, въроятно, никогда не дарили своихъ избранницъ въ молодости:

— Лушенька, красавица! Ангелъ ты нашъ! Да до гробовой доски не забуду!

Лукерья отшучивается:

— Спите. Нечего стонать-то! Спите, а я вамъ пъсенку на сонъ спою.

Молоденькіе, правда, уснуть; имъ это надо, но надо же дать нянюшкь, кромь словь, что нибудь и посущественные. Тоть яблочекь, другой апель-

синчикъ, третій конфектъ. И не взять нельзя: самъ не ълъ-ей берегь!

Литераторъ иногда попугаетъ молоденькихъ:

— Говорять, что старшій врачь нянекь хочеть перем'єстить: Лукерью къ намъ, а Авдотью въ вашу палату.

Старцы пугаются.

— Упаси Богъ!

182

И не успокоятся до тъхъ поръ, пока Луша не убъдить, что это шутки.

Тогда они сердятся: стары они, чтобы надъними шутить.

Идетъ литераторъ въ коридоръ. Куритъ тамъ до одурвнія.

Являются Дениска, Санька, Курановъ и просятьего:

Пойдемъ. Виноградовъ въ шашки будетъ играть.

Мочи нътъ отъ стариковъ: охаютъ, да вздыхаютъ.

Идетъ литераторъ въ свою палату и садится съ пожилымъ фабричнымъ рабочимъ—Виноградовымъ за шашки.

Садится съ условіемъ: не бояться Авдотьи. Шашки развлеченіе—развлеченіе для всёхъ. Одни слушають молча, другіе подають голоса:

— Что, Виноградовъ, забиваетъ онъ тебя?

Виноградовъ играетъ недурно, гордится тъмъ что на фабрикъ онъ первый игрокъ, но литератора осилить не можетъ. А литераторъ еще поджигаетъ: — Ну, что, другъ: куда пойдешь, кому скажешь? Положеніе такое: подумаешь.

Виноградовъ входитъ въ азартъ.

— Пойду. А куда—тебя не спрошусь. Ты не думай... ты, чай, полагаешь, что запрешь?

— Ужъ это какъ пить дать. За шашкой-то, пожалуй, и не погонюсь, а дамку припереть постараюсь.

"Съ дамками" у Виноградова случался грѣхъ, но онъ въ немъ чистосердечно не въ силахъ покаяться—приходитъ въ ярость.

— Дамку?! Погодишь. Не на такого напаль. Ты шашку то хоть запри, а съ дамкой-то подожди, пока у тебя будуть внуки.

— Да въдь, запиралъ? Чего отказываешься? Виноградовъ фыркаетъ съ величайшимъ презръніемъ:

— Запиралъ? Нарошно я тебъ поддавался, а ты думаешь и въ самомъ дълъ. Очень ужъ ты уменъ!

Около играющихъ уже кольцо. Свои собрались всѣ, кромѣ слѣпыхъ, половина средней палаты явилась.

Смъхъ. Сужденія о ходахъ. Люди отрываются отъ своихъ нерадостныхъ думъ. Но не надолго. Авдотья не зъваетъ. Едва въ палату вошла и уже шипитъ:

— Мети, убирай, заботься о чистотъ, а тутъ не только свои, чужіе ходять поль возить.

Больные изъ средней палаты хотя и оробъли,

но жаль имъ оторваться отъ игры: стоятъ, точно не слышали.

— Вы, что же желаете, чтобы я старшаго врача привела?—спрашиваеть Авдотья.

При имени старшаго врача "чужіе" уходять въ свою палату. Виноградовъ не только забываетъ данное объщаніе не бояться Авдотьи, но утрачиваетъ весь азарть и лжетъ:

— Довольно. Глаза что-то устали.

Всъ въ катарачной на своихъкойкахъ. Авдотья сидить на своей,—ушла бы, да боится, какъ бы не собрались опять.

Вся она—усталая, страшная злобная одурь. Эта одурь обрекаеть ее на одиночество.

Лукерья и Анна сидять иногда въ столовой. О чемъ онъ тамъ болтають? Можетъ быть, сладко силетничаютъ? Ядовитъе Авдотьи никто не сумъетъ этого сдълать. И пошла бы она къ нимъ, если бы онъ ее не чуждались, а она на нихъ не такъ злобилась: на племянницу за то, что она не хочетъ плясать подъ ея дудку, а на Лукерью—непереносимо для сознанія старшей няни, что явилась какая то бабенка, живетъ безъ году недълю, а дары деньгами и прочимъ получаетъ столько, сколько старшей нянъ и не снится.

Сидить злая баба и чаще всего взглядываеть на литератора. Онъ больше всёхъ ей на дорогъ. До него была для развлеченія больныхъ форменная шашечница: съ ящикомъ, съ точеными костяшками,—пожертвовалъ одинъ больной. Выпи-

сался этотъ добрый человъкъ-и шашечница ау!

Больные поскучали-поскучали да и рѣшились: сдѣлали себѣ изъ бумаги. Авдотья нашлась: на глазахъ у всѣхъ ее въ клочки. Послѣ этого на шашечницу никто уже не отваживался. Явился литераторъ—появилась шашечница—убогая, жалкая, намазанная чернилами по сѣрой бумагѣ, съ шашками изъ грязнаго картона:

Смотрить баба на литератора: не будь бы его подошла бы она и показала бы, какъ слѣдуетъ уничтожать такія доморощенныя издѣлія!

Тоскливо вадыхають старики. Соснули бы они, да что-то мъщаеть. Одинъ лътъ подъ 70, страдаеть въ это время мучительнъе всъхъ.

У него безусое и безбородое птичье лицо, тонкая гусиная шея, застывшіе въ какой-то напряженной остротъ глаза: кажется, что онъ долженъ видъть необыкновенно зорко, но онъ ничего не видитъ.

Слезы медленно катятся у него по впалымъ щекамъ и говоритъ онъ жутко, ни къ кому не обращаясь:

— Хоть бы немножко мив видеть. Ужъ не до работы, а такъ бы—чуть-чуть различать отъ окошка къ окошку. Жилъ и пословицу помниль: отъ сумы, да отъ тюрьмы не отрекайся. Вотъ только объ одномъ, что съ сумой-то придется ходить съ поводыремъ, объ этомъ не думалъ-не гадалъ. Господи, барыня: прозрвй ты меня коть чуть-чуть!

Всв молчатъ. Всв тяжко подавлены: не одному слвпота угрожаетъ и сума съ поводыремъ мерещится.

Авдотья смотрить на этого старика и что-то врод'в дикой, сатанинской радости бродить по ея лицу.

А литераторъ смотрить на нее и недоумъваеть: что она за человъкъ? Какъ такой чудовищный бичъ можетъ находиться при такой обстановкъ?

Припоминается ему барыня: борьба этого свътлаго сознанія съ этой неукротимой силой злобы. Чего тутъ нътъ? Больному дълаютъ мучительные уколы, чтобы онъ потълъ — Авдотья "забываетъ" дать ему на ночь бълье на смъну. Человъку сдълаютъ операцію и внушатъ, что ему нельзя вставать, онъ долженъ лежать — онъ будетъ вставать и ходить въ уборную: старшая няня не выноситъ около коекъ своихъ больныхъ горшковъ. Потомъ ее заставили ставить... но горшки стояли безъ употребленія: Авдотья знаетъ, какъ и что сказать, послъ чего больной пользоваться горшкомъ не пожелаетъ.

Въ иныхъ случаяхъ она считала себя компетентнъе барыни. Если больному ръшено удалить глазъ, за нъсколько дней до операціи она не будетъ пускать назначенныхъ капель:

— Къ чему же капли-то тратить, когда его вынуть? А еще докторица!

Соображаетъ литераторъ, что этого онъ вдоволь насмотрълся за двъза три недъли, но сколько

же знаеть подвиговъ Авдотьи барыня, никогда не забывающая спрашивать больныхъ, —исполнено ли няней то, что нужно—и все-таки Авдотья на своемъ мъстъ!

Въ закулисной жизни больницы кто то сильнъе барыни за Авдотью.

Молва нянекъ гласить, что за старшую няню старшій врачь:

— Любить ее за языкъ!

Смотритъ литераторъ и недоумъваетъ: какъ старшій врачъ, которому, въроятно, барыня уже не разъ приносила жалобы, можетъ держать такую прислугу?

Тоскливо вздыхають старики и просять:

— Егорушка, сведи-ка, милый, за нуждой.

Тутъ нестолько нужды, сколько желанія отдохнуть отъ бдительнаго ока няни въ корридоръ.

Водить Егорушка стариковъ. Не дремлеть Авдотья: то по полу шаркають, то на ходу салфетку со стола стронули.

Инымъ больнымъ приходится прибъгать къ услугамъ няни. Долго жмутся, оттягивають, никогда не выполняютъ того числа, которое приказано барыней, но, въ концъ-концовъ мысль, что болъзнь-то не шутка, что если такъ вести леченіе, значитъ не вылечиться, понуждаетъ больныхъ къ робкой просьбъ:

— Няня, капелекъ бы мнв въ глазъ пустить? Авдотья пускаетъ. Ръдко попадетъ въ нужное мъсто—въ глазъ; пуститъ не капли, а грубо броситъ струю капель въ носъ, въ бровь, зальетъ всю щеку—и иди.

Не смъй говорить, что въ глазъ-то и не попало; она знаеть, какъ пускать и куда пускать: старшую няню учить нечего!

Идетъ больной, утирается—и возмущенъ и обиженъ; если изъ новенькихъ, будетъ больнымъ жаловаться:

— Пустила? Хуже, чвмъ плюнула!

Литераторъ смотритъ на такое "пусканіе" и уже зло улыбается. Зло на себя, на Авдотью, на всёхъ больныхъ. Ему назначены капли 15 разъ въ день, онъ не выполняетъ иногда и половины.

Къ Авдотъв не обращается. Ищетъ Лукерью, Анну—нътъ ихъ, значитъ, безъ капель. И барынъ объ этомъ не говорить: все равно лучше не будетъ, такъ не стоитъ поднимать канители. Дениска на своей койкъ изнываетъ.

При работъ въ винномъ складъ онъ какъ то неосторожно сбивалъ крышку съ ящика—гвоздь отлетълъ ему въ глазъ. Прежде Дениску барыня утъшала, что глазъ, можетъ быть, и, уцълъетъ, потомъ пришла къ заключенію, что глазъ черезъ нъсколько времени придется удалить.

Когда въ палатъ нътъ Авдотьи — Дениска о своей неосторожности забываетъ, но при ней не можетъ себъ простить—лежитъ и нътъ-нътъ, да и скажетъ:

— Еще думаль: помягче надо сбивать. Какъ бы бъды не нажить. А самъ бью изо всъхъ силъ. Такъ оно и вышло. Эхъ, пустая моя голова!

Такія признанія Авдоть в пріятны— злорадно улыбается, а иногда и подтвердить:

— Это по всему видать.

Дениска смотритъ на литератора — отъ боли и недоумънія у него круглые глаза: какъ можетъ Авдотья такъ говорить, когда у него такое горе?

Литераторъ улыбается и, преднамъренно спокойно, точно Авдотьи здъсь нътъ, даетъ Денискъ совътъ:

— Не пучь глазъ, Маня. Сколько разъ я тебъ говорилъ: жалуйся барынъ.

Авдотья въ ярости. Кажется, что вотъ-вотъ она будетъ орать во всю силу легкихъ—такихъ огромныхъ усилій стоитъ ей самообладаніе.

Но она сдерживается, Должно быть, ненависть диктуеть ей, что крикъ не такъ страшенъ, какъ ея выработанный годами тихій сдавленный тонъ.

— Ты другихъ не учи, не смущай,—говоритъ она, избъгая взгляда литератора.—Жалуйся самъ, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Литераторъ молчитъ. Снимаетъ халатъ и ложится подъ одъяло, приглашая и другихъ:

— Старики, на покой!

Черезъ пять минуть всѣ катарачные точно спять.

Авдотья видить въ этомъ демонстрацію: одни лежать къ ней задомъ, другіе лицомъ, но лицъ не видно: съ головой закутались въ одъяло.

Никогда она не бываетъ ужаснъе, чъмъ въ это время. Когда она видитъ человъческія лица,—от-

191

раженіе на нихъ того, что ея слова заставляють такъ или иначе страдать людей — это приносить ей нъкоторое удовлетвореніе, облегченіе, иногда радость.

Она говорить. Изо всёхъ силъ старается—пусть кто нибудь сказалъ бы ей дерзость, вступилъ бы съ нею въ пререканія, но только не это молчаніе, не неподвижность спинъ и головъ.

Ничего новаго у Авдотьи. Все тѣ же грубыя выраженія, сведенія человѣка на степень ниже свиньи.

Болье наглыхь, болье жадныхь, чыть вы ем палать, ныть ни у одной няньки. Другимы нянькамы за уходь, за заботы и подарки "на чай", а ей:—хоть бы вы глаза кто плюнулы! Хитровкана хитровкы!

Одинъ только у ней за всю ея бытность быль:
— Это можно сказать: человъкъ. Не голь-нерекатная! Не вшивый паршивецъ: имфетъ пятиэтажный домъ въ Москвъ. На такого не пожалуешься. Нечего Бога гнъвить: ни одного дня безъ
подарка не обходился!

Ни что на неподвижность спинъ не дъйствуеть: ни хитровка-на хитровкъ, ни счастливецъ пятиэтажнаго дома!

Авдотья замолкаеть. Она устала. Красныя пятна были и исчезли — у ней ужасное лицо: лицо трупа.

И сидъть она уже въ своей палатъ не въ сидахъ: встаетъ и уходитъ, еле держится на ногахъ. Это значить, что она пошла, какъ говорить ея племянница "отлеживаться, въ помъщение для нянекъ.

Съ уходомъ Авдотъи неподвижныя тѣла начинаютъ мѣнять позы. Старики вдругъ обнаруживаютъ склонность подремать и просять молодежь не шумѣть.

Молодежь не прочь и сама соснуть — но не спится ни ей, ни старикамъ.

Усталые, тоскливые вздохи падають въ тишину и ръдкія фразы, значеніе которыхъ понятно только этимъ людямъ въ этой палатъ.

- Сейчасъ бъда, а что будеть, когда Миханиа выпишется?
  - Что говорить: съ лихвой наверстаетъ.
- Господи, и такъ день за годъ, а если тебя на каждомъ шагу шпыняють, никакихъ ужъ силь нътъ.

Слёпой старецъ съ птичьимъ лицомъ и гусиной шеей убъжденно даетъ совътъ:

— Къ силамъ небеснымъ надо взывать. Она тебя злобой встъ, а ты проси: "Матерь Божія, умягчи ее сердце!" Върно, братцы, говорю. Такую, окромя, ничемъ не возьмешь. Души у ней нътъ. Умерла. Въ злобъ похоронила душу-то. За такихъ молятся и молитвой только отъ такихъ охранишься.

Всѣ молчатъ. Стары старики, а настолько смиренія и вѣры въ молитву не имѣютъ; отмахиваются руками. Молодежи жутко, но она храбрится.

— За такую въдьму-то, — говорить Курановъ и показываеть кулаки: — нарвись мнъ такая не здъсь, а на свободъ — я ее этой молитвой или выучиль бы, или на тоть свъть дорогу показаль.

Вновь тишина и томительное ожиданіе.

Старики опять пробують дремать, но черезъ каждые пять минутъ просыцаются:

— А чай еще не скоро?

Молодежь ходить смотръть на часы.

Никто уже не думаетъ ни о томъ, что сегодня было, что ждетъ завтра — всъ захвачены ожиданіемъ.

Сухой, колодный, до томительности скудный разнообразіемъ больничный укладъ жизни прежде давить человъка, потомъ одуряетъ: всъ ждутъ чая, всъмъ кажется, что послъ него что-то случится, отчего будетъ легче.

Три часа дня. Посльобъденный чай.

Авдотья проявляеть себя и здёсь: къ утреннему чаю подниметь своихъ больныхъ раньше другихъ палать; теперь у Лукерьи и Анны уже пьють — она заставить катарачныхъ подождать.

Полакомились бы катарачные чайкомъ, отвели бы душу всласть, если бы на мъсть Авдотьи была другая няня.

Но у нихъ—Авдотья. Едва она войдеть въ налату — всв чувствують, что это будеть не чай, а все та же тоскливо — напряженная мука, минуты остраго униженія, что были за утреннимъ чаемъ за объдомъ, будуть за ужиномъ.

Авдотья изъ нормы не выходить: двѣ кружки на человъка. Развъ только иногда литераторъ, чтобы показать дорогу другимъ, потребуетъ третью. Двѣ ему принесетъ Дениска, а за третьей идетъ самъ: молча поставитъ кружку на столъ и ждетъ. Иногда Авдотья молча нальетъ, иногда вынудитъ его сказать:

- Что же вы не понимаете, чего мнъ надо? Ядовито осклабится няня:
- Понимаю. А гдв воды возьму?
- На кухнъ. Мало чайника—идите за другимъ. Чай пьемъ свой, воды для больныхъ больница не пожадъеть.

Она ему нальеть. Другіе рискнуть на третью чашку не осмълятся, но Авдотья очевидно боится: а вдругь?

И во избъжаніе такой дерзости начинаеть вну-

— Поди-ка раскатись! Мнѣ воды не жалко, да на кухнѣ то ее нѣтъ. Тамъ считаютъ свое: лишняго полѣна не сожгутъ. Всѣ думаютъ, что это отъ няньки. Никто не знаетъ нашей жизни. Нянькѣ хуже больного: стакана кипятку не дадутъ.

Отпить чай. Хотя сама Авдотья еще не отпила. Идуть катарачные изъ палаты въ коридоръ, видять, что въ столовой у Лукерьи и Анны чай еще далеко не конченъ.

Тутъ нянькамъ вода на кухнѣ не возбраняется: мало чайника, сходятъ за другимъ. Тутъ любители чаепитія пьютъ по-русски: до красноты и испарины.

Завидуютъ катарачные больнымъ Лукерьи и Анны: кажется имъ, что у такихъ нянекъ людямъ, какъ у Христа за пазухой.

Дениска пътушится больше всъхъ:

— Никакъ нельзя: буду жаловаться барынв. Послв обвда мнв двухъ кружекь мало. Что жъ я сырую воду долженъ пить? Теперь холера: тутъ еще здохнешь.

Санька ему не въритъ:

— Давно собираешься. Про кашу тоже звонишь...

Дениска за одно объщаеть сказать и про кашу. Ежедневно онъ послъ объда высматриваеть, какъ объдають няньки и долго потомъ облизывается:

— Мяса у нихъ— не повсть. Каша въ маслъ плаваетъ: бери ложку и хлебай! Большая обида: намъ все это полагается, а они за насъ жрутъ. Непремънно барынъ скажу!

Въ корридоръ, куда сходятся курить и душу отвесть больные изъ шести налатъ, катарачные ропщутъ, дымятъ и отплевываются больше всъхъ.

Единственное мъсто, гдъ громко высказывается вся горечь, всъ непорядки больницы.

Литераторъ бродить съ безучастнымъ видомъ. Лъзуть къ нему—отмахивается рукой:

— Не вижу толку въ этихъ разговорахъ. Кому вы жалуетесь—ствнамъ?

Въ коридоръ холодно. Потолкутся—потолкутся и невольно тянутся по своимъ палатамъ.

Чай отпить въ три. Ужинъ будеть въ шесть эти три часа даже наиболъе терпъливымъ людямъ кажутся въчностью.

Литераторъ скучаеть отчаянно: холодно-злая гримаса тоскливой боли не сходить съ его лица.

Сыграль бы онъ съ Виноградовымь въ шашки, но уже вечеръеть, —если играть—глаза отъ напряженія начинають безпокоить.

Молодежь жмется къ нему: авось онъ развеселитъ.

Старики и тв просять:

- Михайла, повеселилъ бы насъ.
- Чъмъ?, угрюмо отзывается литераторъ.
- Да ужъ, если ты захочешь, найдешь ч**ъмъ.** Видать тебя: ты человъкъ бывалый.

Для больныхъ онъ загадка. Кто онъ, чёмъ занимается—частенько пытаются узнать,—онъ отдёлывается неопредёленностью:

 Человъкъ, какъ и всъ. А занимался—ходилъ и по письменной части, и горбомъ работалъ, а забольль—оть моихъ трудовъ ничего: нищій, какъ и всь трудящіеся вътакихъ случахъ. Воть и все

Стариковъ литераторъ веселить въ это время не въ силахъ; посердить бы, пожалуй, но отъ этого себя сдерживаетъ.

Зато молодежи достанется.

Прежде примется за Саньку. Хорошенькая, розовенькая мордочка въ рамкъ кудряшекъ, какъ у молодого барашка. И глупъ, какъ барашекъ.

Какъ почтительный сынъ, пишеть отцу еженедвльно нъжныя письма—длинныя—длинныя, а о чемъ—неизвъстно.

Литераторъ однажды подсмотрълъ въ компаніи съ Дениской. Писалъ Санька письмо послѣ операціи. Имъ удалось прочесть только заключительныя строки: "Итакъ, глазъ мнѣ дорогой, милый папа, мнѣ вынули, того и тебѣ желаю!".

· Каждый день это злосчастное заключение приносить Санькъ много непріятныхъ минуть: то Дениска острить, то Курановъ и даже Егорушка.

Оть нихъ отгрызется. Но когда литераторъ это заключение зло варьируетъ ежедневно на новые лады и возбуждаетъ общій хохоть—Санька свиръпъеть. Сыплеть грубую, глупую, циничную брань не только на литератора и молодежь, но и на стариковъ.

Послѣ Саньки очередь за всей группой молодежи человѣкъ изъ восьми: перессоритъ ихъ и, когда у нихъ возгорится грызня, самъ въ сторонкѣ: наблюдаетъ и посмѣивается. Надовсть и это. Остается последній номерь: Егорушка. Самый интересный.

— Гдъ Егорушка?

Но Егорушку и искать не надо. Только этого и ждаль. Идеть къ литератору и самъ набивается:

— Сдълай мнъ массазикъ!

Ну, ложись на койку, — говоритъ литераторъ.

Егорушка не соглашается:

- Нътъ, ты полози.

Ежедневно литераторъ внушаетъ бутузу, что массажъ ему приказано дълать барыней, что это полезно для здоровья—Егорушка слушаетъ съ видомъ, что онъ въритъ, но въ глубинъ плутоватыхъ глазъ свътится лукавое: не обманешь!

"Массазикъ" для него очень выгоденъ. Хоть и самъ набивается на него, но въ послёднюю минуту потребуетъ за него то яблоко, то у кого нибудь очень понравившуюся ему коробку изъ подъконфектъ, то лубочную книжонку въ копёйку, съ литератора сдеретъ непремённо газету этого дня.

Когда потребованное имъ ему дають, —литераторъ опять проситъ:

— Ну, ложись же.

Егорушка стоить на своемъ:

 Нътъ, ты полози. Какъ на опелаціи: тамъ меня кладуть.

Кто нибудь изъ молодежи помогаеть литератору растянуть Егорушку на постени.

больничный день.

Онъ визжитъ. Визжитъ съ наслажденіемъ и сознаніемъ: и ему удовольствіе и другимъ.

Старики улыбаются:

- Ахъ, подлецъ! Ахъ, и плутъ!

Егорушка лежить внизь лицомь, одной рукой держить то, что наторговаль за массажь, другой придерживаеть спущенныя штанишки и поглядываеть, какь бы кто не подборался, кого окъ совсёмь не желаеть.

Литераторъ массируетъ ему спину, мягкія части. Егорушка въ восторгъ: сіяетъ, какъ масляный блинъ, блаженно визжитъ и проситъ:

— Гузно, гузно поголячей! Жилу у меня больно много. Всъ говорять: вонъ какое въ больницъ наълъ.

Литераторъ дълаетъ погорячей.

Егорушка моментами ужъ и морщится:

-- Позалуй, и довольно. Дюзе голячо становится.

Литераторь оставляеть, но въ этоть моменть Дениска или Санька изловчаются и дають Егорушкъ такого шлепка, что онъ коротко и пронзительно взвизгнеть и замретъ: духъ закватило!

Искреннее возмущение сыплется на виновника со всёхъ сторонъ.

Егорушка передохнулъ. Стоитъ на постели. Подвязываеть штанишки.

Теперь онъ уже въ состоянии себя защитить.

Глаза горять, лицо пылаеть — воплощенный гнъвъ! Смотрить на обидчика и, вдругь съ такой силой, экспрессіей—всв покатятся со смвху!—вы-

— Дулакъ! Ты не-умъесъ массазикъ дълать. Я балынъ сказу. Въдь, это-зе плямое безоблазіе! Сто

лазъ, дулакъ!

А минуты черезъ двъ-три, когда острота жгучей боли исчезаетъ, у Егорушки исчезаетъ и гнъвъ—онъ еще потираетъ злосчастное мъсто, но говоритъ уже тономъ философа:

- Ничего, гузно у меня здоловое.

Смотритъ на то, что онъ получилъ за массажъ:

— Поломитъ—поломитъ, да такое-зе и будетъ. А это вотъ залаботалъ.

Подумаеть съ минуту и потребуеть съ виновника вознаграждение за шлепокъ.

Тотъ изумленъ:

Да откуда ты знаешь? Да у меня и нътъ
 этого.

Егорушку не собъешь:

— Есть. Я видълъ. Меня не обманесъ! Не умъесъ массазикъ дълать—давай.

Бутузъ дальновиденъ. Знаетъ, что безъ шлепка Санька или Дениска не обойдутся, а поэтому выслёдитъ, что у нихъ въ столикахъ хранится, принесенное родными, или купленное въ этотъдень.

Требованіе Егорушки поддерживается всей палатой. И какъ любитель шлепковъ не отбаяривается, но его заставятъ платиться яблоками, селедкой, баранками, конфектами—тъмъ, что имъется въ наличности.

Получаетъ Егорушка съ любителя, идетъ къ своему столу, укладываетъ заработанное къ тому, что уже заработано. Чего у него нътъ: и книжки, и куча газетъ, куча коробокъ, даже дюжину оловянныхъ солдатъ гдъ-то и у кого то заработалъ! укладываетъ и обнаруживаетъ большой практическій умъ:

— Тепель массазикъ до завтла! Поплобуй-ка, удаль кто—ну, и давай! Мнъ надо. Моя делевня далеко. Ко мнъ лодные не ходятъ. Ну, я и залабатываю самъ.

Съ гордостью любуется лично пріобрътеннымъ имъ достояніемъ.

— Когда домой прівду—эва, што я пливезъ! Больше развлеченій нъть. Егорушка послъдній номеръ.

Около четырехъ, а то и въ пятомъ часу—появится изъ амбулаторіи барыня. На минуту, на двъ: снять калатъ.

Идеть медленно. Половина фигуры еще больше наклонена впередъ. Лицо блъдное, утомленное. Присущей ей величавой важности въ это время нъть въ ней и слъда; передъ больными другая женщина, — обаятельная усталостью своей: какъ тонкое обаяніе прекрасныхъ цвътовъ въ пору осенняго увяданія!

Ея появление точно лучъ солнца въ тьму.

Старики умиляются:

— Голубушка, устала!

Санька и Дениска мчатся узнавать отъ нянекъ:

сколько барыня приняла больных въ амбулаторіи? И всегда несутся съ цифрами: или около ста, иногда и болье.

Высчитываютъ старики, прибавляя къ амбулаторнымъ палатныхъ больныхъ, и умиляются:

— Вотъ эта работаетъ! Эта хлъбъ даромъ неъстъ!

Вскоръ является фельдшеръ. Кому капли пу-

стить, уколы сдълать.

На полчаса или немного болье—суета, оживленіе. Уйдеть фельдшерь— уныніе охватываеть катарачную и среднюю палату. Въ церковной омгильная тишина: молоденькіе живуть, когда ихътолько побезпокоять; очутятся по милости Лукерьи на своихъ койкахъ и быстро впадуть вънебытіе дряхлыхъ старцевъ. Горить у нихъ огонь или нъть—имъ все равно: спять, а если не спять—не увидять. Зато страдають оть отсутствія свъта остальныя двъ палаты.

Въ средней лампъ совсвиъ нътъ — освъщение падаетъ изъ столовой: слабое, робкое.

Въ катарачной—пугливо жмутся отъ вползающихъ въ окна темныхъ сумерекъ, тоскливо вздыхаютъ и неръшительно просятъ:

— Михайло, огонька бы. Его хоть и плохо видишь, а все же... что-то свътлъется, бьеть въ глаза: значить, моль, огонь.

Не пусти литераторъ огня, будутъ мучиться, но никто не осмълится до прихода Авдотьи повернуть включателя.

Скупо и уныло дають свъть двъ лампы, подъ густо-матовыми колпаками.

Уныло сидять и уныло двигаются фигуры въ желтыхъ, безобразно болтающихся халатахъ. Скорбью и жутью въетъ отъ этихъ фигуръ и лицъ: какой то полуфантастическій, угрюмый міръ, который, кажется, застыль въ одномъ желаніи,—если дать много свъта, блестящихъ веселыхъ огней—они оживятся и закружатся въ безумномъ и страшномъ вихръ веселья.

Въ столовой загремъли ложками, посудой.

— Ужинъ! — мчится въ свои палаты мслодежь. Старики прислушиваются и, точно не върятъ своимъ ушамъ.

- Никакъ уживъ?!

— Ужинъ!-подтверждаетъ молодежь.

Проснулись всё точно отъ тяжелато сна, засуетились и начали пододвигаться къ ужину съ лицами: послё ужина что-то случится, отчего будеть легче.

Въ ужинъ Авдотья даетъ жидкой пищи всвит не болве, чвит въ обвдъ Егорушкв: только-только покрыто дно тарелки.

Если это супъ—онъ къ ужину колодная, уже начинающая киснуть бурда.

На это, конечно, никто уже не жалуется. Литераторъ придетъ послъднимъ. Если очень голо-

денъ-съвсть и бурду; если нътъ-посмотрить и уйдеть.

Много разъ онъ уже Авдоть в говорилъ:

— Что вы на смъхъ наливаете? Да тутъ курица ногъ не замочить.

Потомъ замолчаль: усталь говорить.

Авдотья почувствовала: въ этомъ она побъдила! И начала разыгрывать комедіи.

Плеснетъ кому нибудь сверхъ положеннаго ею количества лишнюю ложку супу—такъ грубо, что разъ испытавшій ея милость, не захочетъ вторично: "На, облопайся!"—и внушаетъ:

— На. По мнъ коть имъ облейтесь! Да что я могу подълать, когда мнъ больше съ кухни не стпускають. Это все идеть отъ экономки!

Молчатъ больные.

Слышали и видъли они, какъ эта экономка явилась однажды къ столу Авдотьи:

— Чего ты людямъ дала? Тебъ чужого добра жалко. Сколько разъ я тебъ на кухнъ говорила: бери больше. Не на дътей берешь.

Молчать больные. Знають они, что Авдоть чужого добра не жалко, но если это добро повинно въ томъ, что оно вызываеть потребность ходить въ уборную, топтать у Авдотьи полъ — будь бы власть у злой бабы, заморила бы она всёхъ насмерть.

Сердобольная Лукерья иногда сжалится надъ

катарачными.

— Больные, у меня супъ остался. Кому налить?

Тянутся тарелки молодежи:

— Мив, няня. Мив!

Егорушка пищитъ:

— И мив, няня, немнозечко. И мив!

Старики до того запуганы: не осмёливаются. Авдоть это очень не по сердцу. Качаеть головой, глаза впились въ бёднаго Егорушку:

— Такой пащенокъ... другую тарелку! Не облопается, прости Господи.

Показала бы она и Лукерьв, какъ распускать ея катарачныхъ, какъ итти противъ нее — старшей няни, если бы... Лукерья помимо доброты, оказывается, имъетъ еще такой острый, ядовитый язычекъ, который способенъ заставить замолчать старшую няню: больше Лукерьи никто не знаетъ про подвиги Авдотьи!

Иногда Авдотья не выдержить: уйдеть. Значить больнымъ и каши вволю.

— Вшь-не хочу! Лучше людямъ дамъ, чъмъ въ ведро вывалить!—весело отпускаетъ Лукерья Обрадуются катарачные: при этой можно поговорить!

И поговорять: и пожалуются ей, и комплиментовъ уйму наговорять.

Конченъ ужинъ. Авдотья убираетъ свой столъ. Конечно, гремитъ неистово посудой и громитъ. И налили, свиньи, и накрошили, а жадны—куска

хлъба не оставять!

Послъ ужина сейчасъ же чай.

Больные настроены благодушно — даже у Ав-

У Анны и Лукерьи блаженствують во всю: пьють и животовъ своихъ не щадять.

Знають катарачные, что сверхь положенныхь двухь кружекъ Авдотья не полакомить ихъ третьей — меньше непріязни къ ней въ нихъ: и устали они отъ ея злобы, хочется забыть, отдохнуть, а потомъ — пройдеть ночь и наступить Завтра!

Это завтра собственнымъ именемъ они не называють, но оно у всёхъ на лицахъ, оно въ словахь, передающихъ понятія о другомъ: говорять о своихъ болёзняхъ, о домащнихъ дёлахъ, о событіяхъ пережитыхъ за день въ больницѣ, деликатно обходя Авдотью, — во всемъ этомъ одинъ голый ужасъ, одна скорбь, но люди не видятъ этого во всей обнаженности только потому, что существуетъ "завтра!".

Оно обманывало этихъ людей всю жизнь и, даже здъсь, въ больницъ, откуда нъкоторыя выйдуть съ тъмъ, что не будутъ видъть пути "отъ окошка къ окошку"—даже этимъ это завтра сулить какія то надежды, скрываеть отъ нихъ всю жуть грядущаго, несетъ Великое примиреніе!

Слъпецъ съ птичьимъ лицомъ, плачущій днемъ, которому сказано, что на возврать его зрънія нътъ надежды,—у него желтая вода,— смотритъ

остро-остро, точно видить то, чего не видять другіе, и, тепло. благодарно говорить:

— Ну, вотъ и день прожитъ. Слава Богу!

Даже разложившаяся отъ злобы душа Авдотьи жаждеть благодати "завтра". Она не косится на больныхь, безъ ехидства прислушивается къ разговорамъ больныхъ — на ея лицъ нъчто вродъ человъческой улыбки: какое то отдаленное-отдаленное напоминаніе, что и этому лицу природа дала даръ отражать въ улыбкъ сокровища души.

Не обрываетъ: не такъ прошелъ, ступилъ, сдвинулъ салфетку. Развъ иногда только съ мягкой укоризной покачаетъ головой.

Пожалуй и сама поговорить: безъ обычныхъ оскорбительныхъ колкостей, со снисходительнымъ уваженіемъ къ собесъднику.

Доходить даже до того: снесеть какому нибудь старцу кружку съ чаемъ.

Можеть быть, она не прочь и всёмъ дать чаю вволю, но ее, должно быть, останавливаеть соображеніе, что единичнымъ отступленіемъ отъ правила, нарушается правило: въ другой разъ, пожалуй, потребують и всё!

Чай тянется около часу.

Незлобивыя души—за вечерній чай и старики и молодежь благодарять:

— Спасибо, нянюшка!

Бываетъ это иногда и утромъ-тогда она промолчитъ, "очень, молъ, миъ нужны ваши благодарности!", теперь въ свою очередь пожелаетъ:

— На здоровье!

Послѣ чаю старики совершають путешествіе въ уборную, возвращаются, усердно молятся и ложатся спать.

Литераторъ съ улыбкой спрашиваетъ:

- Какъ, старики, себя чувствуете?

— Какъ? Прожитъ день и слава Богу, а завтра, что онъ Всевышній пошлеть, то и будеть.

Видитъ литераторъ, что въ ожиданіи милостей отъ Бога, старды забыли и простили все, что изжили въ жизни горькаго; многаго, конечно, изъ воспоминанья совсёмъ не вытравять, но легки имъ ихъ горести и бёды, ибо остроту ихъ они оставили въ молитвахъ и упованіяхъ.

Видить и страстно ему хочется имъть такую слъпую въру въ Бога, въ его Въчное завтра.

Свалить этоть чудовищный, кошмарный камень жизнь съ души и повърить: "Мнъ отомщеніе, и Азъ Воздамъ!"

Свалить, если не совсёмъ, такъ хоть на моментъ: въ немъ маленькій отдыхъ, маленькое облегченіе!

Но пройдетъ минута, другая и, нотка состраданія звучитъ у него въ головъ къ этимъ покорнымъ рабамъ завтра, когда онъ говоритъ:

— Спокойной ночи, старики. Будемъ уповать на завтра: можетъ быть, оно и явитъ намъ какое нибудь чудо.

- Извъстно, -- отвъчаетъ слъпой съ птичьимъ

лицомъ:—День плохо прожилъ, на другой надъйся: авось, получше! Иначе и жить нельзя: съ ума сойдешь.

Литераторъ угрюмо соглашается:

— Совершенно върно: сойдешь.

Передъ сномъ старцы чувствуютъ потребность напутствовать себя на ночь свътлымъ, милымъ: говорятъ о барынъ.

Послѣ Бога въ "вавтра" она вплетается вторымъ существомъ.

Перебирають о ней то, что уже каждымъ говорилось десятки разъ, но все еще не утратило своего обаянія.

Одинъ изъ старцевъ съ особенной любовью докладываетъ:

— Уголубливать она очень умѣетъ. Было это у меня на операціи. Проситъ она: "дѣдушка одну минутучку; только еще одну минутучку, милый дѣдушка, потерпи!". Терплю. А самъ думаю: много-же этихъ минуточекъ то. Больно не втерпежъ. Вотъ—вотъ закричишь, а она опять заговариваетъ. Такъ ни разу и не крикнулъ. Вѣкъ буду помнить, что по доброму-то если — рѣжъ человѣка на куски и стерпитъ. Ангелъ—барыня?

Другой мужичекъ признается:

 Нда, что и говорить: лучше иной матери родной! Такую не забудешь.

Молодежь жадно слушаеть и, въ свою очередь, торопится сообщить, чъмъ и когда барыня заявила себя съ хорошей стороны.

Егорушка тоже отдаетъ свою дань—нахмуритъ брови, надуетъ щеки, отчего его рожица необыкновенно солидна, и тонъ—противъ такого авторитета уже ничего не скажешь:

— О балынъ нечего толковать: холосая балыня! Сколо у меня каталакта наклеится—опять мнъ колобку конфеть. И всегда говолить: не кличи, а то конфеть не дамъ!

Потомъ помолчитъ. И должно быть, изъ Егорушки выйдетъ порядочный рыцарь — немного обиженно, онъ улыбается и заканчиваетъ:

— Я и безъ конфетъ не стану кличать. Да... Лазъ плосять: не кличи—ну и не кличи!

Я балыню люблю!

Одинъ за другимъ засыпаютъ старики.

Егорушка передъ сномъ любитъ понъжиться и насладиться своимъ житьемъ-бытьемъ въ больницъ—она его не тяготитъ.

Дома ему много хуже:

— Нътъ говядины, нътъ ситнаго, да и лемнемъ бъютъ.

Онъ не любить гадать о томъ, когда его выпитутъ, и не любитъ слушать, когда ему больные наговариваютъ, что его скоро вылечутъ и отправять домой.

Хмурить брови, уткнется въ полъ глазами и утъщается:

— Не выписутъ! У меня сколо опять каталакта наклеится.

Ему уже сдълано пять операцій, предстоить

последняя, а онъ убъжденъ, что впереди операцій много:

- У меня каталакта наклеивается на глаза казичю нецелю. Какъ-зе меня мозно выписывать?

А когда его настолько сильно разубъдять, что онъ начнетъ сомивваться въ безконечности "наклейки каталактовъ" — у него уже готовъ другой планъ:

- А я все таки домой не пойду! Сказетъ балыня: Еголуска, на выписку надо. А я: не пойду! Оставь меня балыня. Дома у меня плямое безоблазіе! Не мозетъ Еголуска зить дома. Лемнемъ быотъ и полицій нътъ.

Не напугають Егорушку и тъмъ, что ему тогда негдъ будетъ спать, -- койку отнимуть и отдадутъ другому больному, отнимуть и порціи-онь и туть находится:

- А я буду съ къмъ нибудь спать.
- Никто тебя не приметъ.
- Ну, подъ койкой буду спать. А полціи-тотъ немного дасть, длугой-воть я и сыть.

Лежить Егорушка наслаждаясь безпечальностью больничнаго житья-и его «завтра» настраиваеть на радужный ладь - върить, что его не выпишутъ и строитъ планы:

— Много всякаго добла у меня. Все массазикомъ залаботалъ. Когда блатъ изъ делевни пліъдетъ-отослю все добло съ нимъ. У меня еще будетъ.

Вотъ уже у него сладко смыкаются глаза-тутъ

онъ почему-то впадаетъ въ религіозный ражъ, смотрить благоговъйно въ потолокъ и невъдомо кому внушаеть:

- Мы ничего не знаемъ, а Богъ все знаетъ. Мы глёсники, больсіе глёсники — поэтому мы ничего не знаемъ. Не надо глъсить!

Уснулъ и Егорушка.

Молодежь сбилась въ столовой — играетъ въ дураки и въ свои козыри.

Азартъ невъроятный, чудовищный, возможный

только въ больницахъ и тюрьмахъ.

Карты замызганы до того, что ихъ страшно взять въ руки. Игроковъ это нисколько не смущаетъ: свиръпо муслять во рту пальцы и, все-таки приходять въ отчанніе: карта скользить, неотдирается отъ другой!

Изъ трекъ лампъ горитъ только одна. Когда горять всё три — на столовую освёщенія достаточно: весело, свътло, общирность и высота говорять о томъ, что это некогда бывшая большая зала, какого нибудь важнаго титулованнаго лица. Вмъсто когда то порхающихъ, изящныхъ женщинъ, выхоленныхъ мужчинъ теперь странныя и жуткія фигуры.

Полусвъть и полумракъ, какъ въ тъхъ темныхъ кельяхъ, часовняхъ, гдв едва теплится одна лампада.

Азарть — безъ шума. Льется непереставаемо одинъ только звукъ-быстрый шипящій шепоть.

Двигаются, дергаются и кривятся губы. Рфз-

кими движеніями подаются впередъ, откидываются назадъ, извиваются и кривляются тѣла. Лица, то утопаютъ въ тѣни, — съ жаднымъ, напряженно-неестественнымъ вниманіемъ стараются разглядѣть карты, —то отрываются отъ картъ и дикими гримасами живетъ лицо, отражающее радость, злобу, гнѣвъ, отчаянія и смѣхъ беззвучный.

Кончили игру: какая-то безобразно-чудовищная, желтьющая свалка фантастическихъ существъ, со свиръпыми жестами, грубыми толчками, съ прорывающими изъ шопота возгласами упоенія побъдой и отчаяніемъ пораженія.—Карты лежать на столь и 8 или 10 человъкъ тъсно, толкая въ пылу азарта другъ друга, сбились надъ ними и разбираютъ: почему проиграна игра, или почему выиграна.

Разбирають столько, сколько не шла сама игра. Кончили—начали другую.

Идетъ въ уборную какой нибудь слѣпецъ. Идетъ и сбился. Каждый день онъ изучаетъ, гдѣ и куда долженъ быть поворотъ, сколько шаговъ въ его палатѣ отъ его койки до выхода, потомъ въ столовой, потомъ въ коридорѣ до уборной.

Обширность столовой глумится надъ слъпыми больше всъхъ другихъ помъщеній: маленькое уклоненіе отъ изучаемаго пути—и человъкъ безпомощенъ.

То ходить отъ стола къ столу, то натыкается на ствны, упирается въ углы, а нужной двери нъть и нъть. Это самое жуткое, самое страшное, когда человъкъ плутаетъ съ отчаянно вытянутыми впередъ руками, какъ чего-то ищущее привидъніе.

Вотъ оно остановилось. Голова высоко поднята вверхъ, лицо—то скорбный, то суровый, то мятущійся ликъ, какъ на темныхъ старинныхъ иконахъ.

Игроки безучастны: не до этого! Иногда даже

Взмолится слѣпенькій, если слышить шопоть игроковъ:

— Братцы, проведите. Сбился: куда надо не пройдешь, и въ палату не воротишься. О, Господи! Тогда его проведутъ.

Является дежурная няня и гонить игроковъ по мъстамъ.

Идуть въ свои палаты, но взглянуть на койки и, въ тоскливомъ страхъ бъгуть въ коридоръ.

— Съ ума сойдешь лечь съ этихъ поръ, —говорить Дениска: —Днемъ все ничего. А тутъ, какъ съ девяти-десяти часовъ уложишься — не спится и чего только въ башку не лъзетъ. Безъ глазу — какое житье! Пріъзжай-ка въ деревню: самая послъдняя дъвка, —ты на нее раньше и смотръть то не хотъль, наплюетъ на тебя: кривой!

Хмурится Дениска. У Саньки въ единственномъ глазу слезы. У остальныхъ еще глаза цълы, но надъ каждымъ угроза лишиться одного, а пожалуй, и обоихъ.

Угрюмо молчать.

Пытаются опять играть въ карты. Но въ коридоръ холодно: азартъ стинетъ. Бросаютъ карты и... согръваются барыней!

Они дрожать, но говорять о ней долго. Все то же, что говорилось десятки и сотни разъ.

Лучше барыни не можеть быть человъка—только воть одно:

— Походка у ней некрасивая.

Такія милыя лица у этой темной молодежи изъ глухихъ деревень и фабрикъ; такъ страстно они желають, что бы у барыни не было этой некрасивой походки!

Магическая сила барыня: поговорять о ней и спокойнъе на душъ у молодежи, уже безъ страха идуть по своимъ мъстамъ.

Литераторъ въ своей палатъ сидитъ у окна. Денисъ, Санька, Курановъ вернувшись изъ коридора жмутся къ нему.

Смотрять на движеніе трамваевь, на безконечный передивь пъшеходовь по улиць, и вздыхають завистливо.

Потомъ у Дениски вырывается:

- Эхъ, хоть на минуточку бы тамъ побыть! Литераторъ устало улыбается:
- Завидно, Маня?
- Понятно. Люди гуляють, а ты туть кисни.
- Далеко, Маня, не такъ. Многіе изъ этихъ гуляющихъ съ завистью посматриваютъ на наши окна: мы въ теплъ, хоть и плохо, но насъ кормять,

а тамъ много голодныхъ и на почь угла нѣтъ. Иной такъ всю ночь и гуляетъ: лѣтомъ гдѣ нибудь ткнулся и спалъ бы, а теперь, Маня, зима! Попробуй-ка, въ такомъ положеніи погуляй, тогда кое что и узнаешь.

Для Дениски, Саньки, Куранова—литераторъ авторитеть. Завтра же они будуть кому-нибудь съ глубокомысленнымъ видомъ повторять то, что услышали отъ него сегодня, но теперь имъ жалко отръшиться отъ иллюзіи, что тамъ за окнами то же не у всъхъ веселье и счастье.

Они уходять къ другому окну.

Смотрять оттуда на улицу и изръдка тихо шушукаются. Часы бьють 11—они ръшають, что пора на покой. Идуть къ литератору.

— Пойдемъ спать.

Онъ отмахивается рукой. Помолчать.

— А какъ ты думаешь,—спрашиваетъ Дениска:
—Гдъ теперь барыня?

Санька высказывается:

— Навърно, не спитъ. Тоже, поди, гдъ нибудь гуляеть по такимъ улицамъ. Огня-то сколько: какъ дпемъ! При такомъ огнъ наша барыня—ухъ, какъ красива!

Литераторъ даетъ совътъ:

— А вы завтра барыню спросите: гуляеть-ли она по вечерамъ по такимъ улицамъ?

Мальчишки смъщливо мотаютъ головой: "то же, сказалъ!"—и идутъ къ своимъ койкамъ.

Въ палатахъ тишина. Только гулъ движенія

трамваевъ, ръзко звякающіе звонки, глухо врываются въ окна.

У литератора не лицо, а маска безсильнаго отчаянія: давняя печать усталости кръпко наложена—дай все, чего онъ хочетъ—не дрогнетъ оно счастьемъ; наступитъ моментъ послъдній гибели—не исказится оно страхомъ.

Его давить скука—давить до отупънія, до бъщенства.

Онъ чувствуетъ, что если ни очемъ не думать, съ нимъ можетъ случится плохое: дикій хохотъ внутри мучаетъ его тъмъ, что онъ недаетъ ему выхода.

Нужно въ этой тишинъ хохотать и говорить: претворять мысли въ слова и слушать, какъ онъ звучать въ тишинъ. Такъ много этихъ мыслей: рождались и рождаются, но не высказываются, а хранятся въ тайникахъ мозга.

Онъ думаетъ, что человъчество объято высшимъ родомъ безумія: одну сотую своего генія оно высказываеть, 99 уносить въ могилу.

И онъ унесетъ. Унесетъ изъ боязни, что тупоумные безумцы назовутъ его безумцемъ.

Чувствуеть литераторъ, что если ни о чемъ не думать, — отдаться только этому бурному, обаятельному желанію хохотать и претворять не высказанныя мысли въ слова, — съ нимъ случится плохое и, напряженіемъ всёхъ силъ старается перевести свою мысль на то, отчего онъ страдаетъ: на скуку.

Онъ припоминаетъ больничный день съ самаго утра и упорно, тупо твердитъ себъ, что и завтра и послъ завтра будетъ все тоже, —все тоже, что и сегодня и вчера.

Будуть маленькія, незамѣтныя перемѣны: кого нибудь выпишуть, на его мѣсто въ этотъ же день явится другой—такой же робкій, тусклый, человѣкъ безъ лица, какъ у того, который выписался.

Тамъ внъ больничныхъ стънъ—они не такъ похожи другъ—на друга, у иныхъ свое, ръзкое отъ другихъ лицъ—придутъ сюда, сбросятъ въ ванной вмъстъ съ своимъ платьемъ себя, надънутъ желтые, замызганные халаты, будутъ трепетать передъ наглой нянькой, подъ сухимъ и холоднымъ взглядомъ старшаго врача: всъ будутъ покорно жаждать исцъленія—ради этого всъ сразу подведутъ себя подъ общій ранжиръ безличныхъ больничныхъ лицъ.

Что же еще?

Будутъ пріемные дни. У ръдкаго мужичка изъкакой нибудь глухой и отдаленной деревни не найдется въ этомъ городъ землячка: придетъ кънему этотъ землячекъ.

Всёхъ навёстять родные, знакомые, а его не навёстить никто. Развё изрёдка въ недёлю—въ двё разъ зайдеть одна женщина, посидить пять-десять минуть, зёвнеть и исчезнеть. У него останется въ памяти ея лицо—скучающее, наси-

лующее себя на это посъщение и чувство: у него никого не было!

Онъ будеть лежать пріемные часы на своей койкі, будеть слушать, какъ тепло толкують землячки, какъ рады посіщеніямъ родныхъ и знакомыхъ больные и, чувствовать, что у него гордые, ничего не просящіе глаза, а внутри щиплющая боль, что ему некого ждать, что къ нему никто не придетъ.

Потомъ... потомъ и его выпишутъ. Сюда онъ пришелъ глубокой осенью въ осеннемъ пальто; теперь зима—онъ уйдетъ въ немъ, безъ копъйки въ карманъ.

Что же еще?

Если онъ не погибнетъ по выходъ изъ больницы—будутъ сырые подвалы, голодовки, муки: нужда не спутникъ творчества, голодный мозгъ не творецъ.

Въ прошломъ году онъ лежалъ однимъ глазомъ, теперь другимъ, не далеко, въроятно, время, когда придется попасть съ обоими—слъпымъ. Стоитъ-ли?!

Стынетъ лицо литератора. Все больше и больше въ маску той усталости, когда нътъ уже силъ думать о своей гибели, когда гибель встръчается вздохомъ облегченія, улыбкой радости.

Тогда онъ идетъ на свою койку. Раздъвается и смотритъ на ряды коекъ: въ жуткой неподвижности и тишинъ лежатъ тъла, точно трупы

Онъ радъ за нихъ, что они такъ наивно върятъ въ чудо завтра.

Онъ ложится. Хочется на чемъ нибудь от дохнуть.

Мысль о себъ нестерпима. Ему кажется, что весь онь изъ чего-то страшно чуткаго, звонкаго страшнаго, бользненнаго: чуть дотронься—боль зазвенить, болью проръжеть все тъло.

Нельзя думать о себъ: онъ цъпляется за барыню.

Миръ и благословенная сладкая тишина воцаряется въ больной душъ литератора. Нътъ его его прошлаго, настоящаго, будущаго,—есть одна только прекрасная женщина, о которой онъ грезитъ безъ мысли, безъ словъ: грезитъ однимъ только ея образомъ.

Уличное освъщение ложится на стъны палаты сонными тънями.

Смыкающимися глазами литераторъ силится смотръть на эти тъни, но мягко и грузно падають въки и уже не поднимаются. Онъ засыпаетъ —болъзненнымъ нездоровымъ сномъ, —медленно, съ ощущеніями безконечнаго паденія куда-то.

И чудится ему, что вмёстё съ нимъ падають стёны—бёлыя стёны, застывшія, какъ и онъ, въ сонныхъ грезахъ о барынё.

# волна.

СЦЕНЫ ВЪ 4-хъ ДЪЙСТВІЯХЪ.

Дозволено цензурою къ представленію 27 ноября 1908 года за № 700.

#### Дъйствующія лица.

Харцызовъ, Иванъ Семеновичъ, 35 лѣтъ. Богатый фабрикантъ. Ростомъ малъ, худъ. Одѣвается по послѣдней модѣ. Въ немъ всегда что-то противножалкое, исключая тѣхъ моментовъ, когда вопросъ идетъ о деньгахъ: въ такихъ случаяхъ онъ наглъ, самоувѣренъ.

Варвара, его жена, 28 лътъ, бывшая учительница. Выше средняго роста, брюнетка, очень красива, стройна. Одъвается просто.

**Аглая**, сирота, дальняя родственница Харцызовыхъ, 22 лётъ.

Демидъ, дядя Варвары. Лътъ подъ 60. Средній рость, худощавъ, всё движенія такъ ловки, точно онъ юноша; всегда наблюдаеть за всёмъ и всёми.

Ольга, сестра Харцызова, вдова 31 года. Пышная, красивая блондинка, грустное лицо.

Владиміръ, братъ Харцызова, 29 лѣтъ. Брюнетъ; лицо женственно-красивое. Взглядъ — странный: точно ищетъ на что бы опереться. Движенія, жесты, то небрежно изящны, то словно развинчены.

Ивинъ, бывшій учитель гимназіи 48 лѣтъ. Плотная, массивная фигура; на головѣ огромная всклокоченная копна темныхъ волосъ, что придаетъ ему угрюмый, дикій видъ. Въ фигурѣ и въ лицѣ есть что-то тяжелое, пришибленное. Одѣтъ небрежно.

Трубинь, инженеръ, служащій на фабрикв Харцызова, 86 лвть. Смугль, черноволось. Гибкая сильная фигура. Говорить рвзко, самоуввренно-Одвть, какъ рабочій: синяя блуза, широкій кожанный поясь, простые сапоги.

**Лъсницкій**, управляющій фабрикой Харцызова. Вдовъ, 40 лътъ. Сытъ, выхоленъ. Носитъ бороду.

Золинъ, студентъ-медикъ, практикующій при фабричной больницъ, 24 лътъ. Кръпкая, коренастая фигура, простое открытое лицо.

Поля, горничная, 26 лѣтъ.

Кучеръ, дворникъ, женская прислуга, рабочіе.

## дъйствие первое.

Двухъ-этажный каменный домъ съ балкономъ, выходящій переднимъ фасадомъ въ садъ, а одной боковой стѣной—къ зрителю. Передъ домомъ— широкая площадка. На ней—бассейнъ съ бъющимъ фонтаномъ; вокругъ бассейна—клумбы съ цвѣтами. По правую сторону бассейна, противъ балкона. подъ тѣнью липъ и березъ—столъ, стулья, кресла. За площадкой—аллен ведущія въ глубъ сада. Площадка по вечерамъ освѣщается электрическимъ фонаремъ. Конецъ мая, 11 час. утра. На столъ сервированъ чай. Варвара, сидя около стола, разсѣянно поглядываетъ на цвѣты. Владиміръ бродитъ вокругъ бассейна. Изъ дома вырываются аккорды рояля.

Владиміръ. (Какъ бы самъ съ собой) У когонибудь сейчасъ есть жизнь... Не такая, какъ у насъ, а настоящая жизнь. Да... Что здъсь видишь? Словомъ, фабрику, казармы рабочихъ. Это—какой-то чортовъ уголъ, въ которомъ отъ тески можно дойти до умопомъщательства. (Пауза). Словомъ, надо поъхать за границу.

Варвара. (Въ раздумьъ). Да вы ужъ, кажется, года три собираетесь, да все какъ-то не можете собраться.

Владиміръ. Въ этомъ году непремівню убду. Аглая. (Выходить на балконъ и облокотившись на перила). Варя! Я сегодня познакомилась съ твоимъ дядей. Живой старикъ!

Варвара. Да, это въ немъ есть.

Аглая. Я даже удивилась: явился къ намъ около шести часовъ утра и говорилъ, что шелъ всю ночь, а соснулъ часа два, всталъ и попросилъ меня показать ему домъ, фабрику, казармы для рабочихъ.

Аглая. Очень. Все спрашиваль меня: какъ, молъ, вы здъсь, живете? А когда я разсказывала, что мы не живемь, а только скучаемъ, смъялся и говорилъ:— "Вы погодите! Я васъ всъхъ расшевелю!.."

Владиміръ. Что то сомнительно, Словомъ, мы всв вмъсто жизни посъяли здъсь (съ брезгливымъ чувствомъ показываеть на домъ) что-то жалкое, протненов. А пословица говоритъ: "что посъещь, то и пожнешь."

Аглая (нервно). Что у васъ за манера каркать? Если сами не върите, что жизнь уже ничего хорошаго не объщаеть, не мъшайте върить другимъ.

Владиміръ. Кто вамъ мѣшаетъ? Словомъ, върьте съ Богомъ, я только высказалъ свое мнѣніе. А оно имѣетъ основаніе: люди мы, кажется, не считая моего брата, всъ здѣсь сознательные: много читаемъ, думаемъ, и все-таки почему-то не можемъ додуматься до того, что-бы составлять

изъ себя группу людей, живущихъ дружно и разумно.

Аглая. (Насмёшливо). Додумайтесь до этого и, пожалуйста, научите насъ.

Владиміръ. Нервничаете вы. Сыграйте-ка лучше что-нибудь. Я люблю слушать васъ. Аглая. Почему именно меня?

· Владиміръ. Вы своей игрой почему-то всегда оживляете мои воспоминанія о студенческихъ годахъ. Сыграйте!

Аглая. Нътъ желанія.

Владиміръ. Да? (останавливается и въ раздумъв) "Какъ хороши, какъ свъжи были розы."—Люблю я это стихотвореніе. Что-то чистое, юное, хорошее вспоминается... Словомъ,—вспоминается то, что никогда не вернется... (возбужденно) "Какъ хороши, какъ свъжи были розы... были розы... Какъ хороши, какъ свъжи были розы!"

Аглая (со смёхемь). А хорошо вы декламируете. Владиміръ. Не смъйтесь. Не смъйтесь. Я это стихотвореніе глубоко чувствую и понимаю. Аглая (многозначительно). О, еще-бы!

В ладиміръ (смотрить на Аглаю и въ раздумь въ Что это значитъ? (махая рукой). А впрочемъ, мн все равно. У меня сейчасъ ни радости, ни печали... Словомъ,—ничего, исключая какого-то мертвящаго душу покоя... Почему? Не знаю. Въдь, вотъ по временамъ мн кочется бури, ужасовъ, жизни... Словомъ, — хочется чувствовать, что я

живу, а не остаюсь за бортомъ. Да... А между тъмъ...

Аглая. Варя, а Золинъ еще не былъ? Варвара. Нътъ.

Владиміръ (рѣжо). Аглая. Я, кажется, съ вами говорилъ, а не со стѣной. Словомъ, — обрывать человѣка такъ—невѣжливо. Надо его выслушать.

Аглая (со скучающимъ видомъ). Къчему мнъ васъ слушать? Я и безъ этого всегда знаю, что вы въ концъ концовъ скажете.

Владиміръ. Нътъ, не знаете. Напримъръ, я... Словомъ, — я сейчасъ ничего не чувствую... А...

Аглая (нервно). Неправда! Этого никогда не бываетъ...

Владиміръ (съ недоумѣніемъ). Чего? этого?

Аглая. А вотъ, что-бы у человъка въ какуюлибо минуту не было никакого чувства. Можетъ быть, — радость, печаль, грусть, горе, но полнаго отсутствія чувствъ я не понимаю.

Владиміръ. Гдѣ вамъ понять. Вы ничего подобнаго тому, что пережилъя, никогда не переживали.

Аглая (съ нровіей). Это—истина. Но если-бы представилась возможность пережить тоже, что и вамъ, я бы не пережила, такъ какъ этого не хочу.

Владиміръ. Не спорю: можетъ-быть, вамъ когда-нибудь и было тяжело, но не настолько, что-бы вы утратили способность радоваться и

печалиться. (Нервно). Словомъ,—что тамъ? Вы меня никогда не поймете! Вы всегда, что вамъ не понятно, отрицаете такъ: (дразвитъ) "Этого никогда не бываетъ! Этого никогда не бываетъ!"

Аглая (умышленно спокойно). Авы не раздражай-

Владиміръ (повышая тонъ). Вы меня не дразните. Да... Словомъ,—я шутить собой не позволю!

Варвара (наливаеть чай— къ Владиміру). Вотъ что: нейте-ка лучше чай.

Владиміръ (грубо) А если я не хочу? Варвара. Чего же вы хотите? Ссориться?

Владиміръ. Что это за жизнь? Словомъ, — кругомъ ни одного сочувствующаго тебъ человъка. Поневолъ отъ такой жизни будешь пить.

Варвара. И пейте.

Владиміръ. Вы этого хотите?

Варвара. Не хочу. Но если вы въ трезвомъ состоянии способны только на то, что-бы портить настроение другимъ, тогда лучше пейте.

Владиміръ. Нечего сказать: совъть хорошь! Эхъ... (ядовято) эхъ... Словомъ, — кругомъ ни одной сочувствующей души. Ну, и чортъ съ ними. (Уходить въ домъ).

Аглая (въ грустномъ раздумьв). Да... Съ твиъ поръ, какъ я кончила гимназію и прівкала сюда, прошло три года. Въ эти три года жизнь показала мнъ себя вполнъ, и я теперь думаю о ней иначе, чъмъ думала на гимназической скамьъ. (ходить по балкону). Я чувствую, что жизнь мнъ

здъсь становится въ тягость. Здъсь можно задохнуться. Одинъ Владимірь чего стоитъ... Трезвый придирается на каждомъ шагу; полупьяныйноеть и безконечно объясняется мнв въ любви; а когда совсемъ пьянъ, нагло требуетъ отъ меня взаимности.

Варвара. Не упоминай ты никогда при немъ имя Золина. Это его раздражаетъ.

Аглая. Не могу. Раньше я старалась обхонить всякія непріятности, а теперь... Если знаешь, что чъмъ-нибудь человъка разозлишь или сдълаещь ему больно, то такъ и порываетъ на это. (Исчезаеть и сходить къ Варварт). Знаешь, Варя: я за последнее время начинаю бояться Владиміра. Ходить за мной всюду, какъ твнь...

Варвара. Да, остерегаться его следуеть. Онь, мнв кажется, въ нвкоторые моменты на все способенъ.

(Изъ дома приходить Ольга, Варвара и Аглая со скучающимъ и ленивымъ видомъ обмениваются съ ней поцелуями. Усаживаются къ столу. Варвара наливаетъ чай. Пьють).

Ольга (позъвывая). Скучища! (оживляясь). Да... вчера я была на именинахъ у исправника. Было много гостей. Много пили, но болве всвхъ, какъ и всегда, отличился Ивинъ.

Аглая (разстянно). Чъмъ?

Ольга. За десятерыхъ пилъ.

Варвара. Жаль человъка.

Ольга. И какъ ему не стыдно? Тянутъ ему со

всвхъ сторонъ рюмки съ различными винами и со смъхомъ: "Пейте! Пейте! Сегодня мы васъ до чортиковъ накатимъ!" А онъ пьеть одну за другой и ноеть: "Ну, ужь гдв... этой водой-то? Да у меня отъ нея ни одинъ глазъ не замутится". (съ грустью задумывается). чтижина висте Нустижения

Аглая. Чъмъ-же эта исторія кончилась?

Ольга. Тэмъ, что выпиль онъ не знай сколько и, на удивление всвиъ пошелъ на своихъ ногахъ. (Изъ аллен появляются Ивинъ и Золинъ. Здороваются съ женщинами). «тадохто) . В и и в И

Ивинъ. (къ Золиву слезливымъ тономъ). Здоровая у меня, я тебъ говорю, натура!.. Лошадиная натура! Не могу я упиться до состоянія, что бы мнъ видълись райскія кущивано ондай — нивж

Ольга. (раздраженно) Бросьте вы этотъ тонъ! Когда вы имъ говорите, люди незнающие васъ могуть подумать, что вы самый несчастивишій человъкъ въ міръ.

Ивинъ. А я въ самомъ дълъ таковъ и есть. (Ко всемь) Знаете, господа, я несчастенъ темъ, что не могу напиться до потери сознанія. В пявт-вов в

Ольга. По-просту-до свинства. ин спакия и

Ивинъ. Хотя-бы и такъ. (Садится къ столу).

Варвара. (налила Золину стаканъ и къ Ивину) Чаю ANOHOMOSA хотите? TENHERAL

Ивинъ. Нътъ.

Ольга. (къ Ивину) Какъ это отвратительно! За последніе два года вы сделались въ полномъ смыслъ пьяницей.

Ивинъ. Пьяницей? Хехе-хе. Стара штука! (встаетъ и подступая къ Ольгъ) То, что я пьяница, это вы понимаете; а это вы можете понять: когда у человъка—скудныя впечатлънія до тоски, до отвращенія дъйствительность, чъмъ онь долженъ жить? Ну-ка скажите!

Ольга. Почему я знаю.

Ивинъ. Ага! Не знаете. А какъ-же вы ръшаетесь осуждать?

Аглая. А вы, Ивинъ, знаете?

Ивинъ. (отходять оть Ольги и начиная прохаживаться около бассейна) Я знаю. Я пью и знаю. Кто это изъ писателей сказаль, не помню: человъкъ, у котораго въ жизни нътъ жизни, долженъ жить миражами. — Върно сказано. У меня, господа, былъ нъкогда пріятель. Бывало, пошлость, грязь, вообще, вся житейская мерзость шибко пришибеть его,—онъ и запьетъ. Да какъ запьетъ!..

Ольга. (съ проней) Неужели хуже васъ?

Ивинъ. На мѣсяцъ, на два. А когда кончитъ, мнѣ и говоритъ: "Что хочешь обо мнѣ думай, а я все-таки во время запоя жилъ. Понимаешь: жилъ и видѣлъ иной міръ, иныхъ людей". Ну и начнетъ равсказывать. Слушаешь его и голова, бывало, кружится. Страстно, страстно, хоть во снѣ или въ умономраченіи хочется видѣть хоть частицу его пьяныхъ галлюцинацій. Да... Пойметъ онъ это и—шельмецъ! — примется меня убъждать: "Давай, братъ, запьемъ. Поживемъ въ мірѣ грезъ. Вѣдь, здѣсь на землѣ, если мы съ тобой даже, молъ,

милліонъ льть проживемь, но этого не увидимъ". Ольга. Какая чушь.

Варвара. Ну, вы, конечно, того... никогда не отказывались?

Ивинъ. Къчему отказываться? Не отказывался никогда. Да только у меня ни чорта не выходило. Пьешь, пьешь, и все думаешь: вотъ осънить! И допьешься до того,—свалишься и дрыхнешь, какъскотина, дня два.

Золинъ. Потомъ?

Ивинъ. Что потомъ? Потомъ проснешься, припомнишь и—ничего! Хоть бы сонъ какой видълъ или хоть чертей!—и этого нътъ! Эхъ-ма! (машетъ безнадежно рукой) Лошадиная у меня натура! Слона скоръе можно споить.

(Изъ дому выходять Харцызовъ и Лъсницкій. Оба полупьяны. Харцызовъ молча отвъшиваетъ всёмъ общій поилонъ и садится. Лъсницкій здороваясь, съ преувеличенной любезностью всёмъ говоритъ "Доброе утро". Садится. Варвара наливаетъ имъ чай. Золинъ и Аглая встають и уходять въ глубь сада.

Харцызовъ. (къ Лъснецкому) Такъ мы съ вами того вопроса не кончили.

Лѣсницкій. Онъ кончень. А если вы не по няли—то повторяю: постоянной любви ни у кого не бываеть.

Харцызовъ. (съ жаромъ) Есть! Докажу!

Лъсницкій. Не докажете. У мужчинъ къ женщинамъ есть не любовь, а только временная привязанность... Нъкоторые принимають это за любовь. Но такой авторитеть, какъ Шопенгауэрь,

говоритъ: "Женщины настолько разновидны, что любить одну изъ нихъ постоянно нельзя".

Ольга. (подко) И вы съ этимъ, конечно, вполнъ согласны?

Лвсницкій. Согласенъ. Но...

Варвара. (рызко) Прошу безъ всякихъ "но". Высказались—и довольно!

Харцызовъ. (къ Лѣсницкому) Продолжайте, почтеннъйшій.

Лѣсницкій. И продолжаю. (ко всёмь съ циничной усмёшкой) Такой любви, какая у большинства, я не знаю; моя любовь, — это красота сладострастія! И если-бы я высказаль вполнѣ эту красоту сладострастія—мѣщане назвали-бы это извращенностью чувства.

Харцызовъ. (снисходительно) Высказывайтесь, почтеннъйшій. Хотя все, что вы скажете, я и безъвась внаю.

Ольга. (просто) Не ври, братецъ. Умно иногда говоритъ онъ (киваеть на Лъсницкаго головой) или нътъ—я не знаю. А то, что ты понимаешь не больше меня—знаю. Къ чему врать, что ты все знаешь?

Харцызовъ. (злобно) Прошу безъ замъчаній! Я съ вами не говорю, почтеннъйшая сестрица. (Къ Лъсницкому снисходительно) Продолжайте, почтеннъйшій. (Гордо) Мы съ вами—здъсь только мы съ вами солидарны.

Лѣсницкій. (съ поклономъ) Благодарю, Иванъ Семенычъ. Но сейчасъ объ этомъ говорить не будемъ. Понять это сразу трудно. Здѣсь нужна

постепенность; нуженъ цёлый послёдовательный искусъ... Безъ него самыя высокія и красивыя формы сладострастія—инымъ могутъ показаться черезчуръ сильными, а иныхъ — и совсёмъ оттолкнутъ.

Харцызовъ. (сомодовольно) А меня напримъръ? (Варвара угрюмо морщится. Ивинъ и Ольга улыбаются).

Лѣсницкій. Васъ? (съ усмынкой) Васъ—не думаю. Насчетъ чего другого—вы недалеко ушли, но въ области половой этики — гораздо дальше тъхъ бъдняковъ, у которыхъ формы любви все тъже, что были у Адама съ Евой.

Варвара. (быстро встаетъ—тихо) Боже мой... (къ Лъсницкому) Наглецъ!

Харцызовъ. Варя! Ну, къ чему это? Такъ оскорблять? (къ Лесницкому) Голубчикъ! Вы не обижайтесь.

Лъсницкій. (спокойно) Нисколько. Жизнь вещь нешуточная и научить все глотать.

Харцызовъ. Въ сущности, моя жена не такая злая... Это она такъ... ради шутки... (самодовольно) Она у меня—экс-цен-трична!

Варвара. (взглянувъ на мужа и на Лѣсницкаго) Пошло. Отвратительно. (Идетъ къ дому).

Харцызовъ. Варя! Но Варя! (Демидъ выходить изъ аллея. Онъ въ бёлой холщевой рубашаё, подпоясанъ узенькимъ ремнемъ, въ штанахъ изъ сёраго сукна и войлочныхъ туфляхъ).

Демидъ. (раскланиваясь) Вамъотъ меня, православные мои, если захотите принять, — любовь

да совъть, а мнъ старику, отъ васъ, если уважите, — почеть да привъть!

(Варвара возвращается къ столу. Лъсницкій и Ивинъ смо трять на Демида съ недоумъніемъ).

Демидъ. (къ Варваръ)) А ну, племянница, угости ка меня чайкомъ.

Варвара. (наливая чай—въ Ивину) Это мой дядя. Ивинъ. Да? (въ Демиду) Здорово, старина! Демидъ. Здорово, православный мой.

Ивинъ. "Православный" (задумывается) Ты, дёдъ, по святымъ мёстамъ ходиль?

Демидъ. Двациать льтъ, православний мой.

Ивинъ. И ничего? Не усталъ еще?

Демидъ. Ну, вотъ. Что намъ дълается? Ходимъ по воздуху... пользительно и любопытно...

Лъсницкій. Любопытно, говоришь? Стало быть, не мало кое-чего повидаль.

Демидъ. (присаживаясь къ столу и принимаясь за чай) Да приходилось. Бывалъ воть я, напримъръ, въ обоихъ Іерусалимахъ; бывалъ на Соловкахъ, на Валаамъ; и... вообще всъ святые мъста знаю!

Ивинъ. Ну?

Демидъ. И чудаки люди: молятся всё одному Богу, а живуть каждое мёсто своими порядками, Казалось бы чего проще: святые мёста,—ну и уставъ для всёхъ одинъ... Куда! Всякъ гнетъ по своему.

Ивинъ. А почему бы это такъ?

Демидъ. Навърно, потому что устава, должно

быть, такого, которымъ бы всв люди были довольны, нвтъ. Ну, вотъ и ищутъ его.

Ивинъ. А ты, стариканъ, оказывается, интересенъ (Демидъ не отвъчая пьетъ чай) Не разскажешь ли намъ, дъдъ еще чего-нибудь?

Демидъ. (глядить въ стаканъ) А что еще вамъ, православные мои, разсказывать? Покуда нечего-Вотъ когда поосмотрюсь здъсь, тогда можетъ быть, что нибудь и еще поразскажу... (Изъ дому выходитъ Владиміръ. Онъ слегка покачнвается. По лицу видно, что выпилъ. Озирается по сторонамъ.)

Владиміръ. (бродить вокругь бассейна и какъ-бы самъ съ собой) Скучно! Скучно здѣсь и невольно какъ-то всегда въ этой обстановкѣ задумываешься надъ своей жизнью. Что она? Словомъ,—она мнѣ представляется огромнымъ пустымъ пространствомъ, по которому я почему-то долженъ итти. Словомъ, мнѣ хочется отдохнуть... Но я иду, иду и мучительно думаю: куда я иду? зачѣмъ?—И не могу понять. Въ этомъ для меня... словомъ—ужасъ! (Пауза) Ивинъ, какъ это понять-бы?

Ивинъ. Что тутъ понимать? Ты одинъ изъ того множества дюдей, которые весь свой въкъ толкаются въ жизни безъ толку, безъ цъли.

Владиміръ. Это я и безъ тебя давно знаю. Ивинъ. А разъзнаешь, такъ и не спрашивай. Владиміръ. "Не спрашивай". Страшно. (подлодить къ Лѣсницкому и съ брезгливой фамильярностью хлоная его по плечу) А скажите-ка мнъ, почтеннъйшій, жениться мнъ или нъть?

239

Л в сницкій. Избави вась отъ этого Богъ. Я однажды быль женать и такъ ученъ, что другу и недругу закажу.

М. СИВАЧЕВЪ.

Ольга. (простодушно) А какъ-же вы мнъ какъ-то разъ говорили: бракъ, бракъ, бракъ...

Л В снипкій. То тогда, а это теперь.

Харцызовъ. (въ Лесницкому) Стало-быть, солоно пришлось?

Лъсницкій. Было. Все было. Работалъ, не щадиль силь и здоровья, а только думаль, что бы въ семьв ни въ чемъ недостатка не было. А что за это отъ жены получилъ — и вспоминать не стоитъ.

Харцызовъ. (глубокомыслевно) Да, жены не считають себя счастливыми и довольными оттого, что ихъ мужья на нихъ работаютъ.

Лъсницкій. У нихъ на это есть такая логика: "Какое-же, молъ, тутъ счастье, что мужъ работаеть на меня? Онъ обязанъ. На то, моль, я и жена, чтобы онъ на меня работалъ и все мнъ доставлялъ".

(Харцызовъ встаетъ и ходить около стола. Владиміръ садится на его мъсто).

Харцызовъ. Если-бы только этимъ ограничивалось, такъ это бы ничего. Бываетъ хуже...

Л в сницкій. Истину изволили сказать, Иванъ Семенычъ. И это "хуже" бываетъ всегда такъ: мужъ оть дълъ и заботь въчно усталый, хмурый, а тутъ случайно навертывается какой-нибудь субъекть... Занимательный онъ такой, веселый; избытокъ силъ такъ и кипитъ въ немъ...

Харцызовъ. (ноглядывая на Варвару и ехидне) Такъ... такъ... Субъектъ вродъ... нашего инженера Трубина... тя он поли вы он вытыче

Лъсницкій. Я сказаль: занимательный онъ... Владиміръ. (уситхаясь) Ну-да. Понимаю. Словомъ, - сопоставить жена мужа съ субъектомъ и, субъекть, конечно, окажется лучше.

Лѣсницкій. Еще-бы! Вѣдь онъ ни сѣеть, ни жнеть, а такъ, какъ пчела-налетитъ на цвътокъ. высосеть весь сладкій ароматный сокъ и умчится дальше.

Варвара (къ Лъсницкому). Почтеннъйшій! И если-бы всв цевты были такъ просты и наивны, что позволяли-бы безъ разбору пользоваться собой всёмъ пчеламъ, то, я увёрена, что вы былибы изъ всёхъ пчелъ самой жадной пчелой. (Владиміръ, Ольга, Ивинъ, неудержимо съ крикомъ "браво"

. STYPOXOX

Харцызовъ (хватаясь за голову). Въ моемъ домъ... при мнъ... не стъсняются издъваться надъ человъкомъ, котораго я прошу бывать у меня.

Лъсницкій (быстро вставая). Моя нога больше не переступить порога этого дома.

Варвара (къ Лъсницкому). Этого давно всъ хотять. И вы уже объщались, кажется, разъ десять сюда не ходить, но всв свои объщанія должно быть забывали. Не забудьте коть сегодняшняго объщанія.

Харцызовъ. (подступая къ женѣ). Какъты смъешь. Варвара. Прочь! (встаеть). Жалкій! Владиміръ (въ унинссовъ). "Недоносокъ". (Лесницкій уходить).

Харцызовъ (хватая его за руку). Вы куда? Вы подождите! Я объяснюсь.

Лъсницкій. Оставьте! Я все снесу безропотно. какъ христіанинъ.

Ольга (хохочеть). Скажите!..-Это уже я отъ вего второй разъ слышу. Онъ мев одно время не давалъ проходу, ну, а я ему за это плюнула въ глаза. (Лісинцкій спішно исчезаеть въ домъ). Утерся онъ и совершенно спокойно: "Изъ любви къ вамъ и это унижение, какъ христанинъ съвмъ".

(Харцызовъ озирается по сторонамъ и не видя Лѣсницкаго быстро уходить за нимъ).

Ивинъ (къ Ольгь). А вы говорили объ этомъ старшему брату?

Ольга. Говорила.

Ивинъ. И что онъ?

Ольга. Ничего. Махнулъ рукой и заявиль, что ему не до пустяковъ.

(Хардызовъ и Лесницкій вновь появляются изъ дому).

Харцызовъ (трусливо забъгая виередъ). Но, почтеннъйшій... Что-же это такое? Это безобравіе...

Лъсницкій. Простите. Откровенно: этого я не ожидалъ...

(Изъ дому выходить Трубинъ; съ нимъ человекъ двадцать рабочихъ. — Они останавливаются плотной группой около бассейна).

Трубинъ (здоровается молча съ Варварой, Ольгой, Ивинымъ-и къ рабочимъ). Передъ вами-хозяинъ и управляющій. Я при нихъ заявляю, что вы правы. Требуйте свое.

Одинъ изъ рабочихъ. Г. хозяинъ. За чтоже насъ управляющій уволиль?

Нъсколько голосовъ. (сдержано) Такъ нельзя. -Несправедливо. - Вины за собойне знаемъ.

Лъсницкій. Уволилъ васъ, голубчики за неблагонадежность. (Злобно) Да наконецъ: какъ вы смъли сюда явиться, хамы.

Голосъ. (глухе). Самъ хамъ.

Харцызовъ. (къ Трубину) Но, какъ вы осмълились ихъ сюда привести?

Трубинъ. (Подходя къ Харцызову и-тяжело). Прошу со мной такимъ тономъ не говорить.

Харцызовъ. (отступая отъ Трубина и кърабочимъ) Братцы! Здъсь не мъсто для объясненій. На это есть контора.

Трубинъ. (къ рабочимъ) Требуйте свое здъсь. Въ конторъ ждетъ васъ одна трата времени.

Голоса рабочихъ (возбужденно). Върно!-Знаемъ мы вашу контору!-Чего тамъ: пишите: выдать постольку-то-и баста.

Лвсницкій (къ Трубину). Вы, милостивый государь... Это что такое? Поводъ... науськивание къ бунту?

Трубинъ (делая шагъ къ Лесницкому и смотря на него въ упоръ). Ну?

241 .

Лѣсницкій ...Съ позволенія Ивана Семеныча... А потомъ... вы не смотрите на менятакъ... я не звърь.

Трубинъ (еще блаже). Ну? (Лъсницкій пятится назадъ).

Харцызовъ (къ Трубину визгливо). Но позвольте! Кто здъсь хозяннъ? Я? Какъ смъете? Владиміръ (багровый отъ гивва вскакиваетъ и подбъгаетъ къ рабочимъ). Въ чемъ у васъ дъло?

Одинъ рабочій. А въ томъ: невѣдомо за что разсчитали насъ. Ну, мы того... какъ это слѣдуеть по правилу: требуемъ, чтобы намъ уплатили за двѣ недѣли.

Владиміръ (къ Харцызову). В дать!

Харцызовъ (съ полнымъ самообладаніемъ). Ха! Ты кто такой? Я здёсь хозяинъ.

Владиміръ. Я такой-же наслёдникъ, какъ и ты. Словомъ...

Харцызовъ (перебивая). Да. Но твое дѣлосторона. Отецъ фабрику довърилъ мнѣ. Вотъ когда умру, тогда хозяйничай, какъ тебъ угодно.

Владиміръ. Фабрика—милліонное дѣло, а ведется тобой какъ? Словомъ, — безпорядокъ, грабежъ.

Л ѣ сницкій. (къ рабочимъ) Голубчики! пойдемте въ контору. Тамъ все уладимъ.

Трубинъ. Не уходите.

Рабочіе. (всв) И не пойдемъ.

Владиміръ (въ Харцызову). Что ты сдёлальсь фабрикой? Словомъ, —позоръ!

Харцызовъ (самоувъренно). Я знаю, что дълаю.

Владиміръ. Отцомъ была заведена школа ея нътъ; была образцовая больница, а теперь при ней нътъ даже врача.

Варвара (съ презрѣніемъ къ мужу). Отецъ твой быль хотя и кряжистый человѣкъ, но обсчета рабочихъ у него не бывало. А у тебя—обсчитаны, обворованы тобой и твоимъ управляющимъ каждый мѣсяцъ.

Владиміръ (угрожающе нодстуная къ Харцызову). Что тутъ говорить? Словомъ, —прошу рабочимъ деньги выдать!

Харцызовъ. А вотъ не выдамъ.

Владиміръ (сжимая кулаки). Не выдащь? Ты... кто ты? Словомъ—жалкій недоносокъ.

Харцызовъ (злобно). Я! Иты смѣешь...

Владиміръ. Словомъ, — ты жалкій недоносокъ. (Рабоче сдержанно улыбаются, Ивинъ, Трубинъ хохочуть).

Харцызовъ (глядя на всёхъ, смущается; потомъ на Лъсницкаго и, видя на его лицъ наглую улыбку,—жалко и растерянно) И вы? И вы?

(Вов смеются: Лесницкій злорадно улыбается).

Харцызовъ (къ Лъсницкому злобно). Какъ вы, почтеннъйшій, смъли допустить такую несправедливость? (указываеть на рабочихъ).

Лѣсницкій (злорадно). Этой несправедливости могло бы и не быть: я вамъ докладываль о ней недълю тому назадъ.

Харцызовъ. Докладываль? Ничего ты не до-

кладывалъ. Прошу немедленно рабочихъ удовлетворить. (Идетъ къ дому и останавливается у входа въ него).

Лѣсницкій. Мнѣчто? Я съ превеликимъ удовольствіемъ. Не изъ своего кармана плачу. (Вынимаеть книжку, быстро пишеть и отдавая рабочимъ листокъ бумажки). Идите въ контору. Тамъ получите!

Рабочіе. Давно-бы такъ. (Идутъ къ дому).

Харцызовъ (наимщенно). Г. Трубинъ. Черезъ два мъсяца вамъ истекаетъ тотъ срокъ, который оговоренъ въ контрактъ. Прошу васъ озаботиться присканіемъ себъ мъста. (Трубинъ занятый разговоромъ съ Варварой, какъ будто и не слышитъ). А съ вами, г. Лъсницкій, я тоже поговорю. (Къ рабочимъ). Господа, вышло недоразумъніе!. (Вмъшивается въ ихъ кучу и исчезаетъ вмъстъ съ ними).

Владиміръ (къ Ивину). Хороша исторія?

Ивинъ (спокойно). А чъмъ нехороша? Посмотръть любопытно.

Владиміръ (щелкаеть себя по горлу). Словомъ
—пойдемъ и забудемъ все?

(Ольга съ ненавистью взглянула на Владиміра, быстро ухо-

дить въ глубь сада).
И в и н ъ (вставая). Согласенъ. (Уходить въ домъ. Лѣспицкій присаживается къ столу, но замѣтивъ на себѣ взглядъ Трубина, вскакиваетъ).

Лъсницкій. Фу! Дъло еще есть. (Быстро уходить). Трубинъ (вслъдъ ему). Эхъ... трусъ поганый.

Варвара. Раньше въ этомъ проклятомъ домѣ я тяготилась бездъйствіемъ, потомъ появился

Люсницкій и внесъ въ него пьянство, пошлость, грязь... Я долго съ этимъ боролась, но затъмъ устала. (Хватаетъ руку Трубина). Научите. Научите меня, что мнъ дълать? Въдь это не жизнь, а какая-то страшная, однообразная мертвящея зыбь. Она укачиваетъ медленно-медленно, но навърняка! Научите!

Трубинъ. Вамъ надо набраться силы и рѣшимости и разомъ разбить эту жизнь. Такъ жить, какъ живете вы, можно только безсознательно. Но разъ вы сознали весь ужасъ, всю пустоту своей жизни, такъ уходите отъ этой жизни скорѣе. Бросайте все и уходите.

Варвара. Куда?

Трубинъ. На первое время хоть туда, откуда сюда пришли, а тамъ видно будетъ.

Варвара. А если я не въ силахъ?

Трубинъ. Тогда умрите! Къчему такъ жить? Варвара. Да. Жить такъ не къчему. Но умереть—я малодушна. У меня рука не поднимется.

Трубинъ (спокойно). "Рука не поднимется". Глупости! Въдь вы сознаете, что со временемъ эта жизнь пригнететъ васъ, придавитъ въ конецъ?

Варвара. Сознаю.

Трубинъ. Такъ что же? Не лучше-ли разомъ все покончить, чъмъ медленная и мучительная агонія?

Варвара. Нътъ. На это я не способна. (Пауза). Когда я была въ дъвушкахъ учительницей, то

247

жизнь моя тогда казалась мнв красивой и содержательной. Трудъ для меня быль удовольствіемъ, отдыхъ—наслажденіемъ, а тв часы, когда я на утянутыя отъ скуднаго жалованья гроши шла въ театръ или читала купленную книжку блаженствомъ.

Трубинъ (холодно). Чёмъ вспоминать,— не лучшели прямо вновь вернуться къ такой жизни?

Варвара. Поздно. Я отвыкла отъ труда, боюсь лишеній. Поздно!

Трубинъ (угрюмо). Поздно? Исправить свою опибку никогда не поздно,

Демидъ (вставая и подходя къ Варварѣ). Экъ ты, дъвонька! Какъ посмотрълъ я сегодня здъсь, да послушалъ—нехорошо вы всъ живете... (указывая на Трубина). Онъ кто такой? Чъмъ онъ промышляеть.

Варвара. То-есть, какъ это "промышляеть"? Демидъ. Ну,—служить, что-ли?

Варвара. Онъ, дядя, инженеръ. Это такой ученый, который машины строитъ...

Демидъ. Не говори, дъвонька, не говори. Я знаю: онъ господинъ механикъ. И ты его слушай Всегда слушай! Онъ дурному не научитъ.

Трубинъ (улыбаясь). Спасибо, дъдъ.

Демидъ. За что спасибо? Зэ хорошія твои рѣчи, хорошее о тебѣ слово. (Къ Варвавѣ). Вотъ тебѣ, господинъ механикъ, насчетъ того, какъ тебѣ быть, говорилъ,—скажу и я: не то, дѣвонька, стыдно, что мы не хорошо живемъ, а то стыдно, что мы свою нехорошую жизнь ничѣмъ оправ-

дать не можемъ... Вотъ ты и подумай. А теперь... до увиданія дътки. (Кланяется и идеть въ глубь сада).

Трубинъ (посмотрель Демиду въ следъ). Постой, деядъ. И я съ тобой, (быстро идеть за Демидомъ. Варвара садится и, положивъ руки на столъ, склоняеть на нихъголову).

#### **ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.**

(Обстановка перваго дъйствія. Вечернія сумерки. Аглая сидить около стола, Поля съ него убираеть чайную посуду. Варвара тихо ходить взадь и впередъ).

Аглая. Скучно. Страшно скучно! Варвара. Пойди, прогуляйся.

Аглая. Куда?

Варвара. По саду. Или просто по улицъ...

Аглая. По улицъ я не люблю ходить, а садъ давно надоълъ.

Варвара. Тогда возьми у меня что-нибудь почитать. Я на дняхъ получила много книгъ.

Аглая. Почитать? Нъть, не хочется.

(Поля забрала всю посуду, но многозначательно цоглядыван на Варвару, уходять медлить).

Варвара. Вы, Поля, мнв что нибудь имвете сказать?

Поля. Да. Но вы меня, барыня... не выдадите? Варвара. Говорите.

Поля (тико). Вчера Иванъ Семенычъ, управ-

ляющій, и Владиміръ Семеновичъ вздили къ двакамъ на село. Домой то ужъ въ 6 часовъ утра прівхали.

Варвара. Отъ кого вы это узнали?

Поля. Нашъ кучеръ ихъ возилъ. Онъ разсказывалъ, что у нихъ тамъ было.

Аглая. Что жъ у нихъ тамъ было?

Поля. Такія ужасти, что и не върится, что господа могуть такь безобразить.

Аглая. А все таки, что-же?

Поля. Ухъ, барышня, что вы? Развѣ я могу говорить.

Варвара (хмурясь). Идите, Поля. Больше вы, не нужны. (Поля уходить).

Аглая. Ай-да Иванъ Семенычъ!

Варвара (спокойно). А тебя развѣ это удивляетъ?

Аглая. Нѣтъ—возмущаетъ. (вставая и нервно). Вообще: я не могу равнодушно смотрѣть на него при встрѣчахъ. Мнѣ такъ и хочется плюнуть въ его скверную, истрепанную рожу. Или, если бы передъ нами была грязная лужа, толкнуть въ нее его тощую, ощипанную и жалкую фигуру и сказать: "вотъ твое мѣсто!".

Варвара (со смёхомъ). Очень энергично!

Аглая. Я удивляюсь, какъ ты можешь быть спокойна?

Варвара. Его поступки меня и не удивляють и не возмущають. Дёло не въ нихъ... (сжимая голиву руками — внезапно со страствымъ порывомъ). О,

эта жизнь здёсь, безъ цёли и надобности!. Кажется, что я только съ прівздомъ дяди поняла, что я жила такъ себі, не зная — зачёмъ, для чего? Какъ будто бы только теперь я додумалась что жизнь безъ цёли—гибель.

Аглая (удивленно). Какъ ты заговорила? Это я отъ тебя слышу въ первый разъ.

Варвара. Но у меня нѣтъ цѣли. Чѣмъ же жить? Зачѣмъ? Для чего? Нѣтъ ни желаній, ни стремленій, а когда вообразишь ихъ себѣ, хотя бы даже маленькія, кажется, что и они неосуществимы. Боже мой! Какъ было-бы хорошо, если можно было бы уйти отъ самой себя.

Аглая (обнимая и цёлуя Варвару — горачо). Варя! Варя! Теперь ты мнё родная. Теперь я поняла, что у тебя тё-же муки, какъ и у меня. Я несколько минуть тому назадъ сидёла и думала: живу, но зачёмъ? Чтобы пожить. Но какъ? Что такое будущее—здёсь—у насъ? Не то-же ли прошедшее, настоящее, но только въ иное время? Зачёмъ же жить, если нечёмъ жить?

Варвара (горько, словно эхо). Зачёмъ же жить, если нётъ возможности жить настоящей жизнью, а не подобной смертью живого человёка? Какъ подумаешь: чёмъ жить въ этой жизни?—все становится противно. Думать? Но о чемъ? Строить замки—не можешь. И вотъ: вертятся въ головъ мысли, но всё онё кажутся такъ пусты и ничтожны, что самой смёшно заниматься ими. И уносятся онё куда то безъ слёда...

Аглая (перебивая). Нёть, у меня не такъ. У меня онъ расплываются...

Варвара. Но довольно ныть. Не будемъ, Аглая

Владиміръ (выходя изъ дому). Сумерки! Что они въ меня вселяютъ? Словомъ,—не люблю я ихъ. (отвертываетъ включатель, —нлощадка заливается свътомъ электрическаго фонаря).

Варвара (къ Аглав). Я ухожу.

Аглая. А мнв съ тобой можно?

Варвара. Нътъ. Мнъ хочется побыть одной (уходить въ глубь сада).

Владиміръ (идеть къ Аглав). А не проидемся ли мы съ вами?

Аглая. Не хочу.

Владиміръ. Мнё хотелосьбы поговорить съвами.

Аглая. Говорите здъсь.

Владиміръ. Здвсь? (неожиданно) Мнів пришла въ голову мысль... Словомъ,—вы боитесь со мной быть въ темныхъ містахъ?

Аглая (со смёхомъ). Да, побаиваюсь. А потомъ и вы... вы боитесь не только темноты, но и сумерекъ.

Владиміръ. Да, когда одинъ-боюсь; вдво-емъ-нътъ.

Аглая (хочеть ити къ дему). Ну, а я одна—не боюсь, а вдвоемъ—роблю.

Владиміръ (кватая Аглаю за руку). Нътъ не уходите. Я хочу съ вами говорить.

Аглая (вскрикивая). Ой, что вы? У меня руки не изъ жельза. (повинуясь силь Владиміра, садится). Фу, какъ отъ васъ разитъ хмъльнымъ!

Владиміръ. Это есть. Что я сегодня пиль? Портвейнъ, коньякъ, пиво, водку. Словомъ, —пилъ все, что можно пить. А къ чему? Словомъ, — я хочу съ вами говорить.

Аглая (съ задоромъ). А если я не буду слу-

Владиміръ (съ болью). Будете! Должны слушать! Знаете, мнъ вдругъ страстно захотвлось разсказать вамъ свою жизнь, показать свою душу Аглая! Знаете ли вы, что такое было мое дътство? Словомъ, — это была безпросвътно-тяжелая полоса, которая исказила во мнъ все лучшее. Не было ни одной живой души, которая бы приласкала меня по-человъчески въ бытность мою ребенкомъ. Самородка, взбалмошная мать, грубый, жестокій отецъ— что они мнъ дали? Отецъ человъкъ, живній рублемъ и для рубля—не обращалъ на меня ни мальйшаго вниманія; мать—палкой и кнутомъ старалась воспитать изъ меня приличнаго негодяя.

Аглая. Постойте. Къ чему...

Владиміръ. Молчите! Мнё было 12 лёть. Я быль смазливенькій мальчикъ. Меня приласкала скучающая вдовушка. А я... Словомъ,—я весь, весь отдался ей и такъ вёрилъ—смёшно, глупо, по-дётски,—и въ тоже время не по-дётски любилъ.

Позабавившись, со мной она со смѣхомъ прогнала меня и сказала, что я глупый фантазеръ изъ котораго... словомъ,—никогда ничего путнаго не выйдетъ. Каково это было мнѣ? (Пауза). Потомъ она вновь подошла ко мнѣ. Опять я два мѣсяца любилъ, вѣрилъ, а затѣмъ понялъ, что это та-же забава. Понялъ—и самъ отошелъ. (Сурово) А ну, прибавъте, что такія исторіи повторились еще нѣсколько разъ. Правда—не съ ней. Словомъ,—мѣнялись лица и детали а факты одни и тѣже.

Аглая. Къ чему вы мнв объ этомъ говорите? Владиміръ. Къ тому: я не разъ слышалъ, какъ вы говорили, что я развратникъ звърь. Да, върно. Въ 17 лътъ я началъ пить, развратничать; въ 17 лътъ мнъ доставляло наслаждение дълать людямъ зло. Правда, если-бы въ это время нашлись люди способные понять меня, приласкать, я, можетъ быть, былъ бы не таковъ, какъ сейчасъ.

Аглая. Приласкать? Зачёмъ? Затёмъ, чтобы вы потомъ наиздёвались всласть.

Владиміръ. Можетъ быть, и это. Не знаю. По крайней мъръ, тогда такъ думалось. — Это было въ пору гимназическаго ученія. Бывало, — вспомнить страшно, — задыхаясь отъ озлобленія, я старался ударить человъка въ самое больное мъсто. Словомъ, — не было у меня ничего святого, любимаго. — А рядомъ съ этимъ, въ моей душъ постоянно жила страшная, дикая боль одиночества. И стоило мнъ хоть день остаться трезвымъ, она

доводила меня до ужаса, до изступленія, до галлюцинацій. Но рюмка, другая, третья коньяку, и все затихало! Словомъ,—ко всему являлось холодное, спокойно-злое безразличіе. А потомъ я узналъ, что морфій лучше коньяку— и сталъ морфинистомъ.

Аглая. И теперь продолжаете?

Владиміръ. Да, иногда. Былъ полный перерывъ на два года, когда я былъ студентомъ. Тогда меня любила одна дъвушка, но она умерла.

Аглая. Такъ... Когда вы вспоминаете свои студенческіе годы, она связывается съ вашими воспоминаніями?

Владиміръ. Непремънно! Она. Всегда она! Словомъ,—вспоминается то, что никогда не вернется.

Аглая. А надъ ней вы тоже издъвались? Владиміръ. Да, иногда. Но я ее глубоко любилъ.

Аглая (тихо подавленно). Ужасъ какой-то. (Встаетъ и идетъ къ дому). Я не могу его понять.

Владиміръ. Не уходите. Я не все еще сказалъ. (Хватаетъ Аглаю за руку). Я зналъ десятки женщинъ...

Аглая. Оставьте меня, я не хочу слушать. Не могу.

Владиміръ (умоляюще). Выслушайте до конца. Можеть быть, вы спасете меня...

Аглая. Едва ли это возможно. (Вырываеть руку). Пустите. Я кричать буду. (Съ силой вырываеть руку и бъжить въ домъ. Владиміръ съ секунду стоить съ протянутыми къ Аглат руками. Видъ у него, дикъ, точно у больного въ бреду. Изъ глубины сада на площадку тихо идугъ Варвара и Ивинъ).

Владиміръ. Ивинъ, зайдемъ, пожалуйста ко мнъ. Мнъ нужно съ тобой поговорить.

Ивинъ. О чемъ?

Владиміръ. Дѣло есть.

Ивинъ. Говори здёсь.

Владиміръ. Ну, это совстить неудобно. Словомъ, — о такихъ вещахъ говорятъ только тому, кому довтряень.

Ивинъ. Не пойду. Я заранъе знаю, что ты мивскажещь что-нибудь скверное. Что я—помойная яма? Оставь меня въ покоъ. У меня братъ, на душъ своего хламу много.

Владиміръ. Тебъ, Ивинъ... Словомъ, что бы ты не сказаль, я почему-то все могу простить. (Беретъ Ивина за руку). Ну, пойдемъ!

Ивинъ. Не пойду.

Владиміръ. Ну, если не говорить, такъ пой-

Ивинъ. Для сего—вашъ покорнвиний слуга. (Идутъ въ домъ. Варвара, глядя на Ивина и покачивая головой, садится къ столу. Ивинъ и Владиміръ въ дверяхъ сталкиваются съ Харцызовымъ).

Харцызовъ. Вы куда?

Владиміръ (холодно). А туда, куда намъ нужно. Харцызовъ (подходя въ Варваръ. Видъ у него дъ-

дарцы зовъ (подходя въ Варваръ, Видъ у него дъланно-убитый. Говоритъ какъ бы самъ съ собой). У однихъ жизнь испорчена, изломана, опошлена по ихъвинъ; у другихъ она—полна роковыхъ случайностей.

Варвара (съ проніей). Ужъ не у тебя ли?

Харцызовъ (напыщенно). Нѣтъ, пока не уменя. Но разъя объ этомъ говорю, то, стало быть, уменя есть подобнаго рода опасенія. Я сейчасъ живу, впереди уменя какъ будто бы все ясно, хорошо...

Варвара. У тебя!-Какая глупость.

Харцызовъ (словно не слышаль). ... но кто можетъ поручиться, что вдругь не налетить откуда-то извив темная, жестокая сила и не толкиеть тебя безжалостно въ страшный жизненный водовороть?

(Ивинъ и Владиміръ показываясь на балконт).

Ивинъ (со смёхомъ). О, Боже! Иванъ Семенычъ, что вы говорите? Вёдь это все слова Лёсницкаго. Я не разъ ихъ слышаль отъ него.

Харцызовъ. Прошу, господа, быть поделикатите. Не забывайте, что вы въ моемъ домъ.

Владиміръ. (вспыльчиво). Прошу, почтеннъйшій братець, не забывать, что домъ неисключительно твой! Словомъ,—я въ немъ тоже хозяинъ!

Ивинъ (смѣясь). Брось, Владиміръ. Не раздражайся. Пойдемъ ка лучше тяпнемъ. (Скрываются).

Харцызовъ. Свиньи! (Къ женъ). Вообще, Варя, я котълъ сказать, что жить страшно. Куда не погляди... (треть лобъ, какъ бы препоминая) вездъ страшныя, непонятныя явленія жизни... да, жизни... и... нътъ, не то...

Варвара (со смъхомъ) Забылъ? Ахъ ты, бъдный! (Серьезно). Говори, что хочешь сказать, своимъ языкомъ.

Харцызовъ. Я и говорю своимъ. Вообще, мы живемъ не одинаковой, разной жизнью...

Варвара. Кто-же въ этомъ виновать?

Харцызовъ.. Объ этомъ я не буду говорить. Варвара (подчеркивая). Объ этомъ, — именно объ этомъ и надо говорить.

Харзыцовъ. Да? (робко). Ну, а если такъ, (смълье) то виновата ты.

Варвара (спокойно). Я? Такъ, стало-быть, для того, чтобы у насъ жизнь была не разная, а одинаковая, мнъ нужно, какъ дълаешь ты—пить, ъздить по ночамъ на тройкъ въ деревню?

Харцызовъ. Варя! Варя! Не то. Не то я хотълъ сказать. Я хотълъ сказать, что мы оба виноваты... Я виновать тъмъ, что не задалъ себъ труда ознакомиться съ твоимъ нравственнымъ міромъ...

Варвара (пронически). Ишь ты.

Харцызовъ. (забываясь) ...міромъ мыслей и чувствъ. Это мнѣ, какъ говоритъ Лѣсницкій, надо было сдѣлать давно. Тогда-бы у насъ не было такой жизни. (въ упоеніи) Варя! Варя! Люби меня и знай, что, когда жизненныя невзгоды дѣлятъ два любящія сердца и, если они полны чувствомъ, что никто и никогда не можетъ разъединить ихъ, то имъ ничего не страшно! Люби меня! Люби! И тогда наша жизнь, если-бы она даже у насъ была и горемычная, безыдейная,

будеть хорошая... (спохватываясь) Нѣтъ... не то... Я хотълъ сказать: будетъ лучше и краше, чъмъ теперь... (хочеть обнять Варвару).

Варвара. (вскакиваеть, какъ обожженная) Прочь! Жалкій!

Харцызовъ. (разочарованно-съ недоумѣніемъ) Ужели и эти слова не тронули тебя?

Владиміръ. (съ балкона—невидимый) А чьи они? Это слова Лъсницкаго.

Харцызовъ. (злобно—въ Владиміру) Ты... Ты негод... молчи.

Ивинъ. (тоже невидимый) Съквмъ, почтеннъйшій Иванъ Семенычъ, говорите? Съ балкономъ?

Владиміръ. А ну-ка, братецъ, добавь къ недосказанному слову "яй", и я.. (угрожающе) Словомъ, —спущусь тогда къ тебъ. (показывается на балконъ).

Ивинъ. (появляясь за Владиміромъ и уводя съ собой) Брось, Владиміръ. Не раздражайся. Пойдемъ-ка еще лучше тяпнемъ.

Владиміръ. (исчезая съ Ивинымъ) Если-бы у этой гниды была сила? Словомъ,—онъ истеръ-бы меня въ порошокъ. (Варвара идеть въ домъ).

Харцызовъ. (удерживая) Нътъ, подожди.

Варвара. (холодно) Что еще надо?

Харцызовъ. (грубо—со злобой) По закону—ты мнв жена. Ну, и будь вполнв ею. Съ тъхъ поръ, какъ мы другъ другу чужіе, скоро два года. Мнв это надовло... Я требую...

Варвара. Вотъ-это истинно по-купечески. Раньше ты просилъ...

Харцызовъ. (перебивая) Да, просилъ. А теперь требую.

Варвара. Я тебъ это раньше говорила, говорю и сейчасъ: я вышла за тебя потому, что ты богатъ. Хотъла, при помощи твоихъ денегъ дълать добро бъднымъ людямъ...

Харцызовъ. (убѣжденно) Міръ великъ, и всѣхъ не облагодътельствуешь.

Варвара. Женихомъ ты говорилъ: для добрыхъ дълъ денегъ не пощажу...

Харцызовъ. Мало-ли что говорится.

Варвара. (съ отвращениемъ) Фу. (внезапно съ бѣшенствомъ) Когда вспомню, что ты мой мужъ, волосы хочется рвать на себѣ! А когда ты и я вмѣстѣ на людяхъ? Если бы меня до нага раздѣли и выставили передъ толпой мужчинъ, то и тогда бы я не переживала такого стыда...

(Идетъ къ дому. На площадку изъ-за деревьевъ появляется Демидъ и присаживается къ столу).

Харцызовъ. (робко забътая передъ Варварей) Варя. Варя. Я все сдълаю: ты когда то просила уволить Лъсницкаго; тогда я не хотълъ—теперь уволю; денегъ на добрыя дъла бери, сколько хочешь.

Варвара. (глухо) Не повърю, — обманешь.

Харцызовъ. Клянусь!

Варвара. Но если-бы ты и въ самомъ дѣдѣ сдѣдаль все, что обѣщаешь, — теперь поздно... (внезапно — голосомъ, близкимъ къ истерикѣ) Что ты за мной идешь? Куда идешь? Прочь!

Харцызовъ. (опѣшилъ, испуганно) Бога ради... такъ кричать?

Владиміръ. (выскакивая на балконъ) Въ чемъ дъло? (глядить внизъ).

Ивинъ. (невидимый) Что за крикъ?

Владиміръ. (исчезая—насмѣшливо) Комедія! Словомъ,—недоносокъ ухаживаетъ за женой.

(Варвара исчезаеть въ домъ. Хардызовъ возвращается назадъ). Хардызовъ (замётивъ Демида) Старикъ. (злобно плачетъ) Видишь, какое мое житье? Вратъ, родной братъ, такъ оскорбляетъ... И я ничего не могу противъ этого сдёлать. Выгнать изъ дома—не имъю права; драться съ нимъ—я культуренъ!

Демидъ. Если ужъ у васъ такіе нелады, такъ нътъ ничего проще того, чтобы раздълаться вамъ.

Харцызовъ. Какъ это?

Демидъ. Подъли съ братомъ все имъніе твое пополамъ.

Харцызовъ. (пораженный) Подълить имъніе? Хмъ! (снисходительно) Почтеннъйшій,—ты глупъ.

Демидъ. (спокойно) Можетъ быть.

Харцызовъ. Развѣ моему брату можно довърить что? Онъ живо все спуститъ.

Демидъ. Да тебъ-то, православный мой, какое дъло?

Харцызовъ. Тебъ этого, почтеннъйшій, не понять.

Демидъ. (съ улыбкой) Ужъ куда мнв. Я человъкъ простой. Но все-же, правослагный мой, разъ

у васъ съ братомъ сейчасъ такіе нелады, то со времечкомъ не то еще будетъ.

Харцызовъ. Будетъ? (съ пафосомъ) Пусть будетъ, что будетъ! Мнъ не миновать гибели въ этомъ темномъ, безпощадномъ омутъ, именуемомъ жизнью. (переходя въ обычный тонъ) Да. Но кто виноватъ? Твоя племянница, старикъ. Она очень странный человъкъ. Я ее никакъ не могу понять.

Демидъ. А ты, православный мой, хорошенько подумай, тогда, можетъ быть, и поймешь.

Харцызовъ. Подумай? Думалъ много! Онагруба, невоспитанна. Разбита жизнь, старикъ. Разбита!

Демидъ. А ты, православный мой, если мастеръ жить, сумъй скленть.

Харцызовъ. (тупо) Склеить? Чушь какую-ты, почтеннъйшій, несешь. Скучный ты старикъ!

Демидъ. Это оттого: люди мало веселятъ. (Харцызовъ идетъ въ домъ. Изъ него выходитъ Ольга. Они сталкиваются около бассейна.)

Харцызовъ. (останавливаясь—ехидно) Почтеннъйшая сестрица, а гдъ вашъ возлюбленный педагогъ, г. Ивинъ?

Ольга. (устало) Отстань.

Хардызовъ. Не его ли вы, почтеннъйшая сестрица, ищете?

Ольга. А если его, тебъ какое дъло?

Харцызовъ (расшаркиваясь). Повърьте—никакого! Жаль только васъ почтеннъйшая сестрица: вы за нимъ всегда бътаете такъ, словно кошка въ мартъ за котомъ.

Ольга (оглядывая фигуру брата). Малъты, братець, плюгавъ, но вредень! Фу! (плюеть).

Харцызовъ (запальчиво). Прошу, почтеннъйшая, не забываться!

Ольга (идеть къ Демиду). А что ты мий сдёлаешь? Выгнать изъ дому—домъ наслёдственный, не имбешь права; съ кулаками налетишь,—я женщина, тебя, какъ клопа раздавлю.

Харцызовъ (исчезая въ домъ—съ бъщенствомъ) Акула!

Ольга (къ Демиду—позѣвывая). Добрый вечеръ, дъдъ.

Демидъ. И тебъ тоже. Што, скушно?

Ольга. Скучно, дёдъ. Жизнь у меня невеселая. Она оборвалась какъ-то сразу, дико, нелёпо. Видишь,—я молода еще, а уже пятый годъ вдовствую. Въ этомъ домъ,—въ особенности осенью или зимой, я когда-нибудь съ ума сойду или повъщусь.

Демидъ. Ну, что ты такъ? А ты, дъвонька, возьми, да закружись (показываеть на пальцахъ) этакимъ волчкомъ въ свое удовольствіе... Ну, и повърь миъ: отудбишь!

Ольга. "Закружись... волчкомъ..." (смѣется). А корошо это. Соблазнительно! (серьезно). Да только, дъдъ, что люди объ этомъ скажутъ? Или—развъ отъ своей совъсти потомъ куда уйдешь?

Демидъ. Люди? Совъсть? Эхъ, дъвонька.

Вотъ тебъ скушно, а люди-то, въдь, твоей скуки небось разогнать не придутъ. Да не только разогнать: они даже объ этомъ и не подумаютъ.

Ольга. Ну, это, пожалуй, и такъ. А совъсть? Демидъ. Что совъсть? Въ этакомъ дълъ—въ твоемъ дълъ—совъсть не нужна... Въ гробъ ты ее съ собой не положишь.

Ольга (изумленно). Какъ не нужна?! Стало-быть, можно развратничать сколько угодно—и ничего?

Демидъ. Ну, зачъмъ, дъвонька, развратничать? (немного загрудняясь). У тебя другое дъло... (увъренно). Тамъ человъкъ отъ несчастья несчастенъ, а ты несчастна оттого, что сама себъ жить не даешь. А ты поживи,—поживи дъвонька, въ свое удовольствіе такъ, чтобы можно было себя послъ этого уважать...

Ольга (треть лобь рукой). Уважать?

Демидъ. Ну, да. Ты только докумекайся, что я тебъ говорю-то, а тогда... Человъку міръ-то Божій кажется тогда только хорошъ, когда онъ весель, да доволенъ...

Ольга. Правда, дъдъ! Когда-то, когда жизнь мнъ казалась лучше, милъе... тогда я была весела, добра.

Демидъ. Ну, вотъ видишь. (Пауза). Эхъ люди, люди... И ничего имъ такого, что у нихъ есть, многаго и не надо... Надо, какъ-нибудь самому, а если возможность есть, и другимъ помочь,—полегче, да повольготнъе до могилы добраться; а они,—нътъ: нагрузять себя всякимъ хламомъ.

какъ ломовую лошадь, — ну и везутъ, и стонутъ, да еще и жалуются... Чудаки неразумные!

(Ольга смотрить внимательно на Демида. Демидъ встаеть и начиная прохаживаться поеть: "Начего мий на свити не надо, только вилить тебя, голубь мой").

Ольга. Веселый ты, дъдъ... Ты не похожъ на другихъ богомольцевъ. Тъ все или молчатъ, или о божественномъ говорятъ.

Демидъ. Ну, это они такъ... Настоящей-то въры у нихъ нътъ, ну, они для видимости и такъ и этакъ святыми то и прикидываются. Вотъ въсвященномъ писаніи сказано: "Въра твоя спасетътя!" Справедливо сказано. Кто въритъ, тотъ всегда веселъ—потому что знаетъ, что спасенъ будетъ...

Ольга. Я тебя, дёдъ, что-то не пойму. Я вотъ тоже вёрующая, а не весела.

Демидъ. Стало-быть, плохо въришь. Боишься своей въры.

Ольга, Вотъ, вотъ.

Демидъ. Этого не надо. Плохъ тотъ христіанинъ, который боится Бога... Отъ такихъ христіанъ большое зло въ жизни бываетъ. Ты, дъвонька, если хочешь быть настоящей христіанкой, живи такъ: человъка никогда и ни въ чемъ не обижай, а старайся помочь ему словомъ и дъломъ. Больше отъ христіанина Богу ничего не нужно.

Ольга. Да?

Демидъ. Ты ужъ поверь мне. На свете, девонька, много несправедливости расплодилось:

иной звърь, какъ воть здъсь у васъ управляющій, сожреть въ жизни такой кусь, который-бы на десятерыхъ хватило, а иной со своей совъстью не събстъ въ жизни и своей законной порціи.

Ольга (неопредъленно). Что-жъмнъ, дъдъ дълать? Лемидъ (быстро). Перво-на-перво — отсюда **У**Вхать.

Ольга (оживляясь). Убхать? А знаешь дбдъ: я въдь давно думала это сдълать. Скверно здъсь жить.

Демидъ. Такъ чего-же: и увзжай. И поживи тамъ, куда увдешь-то. Ты, дввонька, помни всегда одно: тъ годы, въ кои надлежитъ пожить, назадъ не возвращаются.

Ольга (въ раздумый). Уйду... (риштельно). Непремвнно увду!

Изъ дому выходять Владиміръ и Ивинъ. Оба отъ выпивки возбуждены, Владиміръ пошатывается).

Демидъ. Если ръшила, то такъ и дълай. Лучше этого, дъвонька, ничего не придумаешь.

Ивинъ (къ Демиду). Здорово, дъдъ!

Демидъ. Мое тебъ почтеніе, господинъ учитель. (здороваются).

Владиміръ (въ Ивину). Ну, какъ же насчетъ того дёла-то? Словомъ, — что ты мнё посоветуещь? (Ольга садится и не спуская съ Ивина глазъ, наблюдаетъ за нимъ.

Ивинъ (съ недоумвніемъ). Насчеть какого двла? Владиміръ. Ну, вотъ, что я тебъ десять минуть тому назадъ говорилъ.

Ивинъ. А-а... (ръзко). Это, братецъ мой, не дъло, а... мерзость!

Владиміръ. Ивинъ, къ чему такія... словомъ, - грубыя выраженія? Разв'в безъ нихъ нельзя обойтись?

Ивинъ. По мнънію другихъ, можетъ быть

можно, по моему нельзя.

Владиміръ. Я сознаю... Словомъ, -- я противенъ, гадокъ... Но я хочу работать, хочу жить лучше. Но я не могу, не знаю, что мнъ работать. Словомъ, я не знаю, какъ и чъмъ оправдать свою жизнь.

И в и нъ (насмещливо). Ступай копай землю, коли

дрова.

Владиміръ. Я чувствую, что я ничъмъ не могу удовлетвориться въ жизни...

Ивинъ (къ Демицу). Вотъ, дъдъ, посмотри на

него. Что про него можно сказать?

Демидъ. Что? (Хлопая Владиміра по плечу-съ юношескимъ задоромъ). Экъ ты, елка моя зеленая. Увязъ, брать, ты точно въ трясинъ. И хочешь выбраться изъ нея, а силенка-то у тебя жидкая, да и туты, какъ слъдуетъ, во спасеніе себя употребить не хочешь. Какой толкъ? Тонешь глубже да глубже. Хочешь выручу? (обнимая одной рукой Владиміра). Послушай меня на благо себъ!

Владиміръ (освобождаясь оть объятій Демида, грубо). Прошу, старикъ, безъ нъжностей. Я этого не люблю.

Демидъ. Эхъ, православный мой... плохъ ты,

да еще оказывается и съ шипами! Это для тебя очень нехорошо.

Владиміръ (къ Ивину). Пойдемъ.

Ивинъ (угрюмо). Прочь. Эхъ ты... плевель.

Владиміръ. Я съ тобой, кажется, [скоро разойдусь. Ты иногда бываешь прямо нестернимъ. Словомъ, лучше быть совсъмъ одинокимъ.

Ивинъ. Ты разойдешься? Врешь. Или—върнъе: не знаешь, что говоришь. Въдь мы тутъ всъ одинокіе. Мы отошли отъ жизни, отъ людей, а жизнь, Владиміръ, этого безнаказанно не оставляетъ. Она любитъ въ людяхъ враждебную ей силу,—ту силу, которая грудью встръчаетъ ея удары. А тъхъ, кто трусъ, кто не живетъ, кто отлыниваетъ отъ живого дъла, она презираетъ... Какъ презираетъ? Точно такъ-же вотъ, какъ и насъ. Жизнь уже намъ, Владиміръ, сказала свое: "прозябайте, молъ, вы одинокіе, безсильные, никому ненужные..." (тише —съ болью). Да... Есть, Владиміръ, одиночество, невынужденное, а добровольное, не унижающее человъка, но то одиночество, Владиміръ, не нашъ удълъ, а удълъ гордыхъ, сильныхъ людей.

Владиміръ. Да да... словомъ, я тебя понялъ. (Оглядываеть домъ). Какъ я ненавижу этотъ домъ со всей его обстановкой Словомъ, мнъ здъсь все до омерзънія противно!

Ивинъ. При чемъ обстановка, ствны? Развъ онв въ томъ, что мы таковы, виноваты? (Пауза). Эхъ, чортъ возьми! Знаешь, Владиміръ, иногда мнв по временамъ хочется, чтобы случилось что-нибудь

такое, отчего всё люди, подобные мнё, тебё твоему брату, Лёсницкому, сразу умерли, а я умираль бы послёдній, то я съ злобной радостью посвятиль бы умершимь и себё какую-нибудь ядовитую эпитафію.

Владиміръ. А представь: я на эту тему тоже думалъ. И у меня даже есть сочиненная мною эпитафія.

Ивинъ. А ну?

Владиміръ. Жизнь свою устроить мы не умѣли:
Нашъ итогъ—ничего ни себѣ, ни людямъ.
Словомъ, точно мы жили для цѣли—
Пойти на съѣденье могильнымъ червямъ.

Ивинъ. А недурно! Главное—въренъ смыслъ. Вотъ никогда не думалъ, что ты способенъ стихи писать.

Владиміръ. Отъ тоски люди и въ петлю лѣзутъ. Да дѣло-то не во мнѣ, а въ тебѣ. Словомъ, неужели твоя жизнь въ прошломъ была такъ плоха, что ты можешь примѣнить къ ней мою эпитафію?

Ивинъ. Она была лучше твоей. Но жизнь человъка только тогда хороша, когда она имъ во всъхъ отношеніяхъ разумно использована.

Владиміръ. Не пойму я тебя. Словомъ, ты обс всемъ судишь какъ-то легко, смаху. Сказать, что человъкъ обязанъ жизнь использовать разумно—нетрудно. Научи-ка ты лучше меня, какъ это сдълать?

(Изъ дому вырываются несколько аккордовъ рояля. Затемъ

еледують артистически исполняемыя отрывки изъ ораторіи Шумана "Рай и Пери" и 9-й симфоніи Бетховена).

Владиміръ (въ забыты). Талантъ. У Аглан большой талантъ.

Ивинъ. Чего тутъ учить? Найди себъ дъло. А впрочемъ—ерунда! Ты никогда и ничего не будешь дълать.

Владиміръ (разсіянно, прислушиваясь къ музыкі). Воть, воть. Словомъ, къ большому ділу я не способень, а къ маленькому обидно и руки и голову прилагать. (Быстро, съ теской). Не могу я... Не могу! (Біжить въ домъ).

Ивинъ. (Вслъдъ ему). Конечно. Гдъ намъ? Всъ мы—ничтожные, себялюбивые, безъ любви къ какому-бы ни было дълу, не хотимъ удовольствоваться той ролью въ жизни, какая намъ по силамъ, по способностямъ, а предъявляемъ къ ней чортъ знаетъ какія требованія. (Кричить). Нътъ, ты сумъй сдълать маленькое, а тогда ужъ и скажи: дайте мнъ больше!

Ольга. (Къ Ивину). Ну, ну, не входите въ ражъ. Скажите-ка лучше, какъ научиться разумно жить.

Ивинъ (спадая съ голоса—лѣниво). Думайте. На это человъку дана голова.

Ольга. Хорошо. Допустимъ, что человъкъ ръшилъ, что живя такъ, онъ будетъ жить разумно; но началъ этакъ жить и вдругъ понялъ, что самъ себя ввелъ въ заблужденіе, что онъ ошибся. Тогда что?

Ивинъ. Пусть ошибка послужить урокомъ.

Ольга. Но если такъ ошибешься многократно? Ивинъ (вяло). Ничего. Въ жизни учатся на своихъ ошибкахъ. Кто не ошибался, не заблуждался, тотъ въ жизни неопытный человъкъ.

Ольга. (Вдругь). Я кочу ужкать отсюда.

Ивинъ. Что?

Ольга (взволнованно). Увхать отсюда хочу.

Ивинъ. Куда?

Ольга. Пока не знаю. Подумаю.

Ивинъ. Можетъ-быть, только этимъ и ограничитесь?

Ольга. Нътъ. Окончательно ръшила.

Ивинъ (спокойно). Если убдете, буду за васъ радъ.

(Звуки рояля круго обрываются).

Ивинъ (съ горькимъ бъшенствомъ). Замолкла. Когда слышу музыку—тоска! (Къ Демяду). Эхъ, старикъ... Посмотри здъсь на насъ, мы не живемъ, не идемъ впередъ, а какъ будто-бы полземъ, по своему пути и видимъ, что у насъ не жизнь, а что-то такое, чему даже трудно подыскать точное опредъленіе. Мы сознаемъ, что ползти дальше, это значитъ упасть въ какую-то темную бездну; сознаемъ, что надо найти другой путь. Но мы, старикъ, непростительно лънивы, неподвижны. Мы мертвы! Въ насъ нътъ такого духа, въ которомъ могутъ житъ сильныя стремленія. Какъ жалкія, отвратительныя черви, мы создали себъ грязное болото: копошимся въ немъ, живемъ, дышимъ его одуряющими испареніями. И, развъ только изръдка выглянемъ изъ

него: а нътъ-ли, молъ, у насъ подъ носомъ чистой лужицы? Для чего? Въдь, если таковую и най-демъ, то живо загадимъ. Не лучше-ли сразу уто-нуть глубже, съ головой...

Демидъ. Ну, вотъ. Эка ты, господинъ учитель, какъ отчаялся. Я тебъ сейчасъ скажу... (Изъ дому слышенъ отчаянный женскій крикъ) Демидъ— (тревожно.) Эхъ, что-то тамъ неладно! (Крикъ повторяется. Демидъ, Ивинъ, Ольга бъгутъ къ дому. Изъ него навстръчу имъ выбъгаетъ съ протянутыми впередъруками и съ воплемъ: "Спасите"! Аглая. Волосы ея въ безпоряцкъ; черная кофта на груди разорвана—виднъется бълье, одинъ рукавъ у кофточки оторванъ прочь. Столкнувшисъ съ Ивинымъ, она падаетъ на колъни, обхватываетъ его ноги и бъется въ истерикъ. Появляется изъ дому Харцызовъ).

Варвара. (выбъгая изъ дому) Негодяй! (наклоняясь къ Аглаъ) Ольга! Воды скоръе! (къ Ивину) Надо ее перенести туда—къ столу. (Ольга бъжить въ домъ). (Ивинъ и Демидъ несуть Аглаю къ деревьямъ и усаживаютъ на стулъ. Аглая затихаетъ. Появляется Ольга и Поля съ водой; мочатъ Аглаъ голову, даютъ пить).

Демидъ. (къ Варварѣ—сурово) Ну, племянница, (указывая на Аглаю) смотри на дѣвушку. Что можетъ быть чище этого! Такъ-то вы здѣсь живете... (Владиміръ появляется на балконѣ—лицо дикое, голову сжимаетъ руками).

Харцызовъ. (къ нему) Ага! Изволили, почтеннъйшій братецъ, явиться. Я недоносокъ... Но я никогда не распускалъ себя до насилія надъдъвушкой.

Владиміръ. (угрожающе) А ну, поговори. Поговори! (При звукахъ голоса Владиміра припадокъ у Аглан усили-

вается).
Варвара. Надо ее отсюда подальше.
(Ивинъ и Демидъ несутъ Аглаю въ глубъ сада. Всё—Варвара,
Харцызовъ, Ольга, Поля слёдуютъ за ними).

Владиміръ. (протягавая руки къ уходящимъ) Когдато и я былъ болъзненно-чутокъ къ пошлости, подлости, а теперь... Словомъ,—теперь ничего: ни стыда, ни раскаянія, одно только сожальніе о томъ, что все ограничилось неудачей. (Глухо рыдаетъ)

### ДЪЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

(Около двухъ часовъ дня. Демидъ сидить подъ твнью деревьевъ въ креслъ. Владиміръ тихо, иногда на секунду останавливаясь и озираясь по сторонамъ, бродить вокругъ бассейна).

Владиміръ. (какъ-бы самъ съ собой) Пустота. Скука. Словомъ—это не домъ фабриканта, а чтото такое противное, жалкое. Всъ сидятъ по своимъ комнатамъ, другъ отъ друга бъгаютъ. Я увъренъ, что въ каждомъ грязномъ, тъсномъ углу фабричныхъ моего брата гораздо веселъе и уютнъе, чъмъ въ этомъ домъ. (къ Демиду) Знаешь, старикъ: я—мужчина, но я тебъ откровенно скажу, что по временамъ—ссобенно осенью и зимой—мнъ въ

этомъ проклятомъ домъ жить страшно... Сидишь въ своей комнатъ, а туть еще вътеръ за окномъ бушуеть, воетъ... Слушаешь—слушаешь его и вдругъ тебъ представится, что ты не въ домъ, гдъ ты родился и вырось, а въ какомъ-то этакомъ нечистомъ мъстъ, гдъ ты долженъ непремънно пропасть и гдъ надъ тобой уже заранъе воютъ... Словомъ,—чортъ знаетъ, что такое! Такъ бы вотъ взялъ и сбъжалъ отсюда, куда глаза глядять.

Демидъ. И сбъти! Чего же? Пойдемъ со мной по святымъ мъстамъ странствовать.

Владиміръ. Ну, къ этому не ощущаю въ себъ ни малъйшаго желанія.

Демидъ. Оно, православный мой, въ тебъ, какъ видно, ни къ чему желанія-то нътъ.

Владиміръ. Твоя племянница, старикъ... Словомъ,—она очень нелюдимая женщина. Раньше у насъ бывало много знакомыхъ мужчинъ и женщинъ, а какъ она сдълалась женой моего брата, то черезъ годъ никто ни ногой.

Демидъ. Стало-быть отучила?

Владиміръ. Выходить такъ.

Демидъ. И хорошо. Непріятныхъ людей отъ себя надо держать подальше.

Владиміръ. Да? Знаешь что, старикъ? Я люблю стариковъ, охотно съ ними бесъдую, но тебя... Словомъ,—тебя я почему-то не люблю.

Демидъ. Старики-то не всъ одинаковые бываютъ.

Владиміръ. (угрюмо) Ты такой-же грубый, какъ и твоя племянница.

Демидъ. Это, должно быть, у насъ въ роду. Владиміръ. Ты не видалъ сегодня Аглаи? Демидъ. (оживляясь) Аглаи... Хорошая дъвушка!

Владиміръ. Я тебя объ этомъ не спрашиваю. Демидъ. И господинъ лекарь, который—я уже это замътилъ: постоянно за ней увивается, умственный человъкъ!

Владиміръ. Увивается, говоришь?

Демидъ. Да еще какъ!

Владиміръ. Я что-то этого не вижу.

Демидъ. Гдв тебъ? Ты—слъпъ. Ты себя, православный мой, не видишь...

Владиміръ. (въ раздумьт) Не понимаю, какътакой пень, можетъ увиваться. Я отъ него и словато, кажется, никогда не слыхалъ.

Демидъ. Говоритъ-то онъ, правда, мало. Онъ

все больше молчить да думаеть.

В ладиміръ. (злобно) Думаетъ? О чемъ онъ можетъ думать? Твой господинъ лекарь—грубый мужланъ. Трубинъ тоже сынъ мужика. Словомъ,—я ихъ понимаю... (грубо) Что-же я съ тобою говорю? Словомъ,—Аглаи не видалъ?

Демидъ. Нътъ.

Владиміръ. А не знаешь, гдѣ она?

Демидъ. А я почему знаю? Что я—сторожъ за ней?

(Владиміръ идеть въ аллею, но при вході въ нее сталкивается

съ Варварой. Варвара возвращается съ купанья; черезъ руку перекинуто полотенце. Съ секунду она смотритъ на Владиміра въ упоръ, съ отвращеніемъ. Владиміръ круто поворачивается и идетъ въ домъ, сильно хлопнувъ дверью. Варвара останавливается около Цемила).

Демидъ. (кивая головой на Владиміра) Не любитъ онъ тебя, дъвонька.

Варвара. Я это, дядя, знаю.

Демидъ. А за что?

Варвара. Подлъ онъ. Съ первыхъ же дней, какъ я вышла замужъ за его брата, посмотрълъ на меня скверно, а я съ нимъ не церемонилась.

Демидъ. Стало быть, и къ тебъ подкатывался?

Варвара (морщится). Было.

Демидъ. Да, дъла... Да и муженекъ-то тебя того... Вотъ на дняхъ еще мнъ на тебя жалился.

Варвара. Знаю. И это, дядя, знаю. (садится на стуль.

Демидъ. Плохое тебъ здъсь, дъвонька, житье.

Варвара. Не изъ хорошихъ. Молода была, неопытна. Не на ту дорожку напала.

Демидъ. Настоящій-то путь человѣку въ жизни сразу трудно замѣтить. А поживешь — увидишь.

Варвара. Думала, что—разъ буду богата— буду помогать людямъ. Вышло совсъмъ не то: ни себъ, ни людямъ.

Демидъ. Хуже этого мало что бываетъ.

Варвара. Ошибка моя, дядя, большая.

Демидъ. Да ужъ чего... Я даже того, какъ это ты на немъ обмишунилась, и не пойму.

Варвара (махая рукой). Върила ему. Думала, что все, что говорилъ, правду говорилъ.

Демидъ. Напрасно. Въ такихъ людяхъ, на которыхъ бъдный человъкъ работаетъ, правда-то ръдко уживается.

Варвара (вставая и хмуро). Словомъ, — какъ говоритъ Владиміръ, — ошибка моя, дядя, большая.

Демидъ (усаживая Варвару). Ты погоди уходитьто. А вотъ господинъ механикъ говоритъ, что тотъ и не человъкъ, который свою ощибку не постарается исправить.

Варвара (оживляясь). Дядя! Нравится онъ

Демидъ. Кто? Господинъ механикъ-то?

Варвара. Ну, да.

Демидъ. Еще бы! Онъ-то, такой орелъ. Да если бы я былъ бабой, я бы за нимъ на край свъта ушелъ.

Варвара (со смѣхомъ). А я вотъ, дядя, тоже... возьму да и уйду съ нимъ. Что ты на это скажещь?

Демидъ (внимательно вглядываясь въ Варвару). Что я могу сказать? Мое дъло—сторона. То время, когда старики молодыхъ учили, отошло.

Варвара (обнимая Демида). Дядя! Дядечка! Какъ я тебя любила, когда еще была дъвочкою.

Демидъ. А теперь развѣ не любишь?

Варвара. Нътъ—и теперь. Нельзя тебя забыть. Съ самаго ранняго дътства я помню тебя по отношению ко мнъ добрымъ, хорошимъ, ласковымъ.

Демидъ. Дъточекъ нельзя не любить. Ты тоже тогда была хорошая, слушала меня... Послушай меня, старика, и теперь. Человъкъ, дъвонька, если онъ чего желаетъ, долженъ всегда сдълать, какъ ему хочется.

Варвара. Постой, дядя. Вотъ, напримъръ, Владиміръ, мой мужъ, управляющій... Если они чего захотять, такъ они тоже должны сдълать.?

Демидъ. Ну, вотъ кого взяла. Мы говоримъ—
про человъка. Примърно, вотъ ты... Будешь ты
такъ жить, какъ живешь здъсь,—а что отъ этого
будетъ? Будешь всегда чувствовать непріятность,
недовольство жизнью... Кому какая польза?—Ни
тебъ, ни людямъ.

(Изъ дому выходить Аглая и идеть къ Варваръ и Демиду). Варвара. Это, дядя, такъ.

Демидъ. Ну вотъ. А если ты сдълаешь такъ, какъ тебъ кочется, то и сама ты ублаготворена, и людямъ, глядишь, пользу принесешь. Человъкъто, онъ только тогда пользителенъ для другихъ, когда самъ удовольствіе отъ жизни чувствуетъ-

Аглая (подходя). Можно мнв побыть съ вами? Варвара. Что за вопросъ? Пожалуйста. Особенныхъ секретовъ мы съ дядей не говоримъ.

Аглая (прохаживаясь). Золинъ тутъ не проходилъ?

Варвара. Не видъла. (къ Демиду). А я, дядя, слышала такъ: въ несчастъв люди—овцы, а въ счастъв—волки.

Демидъ. Это върно. Но не ковсъмъ оно подходитъ. Иной—достойный человъкъ, —ищетъ своего мъста въ жизни, и если его не находитъ, ему обидно; а ужъ коли онъ его разыщетъ —онъ себя оправдаетъ.

(Варвара задумывается).

Аглая. А въ томъ, что ты, дъдъ, сказалъ, смыслъ есть. Я съ тобой согласна.

Демидъ (въ объимъ). Разскажу я вамъ сейчасъ одну исторію. Видълъ я разъ такое несчастіє: оторвался камень отъ скалы и полетълъ внизъ... А одинъ человъкъ увидълъ это и—дай, молъ, я его остановлю. Ну, и всталъ камню на дорогъ.

Варвара. А камень-то большой?

Демидъ. Не маленькій.

Аглая. Вотъ безумецъ.

Варвара. Неужели онъ не понималъ, что камня ему не остановить?

Демидъ. Стало быть, не понималъ. Такъ и ты вотъ, про что я тебъ говорю, не понимаешь.

Варвара (подумавъ). Да, ты эту исторію то, дядя,

воть къ чему приплелъ.

Демидъ. Что, раскусила? Такъ и ты: полетълъ твой мужъ подъ гору—на дорогъ ему не становись (строго). Въдь ты ужъ не дъвочка. Должна понимать, что сколько съ нимъ не живи, а поль-

зы ни тебъ, ни ему... (хмуро) Можетъ быть, ты еще думаешь его спасти?

Варвара. Нътъ; объ этомъ давно не думаю. Демидъ (сурово). А тогда къ чему же тянешь канитель? Стыдно!

Варвара (красная отъстыда). Да, ты, дядя, правъ. (тихо) Я уйду отсюда.

Демидъ. Съ господиномъ механикомъ?

Аглая. Варя. Какъ бы я за тебя была рада.

Варвара. Нътъ, дядя, нътъ. Я уйду отсюда одна. Я буду, дядя, работать. Знаешь — я буду, какъ и прежде, когда была учительницей, — бъдная, бъдная.

Демидъ (почесывая затылокъ, разочарованно). А я думалъ—съ нимъ. Напрасно. Онъ — дъловитый человъкъ.

Варвара. А ты почему знаешь?

Демидъ. Ну? Пока здёсь живу, каждый день на фабрике съ нимъ вижусь.

Варвара (груство). Онъ меня, дядя, полюбить не можетъ. Развъ такая, какъ я, ему нужна?

Демидъ. Ну, ну... Этого, дѣвонька, не скажм... (Изъ дому выходить Ольга, за ней—Владиміръ. Онъ ньянъ).

Ольга. Что привязываешься? Почему я могу знать, гдъ она?

Владиміръ. Врешь. Знаешь. Словомъ—ты знаешь, но не хочешь говорить. (видить Аглаю—останавливается). Ага! Вотъ, гдъ вы? А я васъ ищу!

Аглая (холодно). Когда вы меня оставите въ поков?

Владиміръ (усмъхансь). А этого я вамъ не скажу. (подходя ближе и серьезно). Здъсь люди... (Косо поглядываеть на Варвару и Демида). Но чортъ съ ними! Аглая. Не отталкивайте меня отъ себя. У васъ музыкальный талантъ, у меня—тоже. Словомъ—вы мнъ родная натура! Пойдемте вмъстъ въжизнь. Я буду работать... (Аглая отварачивается отъ Владиміра, смотрить въ чащу деревьевъ).

Ольга (въ Владиміру). Иди. Иди отсюда. На тебя до какой степени ты нализался, — противно смотръть.

Владиміръ (желчю). И не смотри. Братъ тебъ противенъ. А Ивинъ не менъе моего пьетъ, а ты... словомъ — ты взираешь на него безъ отвращенія.

Ольга. И буду взирать. Онъ лучше, чѣмъ ты. Владиміръ. Желаю счастья! (къ Аглаѣ). Отвернулись. Словомъ,—не можете на меня смотрѣть. И не надо! Но я... Отнынѣ я при всякомъ случаѣ, когда вы будете съ этимъ мужикомъ—Золинымъ, я буду вслухъ напоминать... (Поворачивается и идя въ домъ) словомъ, что вы здѣсь—приживалка.

Ольга. Вотъ здъсь и поживи. Нътъ, надо поскоръе отсюда убираться.

Варвара (съ удивленіемъ). Куда?.

Ольга. Я ръшила утхать въ Полтаву. Тамъ у меня есть кое-какіе знакомые.

Варвара. Надолго?

Ольга. Туда—не знаю на сколько; но отсюда навсегда. Что меня обязываеть здёсь жить?

Варвара. Да, конечно. Ты обезпечена.

Ольга. Мив теперь просто кажется непонятно: ради чего я здвсь жила года, скучала, смотрвла на пьянство, на скандалы своихъ братьевъ? Словно сввтъ-то для меня клиномъ сошелся.

Варвара. Почему ты надумала такъ сразу? Ольга. Я не сама. (указывая на Демида). Меня

вотъ, дъдъ, надоумилъ. (обнимая Демида). Дъдынька! Хорошій! Хочешь я тебъ большой подарокъ слълаю?

Демидъ (освобождаясь). Ну, ну. Какой подарокъ! Ничего мнъ не надо. А если ужъ кочешь сдълать мнъ подарокъ,—мои слова не забудь.

Ольга. Нътъ, нътъ. Я все, дъдынька, помню! Я все, что ты говорилъ, обдумала.

Демидъ. Коли обдумала, такъ значить хорощо. Живи, сама себя не забывай, да и о другихъ людяхъ помни!

Варвара (порывисто обнимая Ольгу). Я за тебя Ольга, рада.

(Изъ аллеи появляется Золинъ).

Аглая (бросаясь въ нему). Какъ долго! Какъ долго! У, противный медвъдь, гдъ ты пропадалъ? (спохватываясь). Вы получили мое письмо?

Золинъ (смёнсь). Ты... Вы... (Серьезно). Да, получилъ (подчеркивая) твое письмо.

Аглая (тихо). Что же вы скажете? Золинъ (просто). Что скажу? Да скажу, что то, что ты предложила въ письмъ, я предлагалъ тебъ на словахъ раньше. А посему не надо бы тебъ и писать, а встрътила бы меня и сказала: я согласна.

Аглая. Думала и такъ сдёлать, да побоялась: а вдругь онъ раздумаль?

Золинъ. Ну, вотъ.

Аглая (ко всёмъ—со счастивымъ смёхомъ). Объявляю: (указываеть на Золина). Этотъ противный медвёдь—мой женихъ!

(Ольга и Варвара брасаются къ Аглав. Обмвив иоцвлуями). Демидъ (подходя къ Золину—серьезно). Какъ будешь, господинъ лекарь, жить-то?

Золинъ. Просто, дъдъ.

Демидъ. Сказано хорошо. А все-таки. Какъ ты думаешь про жизнь-то?

Золинъ. Жизнь, дъдъ, вещь серьезная. Она точно темный и невъдомый лъсъ, въ который—какъ ни бейся, ни колотись—а итти надо...

Демидъ (качая съ одобреніемъ головой). Такъ... такъ, сынокъ. А дальше?

Золинъ. Живу я и вижу, что иные люди стоятъ передънимъ и думаютъ: ,, опасно въ него итти: дорогъ-то не видно . А иные—посмълъе—пойдутъ въ него, а пути-то не знаютъ. Тутъ бы имъ надо глядъть въ оба, да въ оба, а они—струсятъ, растеряются и, зажмуривъ глаза, идутъ куда попало.

Демидъ. Такъ... Ну, а ты что будешь пълать?

Золинъ. Стоять, дъдъ, на одномъ мъстъ не

буду... Пойду—не сроблю! Я, дёдъ, здоровъ, молодъ. Люблю работать.

Демидъ (соединяя руки Аглаи и Золина). И идите, дътки! Протаптывайте пока узенькія тропинки,— другимъ ужъ слъдъ есть,—а тамъ, какъ къ лъсу-то попривыкнете и съ одного взгляда станете различать, гдъ правая, гдъ лъвая сторона,—можетъ быть, найдете и большую поляну... А ужъ на ней—ширь, свобода... Есть гдъ развернуться!

Варвара (съ восхищениемъ). Ай, да дядя! (Ольга и Аглая обнимаютъ Демида).

Ольга. Ты, дёдъ, всёхъ хорошо научишь; всёмъ добра желаешь. И ласковъ ты ко всёмъ.

Демидъ (освобождаясь отъ объятій женщинъ). Ну, ну... Не скажи, дъвонька! Добра-то, правда, я всъмъ желаю, но не ко всъмъ ласковъ. (Золину). Ну, вотъ ты, сынокъ, понимаешъ, что жизнь—вещь мудреная и что поддаваться ей нельзя. Пойми ты еще, сынокъ, и то, что лбомъ въ нее со всего размаха ударить,—иной разъ ухъ, какъ опасно... Иной человъкъ не разсчитаетъ силы да кръпости своего лба и... вдрыскъ расшибется!

Золинъ. Я этого, дъдъ, не боюсь.

Демидъ. Зачъмъ бояться? Надо дълать такъ: пъзь впередъ смъло, грудью, а когда поймешь, что не подъ силу: осади немножко назадъ, да помозгуй, что, молъ, и какъ? Въ этомъ, сынокъ, все!.. Не всякую дугу силой гнутъ: къ иной на помощь надо и умъ прибавить.

Золинъ (жметъ руку Демида). Спасибо, дъдъ. Боль-

шое спасибо. Я твоихъ словъ не забуду. (Харцызовъ быстро выходить изъ дому. Онъ—сильно возбужденъ. Его никто не замъчаетъ).

Демидъ (обнимая одной рукой Аглаю). Ахъ, ты, елка моя хорошая! И молодецъ же ты. Если бы былъ молодъ, самъ на тебъ женился. (Всъ смъются).

Аглая (весело). Аябы за тебя, дёдъ, пошла. Ей-Богу, пошла.

Демидъ (съ восхищеніемъ). Подвела ты меня!. Здорово подвела! Я только было подумывалъ: а надо, молъ, ее подбить удрать отсюда. А она—на, поди! Безъ меня обошлась (указывая на Зохина). А если бы его тутъ не было, тогда что?

Аглая. Все равно, одна бы отсюда ушла. У меня, дъдъ, талантъ. Буду надъ нимъ работать.

Харцызовъ (подходя и такъ безпомощно, чуть не плачеть). Господа. Господа. Что это такое? У меня при фабрикъ контора... Но это не контора, а, какъ я сейчасъ узналъ,—пріютъ для шайки грабителей!

Золинъ. А атаманомъ ея—вашъ управляющій? Харцызовъ. Да, да... И это я узналъ...(хватая руку Золина). Но дъло сейчасъ не въ этомъ. На фабрикъ чуть-ли не бунтъ... Мнъ кричали: "Жуликъ"!—Вы мнъ должны помочь!

Золинъ. Въ чемъ?

Харцызовъ. Успокоить рабочихъ. Васъ они любятъ. Должны сказать имъ, что я въ грабежъ ихъ не виновенъ.

Золинъ (освобождая руку). Я этой каши не за-

285

вариваль, а посему и расхлебывать ее не желаю Харцызовъ. Но... (Изъ дому идеть Лісницкій).

Золинъ. Не желаю слушать. Кстати: я имъю вамъ заявить, что съ сегодняшняго дня больше у васъ не служу.

Харцызовъ. Почему?

Золинъ (сурово). Изъ рабочихъ очень много нервно-больныхъ, а у васъ при больницъ нътъ самыхъ необходимыхъ медикаментовъ.

Харцызовъ. На этотъ счетъ вы должны были обращаться къ Лъсницкому.

Золинъ. Обращался. Выслушалъ, и далъ такой совътъ: "Палецъ рабочій отшибеть—свинцовая примочка; простудился — хины; животъ болитъ—касторки стаканъ вдуть. Больше, по его мнѣнію, заводская больница вичего не должна имѣть. А между тѣмъ — эти нервно-больные... Сколько ихъ? и какіе?—Ужасъ! (съ бѣшенствомъ). Но что же я для нихъ могу сдѣлать? У меня даже валерьянка не всегда имѣлась!

Лѣсницкій (подходя и съ наглой усмѣшкой). Не волнуйтесь молодой человъкъ. Скоро я для вашихъ нервно-больныхъ выпишу вамъ въ помощники профессора-невропатолога.

Ольга (къ Лъсницкому съ поклономъ). Здравствуйте, пожалуйста!

(Идеть въ глубь сада. За ней; въ моменть сообразивъ ея выходку, быстро идуть Варвара, Аглая, Золинъ. Харцызовъ тупо смотритъ имъ всяждъ).

Демидъ (вставая). Я жилъ лакеемъ у одного

барина. Онъ часто говориль два такихъ мудреныхъ слова. Скажу и я ихъ... (дёлаеть паузу, во время которой смотрить то на Лесницкаго, то вслёдъ уходящимъ). "Вотъ такъ географія съ исторіей".

Лъсницкій (со стиснутыми зубами). Ты...

Демидъ. Эхъ, православный мой. Какъ ты самъ себя уничтожилъ! Мужчина ты молодой, въ соку еще, а бабочки отъ тебя, словно отъ чумной собаки, бъгаютъ. (качая головой). Нехорошо.

Л в сницкій. Ты... старикъ! И такія слова...

Демидъ. Эхъ! Пойду-ка и я за ними. (уходить).

Харцызовъ (старается говорить колодно, оффиціально, но злыя нотки нёть-нёть да и прорываются въ его голосё). Отъ одного вашего взгляда, почтеннёйшій, всё сбёжали. Какъ отъ чумной собаки! Это — здёсь. А на фабрикъ. Я сегодня все узналъ... Это возмут-тительно! Вы... (быстро) вы, почтеннёйшій, всю контору, мою контору, набрали изъ жуликовъ и вмёсть съ ними грабили рабочихъ, грабили мен-ня...

Лѣсницкій (смёло). Но позвольте! Все, что вы сказали,—пустяки. Вы или невфрно сами поняли, или васъ кто-нибудь науськалъ. Это я вамъ выясни все потомъ. А теперь у меня дъло къ вамъ поважнъе.

Харцызовъ. Никакихъ дълъ, почтеннъйшій, разбирать я не хочу. Мнъ совстмъ не до нихъ.

Лѣсницкій (спокойно). На фабрикь — съ рабочими бѣда; иду сюда, чтобы посовътоваться, а тутъ тоже попадаю въ неудачную минуту.

Харцызовъ. У меня нетъ неудачной минуты... У меня вся жизнь неудачная! (сдерживая себя). Но къ дълу. Къ дълу. Обстоятельства, почтеннъйшій, теперь сложились такъ, что вы должны оставить управленіе моей фабрикой.

Лъсницкій (пораженный). Что?!

Харцызовъ. Я, почтеннъйшій, васъ увольняю. Лъсницкій. Но условіе... Вы о немъ забыли? По нему я имък право служить у васъ ещеполтора года.

Харцызовъ (гордо). Я вамъ уплачиваю за нихъ полностью.

Л в сницкій (думаеть—и гордо). Не надо.. Я ухожу безъ всякихъ уплатъ. Я хотвлъ бы только знать: — конечно, если вы это найдете нужнымъ сообщить мнв—сами вы надумали меня уволить, или вамъ кто посовътоваль?

Харцызовъ. Это, я думаю, почтеннъйшій, вамъ безразлично.

Лъсницкій. Пожалуй, что и такъ. (тепло). Итакъ,—я ухожу. Но повърьте, глубокоуважемый Иванъ Семенычъ, что изгнанный вами, я не буду питать противъ васъ ничего враждебнаго, кромъ хорошихъ воспоминаній. Съ того времени, какъ я потерялъ свое состояніе и пошелъ служить, мнъ много приходилось видъть хозяевъ, но такого искренняго, безкорыстнаго, гуманнаго человъка, какъ вы, я встрътилъ впервые.

Харцызовъ (синсходительно). Что върно, то

върно. Вы, почтеннъйшій, понимали меня болье другихъ.

Л в сницкій (вдохновенно). Какъ преданный вамъ человѣкъ, я хочу въ послѣдній разъ предупрецить васъ, что вы окружены врагами... Вы должны быть осторожны. Очень осторожны! Вашъ семейный очагъ не застрахованъ отъ оскверненія... Ваша жена... Боже! Что это за женщина. Какіе у нейглаза...— обольстительные, манящіе! Смѣхъ... Она рѣдко смѣется, но онъ... серебристый, звонкій! А ея станъ, ея молодыя, упругія, какъ будто бы вѣчно-дѣвственныя формы! И такую женщину—предупреждаю: вы можете потерять... Трубинъ, онъ...

Харцызовъ (понуривъ голову). Знаю. Знаю. Я это давно замътилъ. И давно этого боюсь...

Лвсницкій. Запомните, глубокоуважаемый, Иванъ Семенычь, что я вамъ сейчасъ скажу. Это трудно говорить, больно, но вамъ—вамъ я говорю это первому—я скажу. Мы по образу жизни далеко, далеко ушли отъ людей первобытныхъ временъ. У нихъ, когда у дикаря отбивали жену, онъ бросался на своего врага и, если былъ сильнее его, перегрызалъ ему горло зубами. А у насъжена на глазахъ у мужа заводитъ амуры, а онъ смотритъ и, благодушно улыбаясь, думаетъ: "Пускай-де немного поразвлечется"! Потомъ узнаетъ, что разлечение жены зашло слишкомъ далеко... (наставляетъ на своемъ лбу рога. Харцызовъ болъзненно морщится). Узнаетъ и... молчить! Не возмущается! Ему

289

нельзя: онъ человъкъ культурный и горло негодяю, который оскверниль непорочность и чистоту его очага, перегрызть, какъ дикарь, не можетъ. Говорять: пивилизація, прогрессь, культура очеловвачили насъ. "Очеловвачили"...-Васъ, глубокоуважаемый Иванъ Семенычь, -- это видно по васьда! а другихъ, котя бы у всёхъ тёхъ, которые окружають нась, - гдв у нихь нравственные **VCTOИ?** 

Харцызовъ (какъ эхо). "Гдв у нихъ нравственные устои?" (оживляясь) Знаете, Лівсницкій... черезь мъсяцъ я поъду на съъздъ фабрикантовъ-мануфактуристовъ. Къ тому времени мы съ вами должны заготовить ръчь...

Л в сницкій. Заготовимъ, заготовимъ.

Харцызовъ. И надо такую блестящую, какъ фейерверкъ. Понимаете? Я уже о ней подумываю. И воть это... да... Какъ вы сказали? Ага! "Нравственные устои". Это надо непременно вклеить въ рѣчь.

Лъсницкій. Вклеимъ. Ръчь для насъ съ вами-пустяки! Главное: не забудьте того, что я вамъ говорилъ сейчасъ. Я самъ на себъ это испыталь. Я поняль, поздно поняль, что, если хочешь сохранить свою семью отъ распада, то временами надо быть ръшительно-жестокимъ. Видишь, что въ домъ вошелъ не человъкъ, а паразитъ, который только тымь и живеть, что подкапывается подъ семейные устои, немедленно, не обращая вниманія на протесты жены, -вонъ его!

Харцызовъ (со стономъ). Да... да... Я тоже такъ думаю... Но... я какъ-то на это не могу все еще ръшиться.

Лъсницкій. Пустяки. Вы хозяинь въ своемъ домв. А хозяинъ только тогда хозяинъ, когда онъ, дъйствительно, хозяйничаетъ въ своемъ домъ какъ хочетъ.

Харцызовъ. И я такъ думаю.

Лвсницкій. Про Трубина я вамъ ничего не буду говорить: вы сами знаете, что онъ за птица. Помимо его вы должны еще считаться со стари-

Харцызовъ. (Съ недоумъніемъ). Съ какимъ старикомъ?.

Лъсницкій. Дядя вашей жены.

Харцызовъ. При чемъ онъ?

Лъсницкій. Такъ вы не знаете, что онъ за гусь? Эхъ, вы, святая простота. Вы ни разу съ нимъ не говорили?

Харцызовъ. Говорилъ. Но особеннаго въ немъ ничего не нашелъ. Даже какъ будто-бы глуповать.

Л В с н и ц к і й (улыбаясь). Это онъ такъ... прикидывается. (Изъ чащи деревьевъ выходять Ивинъ и Демидъ. Идуть къ дому). Вотъ онъ кстати и идетъ. Хорошо бы его сейчасъ позвать да потолковать съ нимъ. Я! какъ онъ разсуждаетъ, не разъ слышалъ.

Харцызовъ. Гдъ?

Лъсницкій. На фабрикъ.

Харцызовъ. (Изумленъ). Онъ и туда ходитъ,

291

Л всницкій. Къ Трубину, Какъ же, друзья? Водой не разольешь!

Харцызовъ. Вотъ оно что... (къ Демиду). Старикъ, поди-ка сюда!

Лемидъ (останавливаясь). А на что я тебъ, православный мой, нуженъ.

Харцызовъ. Скучно. Вотъ и хочу съ тобой поговорить.

Демидъ. О чемъ будемъ говорить-то?

Харцызовъ. Да о чемъ придется. (Демидъ идетъ къ Харцызову, Ивинъ за нимъ).

Ивинъ. (Къ Демиду). Сегодня съ ранняго утра, чтобы не тащиться сюда, пиль изъ водки и пива стаканами ерша. Думалъ, что часамъ къ 12 дня буду безъ сознанія пьянъ, а вышло, что я-ни въ одномъ глазу. Дома-тоска. Притащился сюда. А что здъсь? (безнадежно машеть рукой). Лошадиная у меня натура. Слона можно скоръе споить.

Харцызовр. Не хнычьте. Ради Бога не хнычьте! Безъ васъ тяжело. Хотите пить, идите въ мой кабинетъ.

Ивинъ (грубо, съ усмъшкой). Ну, къ вамъ я не пойду. На это у меня Владиміръ есть.

Харцызовъ. (Къ Лъсницкому, указывая на Ивина). Чъмъ человъкъ гордится? (къ Ивину, злобно). Вообще, почтеннъйшій, прошу быть со мной поделикатнъе! Кто вы-учитель безъ мъста. А я... я извъстный на всю Россію фабриканть!

Ивинъ. И благодари Бога. Ибо, если бы не былъ имъ, то подохъ бы съ голода.

Харцызовъ. Никогда. Я образованный человвкъ. (Гордо). Курсъ коммерческаго училища что-нибуль да стоитъ.

Ивинъ. (Идетъ къ дому). Зачемъ врать? Ведь всемь известно, что за тупость изъ второго класса исключили.

Харцызовъ. Я васъ презираю. (Лесницкому, тихо). Онъ не опасенъ?

Л в сницкій. Это винная бочка. Грубъ только. Харцызовъ. Съ этимъ ужъ я мирюсь.

Лвсницкій. Хотя, конечно, лучше бы было если бы и его того...

Харцызовъ. Обсудимъ. Все сегодня обсудимъ. (Къ Демиду). Ну, старикъ, давай поговоримъ,

Пемидъ (усаживается, какъ ему наиболье удобно въ кресло). Хорошо. Ты, православный мой, начинай, а я послушаю.

Харцызовъ. Мнъ не съ чего начать. Я человъкъ молодой, нигдъ не бывалъ, а ты, поди, всю Россію исходилъ.

Демидъ. Гм... да... походилъ много. (Долгая пауза).

Лъсницкій. А ты, старець, судя по тому. какъ ты въ креслъ усълся, должно быть, вездъ себя хорошо чувствуешь?

Демидъ. Вездъ чудесно.

Лвсницкій. Человекь ты простой, а чувствуещь себя между господами свободно. Много ты ихъ видалъ на своемъ въку?

Демидъ. Немало.

Лъсницкій. Ну, какъ ты на господъ вообще смотришь?

Демидъ. Просто. Иные, моль, хорошіе, а иныесъ виду баринъ, а въ душъ на подобіе камня: сверху гладокъ, полированъ, а долбони его—грубый булыжникъ.

Лъсницкій. Вонъ какъ!

Демидъ. Такъ, православный мой.

Лъсницкій. Да... Скажи, пожалуйста, старецъ, что это такое: зачъмъ ты всъхъ зовешь "православный мой"?

Демидъ. Затъмъ, что ходишь по Россіи и видишь, что люди все въ ней живутъ православные. Ну, и надумалъ ихъ такъ звать.

Лѣсницкій. Неправда, старецъ. Вотъ Трубина, я слышалъ, ты зовешь, "господинъ механикъ", Ивина—"господинъ учитель. Это почему?

Демидъ. Да такъ.

Лъсницкій. Не увиливай, старецъ. У тебя "такъ" ничего не бываетъ. Скажи, по чистой совъсти: почему людей разно зовещь?

Демидъ. По чистой совъсти? Хорошо. А это, православный мой, потому, православныхъ-то у насътьма-тьмущая, а христіанъ то среди нихъ чтото мало видать. Ну, вотъ ихъ другимъ именемт и отличаешь.

Л в с н и ц к і й. Мудришь ты, старець! Мудришь, и, какъ видно, въ душв никакихъ ты законовъ ни божескихъ, ни человъческихъ не признаешь.

Демидъ. Безъ закона жить нельзя. Законъ у

меня есть. Кръпкій законъ: въ душъ написанъ. Лъсницкій. Вотъ въ томь-то и дъло, что у тебя написанъ, да не похожъ онъ на тъ, которые у всъхъ.

Демидъ. Это-то и хорошо. Если онъ у меня свой, значить, я его выдумалъ. А человъкъ такъ, съ бухту-барахту, никогда не станетъ думать. Значить, мнъ нужно было выдумать его. А это, православный мой, какъ ты думаешь, легкое дъло? Съ осла али со свиньи закона не возьмешь и не выдумаешь. Надо его брать и выдумывать съ людей, а ихъ въ міръ Божіемъ тьма-тьмущая; Вотъ ты и походи и посмотри на нихъ да и подумай...

Харцызовъ. Но развъ можно жить съ такимъ закономъ?

Демидъ. Жить? Живешь же вотъты, а у теблесть какой законъ?—Никакого. (вставая и убъжденно). Нътъ върнъе и правильнъе закона, которому научить сама жизнь.

Харцызовъ. То-то ты свой законъ въ моемъ домъ всемъ и навязываешь.

Демидъ. Тебѣ не навяжу! Тебѣ онъ не подкодитъ. А (другимъ, кому слѣдуетъ, отчего же? Человѣческая душа-то, православный мой, она точно лампада. Пока въ ней есть маслице, а это маслице-то все то, чѣмъ живъ человѣкъ,—она горитъ корошо, умилительно! А какъ останется маслица-то мало...

Лъсницкій. А отчего мало?

295

Демидъ. Выжгутъ... Ну, и начнетъ она ми гать да чалить... Статья. Какъ туть человъку быть? Надо маслица подлить, а какъ это сдълать, иной и не знаетъ.

Лъсницкій (смъясь). Ну, и философія.

Демидъ (угрюмо, съ презрѣніемъ). Да, философія. Человъкъ ты неглупый, очень неглупый. И если бы захотёль, то вмёсто зла, много бы могь посёять добра.

(Идеть въ домъ, Лъсницкій хохочеть).

Лѣсницкій (къ Харцызову). Видъди, что онъ за цаца?

Харцызовъ. Да. Должно быть, очень вреденъ, старый чортъ. А главное-возмутительно: обращается на "ты", держится фамильярно! За панибрата. (пауза). Знаете, теперь, когда вы мив открыли на все глаза, о вашемъ увольнении ръчи быть не можетъ. Прошу меня извинить.

Лѣсницкій. О, что вы, глубокоуважемый...

Харцызовъ. Я такъ одинокъ! Мнв теперь нужно съ вами насчетъ многого посовътоваться. Подождите: я на моментъ заверну въ домъ, а потомъ пойдемте къ вамъ. Тутъ могутъ помъщать. У васъ посвободнее. (Идеть въ домъ. Изъ дому выходить Ивинъ. У него въ рукахъ бутылка водки. Харцызовъ брезгливо отъ Ивина сторонится).

Ивинъ. Попью на свободъ. Эхъ, райскія кущи, когда я допьюсь до васъ. (идеть къ Лесницкому).

Харцызовъ (останавливаясь у входа въ домъ и указывая на Ивина). Лѣсницкій! Культура, прог. грессъ, цивилизація очеловъчили насъ... А его? (со смёхомъ исчезаеть въ домъ. Глухой, невнятный ронотъ толны слышенъ за ствнами дома).

Ивинъ (глядить на Лесницкаго). Вотъ действи. тельность... Когда ни взгляну на васъ, всегда на вашей физіономіи вижу подлость.

Лъсницкій (вызывающе). Что?

Ивинъ. Ничего?

Івсницкій. Я много отъ васъ уже съвлъ дерзостей. Но теперь ихъ всть больше не хочу. (Намтупая на Ивина). Вамъ кто далъ право такъ ко мий относиться)?

Ивинъ (спокойно). Ваша подлость. (За стеной сада вдругъ раздается возбужденный гулъ толиы. Выделются возгласы "Жуликъ" Спалить фабрику". Лесницкій бросаетя въ чащу сада. Потомъ слышенъ его голосъ: "Господа. Тоспода, успокойтесь. Вы вст будете удовлетворены. Идите ейчасъ же въ контору". Гулъ толиы замираетъ. Голесъ Лъницкаго: "Хозяинъ и я не винсваты. Виноваты служащіе ві конторъ. Всь они будуть уволены и впредь ничего подобнаго не будеть ". Харцызовъ выбъгаеть изъ дому и испуганно предушивается. Толпа, уходя, глухо рокочеть. Появляется Лѣсницкій).

Хартызовъ. Что такое? Что за шумъ? Лвсни и кій. Рабочіе. Я ихъ успокоилъ. Ушли. Придется нъкоторыхъ удовлетворить.

Харцізовъ. Ну, ну... Это еще подумаемъ. Повадки мъ, мерзавцамъ, давать не слъдуетъ. А теперь идмте къ вамъ.

Л в сницкій (идя къ Харцызову). Прежде зайдемъ

волна.

въ контору. (Исчезають въ домъ. Ивинъ ложится на зеилю въ тънь деревьевъ. Пьетъ водку прямо изъ горла бутылки).

## **ДЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.**

(Оно происходить послё третьяго черезь день. Часовъ восямь вечера. Богато, со вкусомъ обставленная гостинная, много пяйтовъ, рояль. На дворё дождь. Слышно, какъ по временамъ дождевыя капли быють въ окна. Гостинная освёщена элекрической люстрой. Окна завёшены тяжелыми, темными штогами. Въ гостинной: Варвара, Ольга, Ивинъ, Трубинъ, Демидъ Влациміръ. Варвара осматриваетъ цвёты. Трубинъ стоитъ около окна съ Демидомъ. Ольга—въ дорожномъ костюмё съ кожаной сумкой черезъ плечо).

Владиміръ (бродить по гостинной, — какъ-сы самъ съ собой). Что это? Словомъ—какъ можно такъ поступить?

Демидъ (умильно). Вотъ такъ дождичењ! Милліон з съ неба падають!

Владиміръ. Какъ можно такъ поступть? Ивинъ. О чемъ, Владиміръ, говорище

Владиміръ. Аглая... Аглая... Словом — здѣсь она почти изъ ребенка выросла во взролаго человѣка, а уходя отсюда навсегда съ эимъ несчастнымъ студентишкой, никому ни слва!

Ивинъ. А тебъ, должно быть, жал, что она не спросилась тебя? Владиміръ. Словомъ — ея поступокъ, это не поступокъ сознательнаго человъка. Сознательные люди тайно отъ всъхъ не уходятъ.

Ольга. И вовсе не тайно. О томъ, что она увзжаетъ, было извъстно миъ, Варъ.

Владиміръ (круго останавливается—пораженный). Да? Что же ты мнъ объ этомъ не сказала?

Ольга. Къ чему? Чтобы ты сдълалъ скандалъ? Владиміръ (злобно). Да, конечно... Словомъ—я что...

Ивинъ. Владиміръ, имъй совъсть. Припомни всъ свои поступки по отношенію къ Аглав— и молчи!

(Владиміръ, взглянувъ съ ненавистью на Ивина, потомъ на остальныхъ, съ низко понуренной головой быстро уходитъ въ правую дверь).

Ивинъ. Да, Аглая и Золинъ-молодцы! Мало говорили, а подумали и сдълали.

Ольга (къ Ивину). Ихъ вы одобряете, а сами много говорите, по ничего не дълзете.

Ивинъ. Я—статья особая. Мнъ уже въ жизни нечего дълать.

(Изъ той двери, въ которую ушелъ Владиміръ, въ гостинеую врываются мягкіе, точно что-то грустно-грустно оплакивающіе звуки віолончели. Всъ съ минуту слушаютъ).

Трубинъ (въ Изину). Вашъ пріятель музицируеть?

Ивинъ. Кому же больше? (въ раздумьф). Вотъ удивительно: когда Владиміръ играеть, тогда я забываю, что такое онъ. Слушаешъ и чудится,

299

что передъ тобой корошій человъкъ. Въ такія минуты я его искренно люблю. (наклоняется къ Ольге и что-то техо ей говоритъ).

Трубинъ. Просто: у дурного человѣка хорошій таланть.

Демидъ. А я, господинъ механикъ, думаю не такъ: у испорченнаго человъка хорошая душа... Она—умнъе разума... Ну, вотъ она и плачетъ по хорошему человъку...

Трубинъ. Можетъ быть, старикъ, и такъ. Я музыки хорошо не понимаю.

Ольга. (Отвъчая шопотомъ Ивину, въ концъ произносить чуть слышно фразу). По вашему, всегда хорошо то, что грубо и жестоко.

Ивинъ. Это оттого, что меня самаго жестоко били.

Ольга (тихо). Если бы вы когда-нибуь любили женщину, то вы были бы мягче.

Ивинъ (встаеть и въ сильномъ волненіи ходить). Ну, нътъ. Какъ разъ наоборотъ. Я нъкогда любилъ—и глубоко любилъ. Но я въ любимой дъвушкъ жестоко ошибся... До сближенія съ ней я совмъстную жизнь представлялъ чъмъ-то въ высшей степени красивымъ, содержательнымъ, но не то вышло на дълъ... (ръзко и гордо). И вотъ я предпочелъ: лучше быть всю жизнь одинокимъ—я люблю дътей,—не имъть радостей отца, лучше быть, какъ нъкоторые думаютъ про старыхъ холостяковъ, быть въ полномъ смыслъ несчастнымъ, чъмъ сознательно

имъть жалкую, унижающую человъка пародію на счастье.

Ольга (груство). Не пойму я этого. По-моему—лучше маленькое счастье, чёмъ быть совсёмъ безъ него.

Ивинъ. Пусть такимъ счастьемъ пользуются другіе.

Ольга. И остались одинокимъ.

Ивинъ. Пусть. Я гордъ въ своемъ одиночествъ, ибо не женщины обходятъ меня, а я самъ ихъ избъгаю. (Звуки віолончели тихо и скорбно замирають).

Варвара. Ивинъ, не понимаю, въ чемъ главная причина, которая понудила васъ съ ней разойтись?

Ивинъ (угромо). Причина та: я думалъ, что она такая дорогая находка, которой жизнь вознаградила меня за все мое тяжелое, а вышло, что жизнь, въ лицѣ ея, подала мнѣ жалкую милостыню. (съ бѣшенствомъ). Противно, до болѣзненной горечи противно пить такое молоко, съ котораго тщательно и давно спиты сливки, но которое подается съ безсовъстными и наглыми увъреніями, съ омерзительной фальсификаціей, что оно еще будто бы не тронуто!

Ольга. (тихо). И вы этого не могли простить? Ивинъ. Не могъ. Если въ чувствъ мужчины и женщины нътъ уваженія другъ къ другу, — а уваженіе, — это цементъ того, что называютъ любовью, — то такое чувство противно. Какъ можно выносить ту женщину, которая тысячу разъ го-

ворила человъку, что ея чувство выросло на уваженіи къ нему, а на дълъ отравила, осквернила ложью всъ лучшія чувства его души и сердца-Ольга. Нужно было простить.

Трубинъ. Да, но въ такомъ случав, если бы дъвушка эту непріятную и горькую правду сказала своевременно.

Ивинъ. Вотъ-вотъ! Обманъ отравилъ мнъ все. Я имъя доказательства, могъ бы вынудить у ней правду, но къ чему? Дешева и такъ же противна, какъ и ложь, та правда, которая вынуждена.

Варвара (какъ бы шутя). Вы оба жестоки. (къ Демилу). Дядя, скажи: можно простить человъка, когда онъ, побоясь сказать правду, сказаль ложь.

Демидъ. Можно, да только такъ: Богъ, Онъ, говорятъ, милосердъ; милосерднъе Его человъкъ будто бы не можетъ быть, но и про Него говорятъ, что Онъ пускаетъ гръшника въ рай только тогда, когда гръшникъ чистосердечно во время раскается.

Трубинъ. Хорошо, дъдъ, сказано.

Ивинъ. Спасибо, старикъ, что за меня сказалъ, а не за племянницу.

Демдъ.. Ну, что племянница? Племянница не правда, она не спасетъ.

Ольга. Вы просто всё трое ненавидите женщинъ.

Трубинъ. Напрасно такъ думаете. Я върю, что хорошая женщина, это—поэзія жизни.

Ивинъ (ядовито). Я тоже не женофобъ. Я тоже

люблю женщинъ. Но съ тъхъ поръ, какъ одна изъ нихъ обожгла меня, люблю такъ: на многихъ изъ нихъ хорошо и пріятно посмотръть только издали.

Варвара (спокойно). Ивинъ. Не злитесь. Вы сейчасъ сказали про многихъ женщинъ горькую правду. Но нъкоторыхъ изъ нихъ и нельзя винить въ томъ, что онъ плохія. У иныхъ жизнь сложится изъ мелочей въ какое-то нельпое гнетущее недоразумъніе такъ, что все хорошее постепенно у женщины исчезаетъ.

Трубинъ. Это не служить оправданіемъ. Надо уходить отъ такой жизни.

Варвара. Надо... Надо... Я тоже думаю, чтобы люди были сильные, смылые, такъ какъ жизнь, это—все равно, что выковой наслыдственный домъ. Съ его стынами, обстановкой люди сроднились, но обстановкато ужъ тяжела, неудобна; стыны гнилы, трухлявы такъ, что вотъ-вотъ рушатся. Выходитъ, что какъ ни бейся, ни колотись, но въсилу самосохраненія домъ надо ломать и строить другой. (Тише). Но... пока все думаю...

Трубинъ. Нечего думать. Надо строить. Каждое покольніе обязано для будущихъ потомковъ
создавать не болье прочное и удобное и не изъ
самосохраненія зданіе жизни, а болье совершенное и удобное, чьмь то, которое унасльдовано
отъ предковъ. Понимаете: это безъ конца! Ибо,
что такое жизнь? Жизнь—глина, скульпторъ—
человькъ. Нужно давить, мять жизнь до тьхъ

поръ, пока она не Судетъ годнымъ матеріаломъ для созданія художественныхъ формъ. Но какими художественными формами удовлетвориться скульпторъ нашего времени, ими не удовлетворенъ будетъ скульпторъ будущаго. Разрушать и созидать—вотъ въчный девизъ человъчества.

Ивинъ. И неужели безъ конца?

Трубинъ. Говорять, что есть грань, дальше которой художественное творчество человъка идти не можетъ. Но я не върю въ это. Каждая эпоха родитъ своего генія, а геній создаетъ новую эпоху.

Ивинъ (медленно). У васъ кипучая жизнь въ

Трубинъ. Иначе не могу. Жизнь имъетъ для меня прелесть только тогда, когда она—могучая ръка, бурный водоворотъ. Устанешь—короткій отдыхъ, и снова тянетъ къ борьбъ, къ опасностямъ...

Ивинъ. У васъ—смѣлая мысли о будущемъ... А у меня: о будущемъ я не думаю, въ настоящемъ—не живу. Я наблюдаю только за однимъ; а не увижу-ль, молъ, гдѣ красота въ жизни? Но красоты что-то не вижу, а сколько безобразія—не стоитъи говорить.

Трубинъ (хмуро). Какой толкъ? Мало въ жизни красоты—создавайте!

Ивинъ. Не умъю.

Трубинъ. Ну, видите передъ собой безобразный предметъ и, если не знаете, какъ взамънъ его создать лучшее, такъ коть съ глазъ долой: сломайте, разбейте, уничтожьте его.

(Владиміръ пьяный и всилокоченный, врываясь въ гостинную и подбъгая къ роялю).

Владиміръ. Аглая! Аглая! Этотъ инструментъ при тебъ оживляль этотъ проклятый домъ-Гремъли то бурные аккорды, то лились тихіе, томящіе... Они мнъ напоминали студенческіе годы... Словомъ, напоминали то, что никогда не вернется. Аглая... Аглая... (плачеть). Будь я... проклять!.. (ко всъмъ). Господа. Господа. Я былъ по отношенію къней гнусенъ... Словомъ—она черезъ меня отсюда ушла... Но повърьте: я ее любилъ... тлубоко любилъ!

Ивинъ. Аглаи, Владиміръ, нътъ. Аглаю ты продюдюлилъ.

(Изъ левой двери мужская и женская прислуга начинаеть черезъ гостинную выносить сундуки, корзины, коробки).

Ольга (прислугь). Вещи, пожалуйста, укладывайте осторожное.

Кучеръ и дворникъ (вмѣстѣ). Ужъ будьте спокойны. Все будетъ въ лучшемъ порядкѣ.

Варвара (тихо). Сегодня въ этомъ домъ изъ женщинъ, исключая прислуги, я останусь одна.

Владиміръ. Будь я проклять!

Ивинъ. Что воешь? Развъ для тебя она? Владиміръ (тупо). То-есть, это какъ?

Ивинъ. Просто. Подумай-ка: что ты могъ ей дать?

Владиміръ. Да. Словомъ—я для нее слишкомъ грязенъ. "Грязенъ". Это какъ будто бы крайнее выраженіе. Но нътъ. Словомъ—никто не

знаетъ, какіе грязные ужасы живутъ въ моей душъ.

Демидъ (подходя къ Владиміру). А ты очисться. Будь получие, поразумнъе и... можетъ быть, тогда найдешь такую же, какъ Аглаюшка... или даже лучше!

Владиміръ (безнадежно отмахиваясь руками). Нѣтъ, нѣтъ, старикъ. Что ты мнф совѣтуещь и сулищь—никогда быть не можетъ. Развѣ я человѣкъ? Словомъ — передъ тѣми умными людьми, которые мнѣ встрѣчались въ жизни, я всегда тщательно старался скрывать убожество своей души, мищету мысли. Но меня къ умнымъ людямъ по временамъ влекло. Дѣлалъ попытки подходить къ нимъ. Но стоило только подойти—сейчасъ же появлялась боязнь: а вдругъ, молъ, подумаетъ, что я... словомъ — китайскій болванчикъ, пустая балаболка...

Ивинъ. Ага! Вонъ какъ заговорилъ!

Владиміръ (къ Демиду). А потомъ уже и въ самомъ дълъ вообразищь, что человъкъ тебя такъ именно и понялъ. И вмъсто того, чтобы послушать, научиться отъ него чему нибудь, загнешь голову передъ нимъ надменно, гордо, высоко... Словомъ, я—де, молъ, самъ хорошо все понимающій человъкъ.

Демидъ. Нехорошо такъ. Нехорошо!

Владиміръ. Эхъ, старикъ! Я бы разсказалъ про себя многое, но... мнъ стыдно.

Демидъ. Ну, вотъ. Чудаки люди. Имъ стыдно

сказать про себя то, что они въ жизни не постыдились сдълать. Туть какъ разъ наобороть надо говерить.

Владиміръ (озираясь по гостиной). И воть еще въ бытность студентомъ - первокурсникомъ, я началъ чувствовать, мучительно чувствовать, что мнѣ вужно себя чѣмъ-то хоть немного уравновъсить, что нужно чему-то научиться. Словомъ, что-то выдумать, за что бы я могъ уцѣпиться, какъ за прочную опору... Но прошли года. Я ничего не выдумалъ. Словомъ, у меня нѣтъ въ жизни никакой опоры. Я теперь даже не знаю: къ чему я родился, зачѣмъ я учился, для чего живу? (подходя къ Трубину). Скажите мнѣ. Словомъ—что такое жизнь? И зачѣмъ человѣкъ долженъ жить? Какія у него обязанности передъ жизнью?

Трубинъ. Сказать. Къ чему? Буду говорить не поймете, а если и поймете, мимо ушей пропустите; за собой позову—не пойдете.

Владиміръ (отходя и злобно). Да ужъ за вамито я ни въ какомъ случав не пойду. Словомъ—такихъ людей, какъ вы, какъ бывшій здёсь студентишка Золинъ, я не люблю и боюсь. Глядя на васъ, мнё кажется, что вы окованы ледяной броней, что у васъ какой-то особый, свой, никому недоступный міръ. Словомъ—съ чёмъ живете,—васъ не поймешь.

Трубинъ. Съ однимъ девизомъ: живи и работай. Но если утратишь способность работать дай дорогу другимъ, а самъ уходи къ чорту. Владиміръ. Все, что только я отъ васъ когда-либо слышалъ, —все грубо и жестоко. А этого... словомъ, этого мнт не надо. Скажите мнт лучше что-нибудь такое, что бы дало мнт втру въ то, что въ жизни есть что нибудь святое. У меня сейчасъ нтъ... словомъ, —до сихъ поръ я не видалъ въ жизни ничего святого. Скажите мнт о той правдт, которую вы чтете за правду; о той втр, которой втрите.

Трубинъ. Къ чему? Моя правда — не ваша правда. Моя въра—тоже не ваша въра. Моя въра, это—въра въ себя. Но эта въра вамъ не по плечу.

Владиміръ (ядовито). Да, понимаю. Словомъ—вы создали себъ свой культь и молитесь ему.

(Изъ лъвыхъ дверей тихо выходять и останавливаются около нихъ Лъсницкій и Харцызовъ).

Трубинъ (съ усмъшкой). Культъ? (серьезно). У меня не было и не будеть такого культа, которому бы я молился. Къ чему онъ? Я встрвчалъ такихъ людей, которые культа не имъютъ, но жизнь ихъ—подвигъ. И встрвчалъ такихъ, которые и съ культомъ ухищряются быть такой ямой мерзости, которую не очиститъ никакой культъ и никакія молитвы.

Демидъ (къ Владиміру). Эхъ, ты, православный мой, хочешь спастись — уважай себя, жизнь—вотъ и спасенъ будешь...

Трубинъ. Старикъ, ты—молодецъ! Харцызовъ (быстро подходя къ Трубину). Я васъ попрошу здъсь такихъ вещей не одобрять. Вы, почтеннъйшій...

Трубинъ (быстро надвигаясь на Харцызова и смотря на него въ упоръ, —тихо). Ну?

Харцызовъ (пятясь назадъ). Вы, почтеннъйшій... Трубинъ (смотрить также, — хватаетъ одной рукой Харцызова за грудь). Ну?

Харцызовъ (спадая съ тона и трусливо). И вооб-

ще, г. инженеръ...

Трубинъ (отпуская Харцызова, отходить и—со стиснутыми зубами). То-то. Я вамъ дамъ почтеннъйшаго. (Къ Ивину, кивая головой на Харцызова). Вотъ—глупъ, подлъ и такъ жаденъ, что въ концъ концовъ сожретъ самаго себя.

Харцызовъ (заученнымъ тономъ). Г. инженеръ. Я сегодня считаю своей обязанностью предупредить васъ, чтобы вы потрудились приготовить фабрику къ сдачъ другому инженеру, который заступитъ на ваше мъсто черезъ недълю.

Трубинъ. Вы со своимъ предупреждениемъ опоздали.

Харцызовъ. Какъ, г. инженеръ? что?

Трубинъ. О томъ, что я не кочу у васъ служить, мною было заявлено вашему управляющему недълю тому назадъ. Сегодня истекъ срокъ, и завтра на фабрикъ вы меня не увидите.

Харцызовъ (къ Лъсницкому). Что же это такое? Почему вы мнъ объ этомъ своевременно не заявили.

Лѣсницкій (нагло). Такого заявленія отъ г. Трубина ко мнъ не поступало.

Трубинъ (спокойно). Мерзавецъ.

(Варвара тихо плачеть).

Демидъ (къ ней—сурово). Видишь? Погоди: и ты дождешься того, что тебя отсюда попросять.

Варвара (подходить къ мужу, — слабо и безпомощно). Какъ же ты могъ? (преображаясь, внезапно съ силой). Чаша моего терпънія переполнилась! (указывая на Льсницкаго). Вонъ! сію минуту вонъ!

Харцызовъ. Что?

Варвара. Немедленно его удалить!

Харцызовъ (взвизгивая). Удалить? его удалить?—Нътъ! Я удаляю того, кого нужно.

Варвара (топая ногой). Вонъ! Еще разъ прошу: сію минуту—вонъ!

Харцызовъ. Не будеть этого. Не будеть! Довольно, почтеннъйшая! Я много кое-чего дълаль по вашему, а теперь не кочу. Тоть чадъ, который мнъ туманиль голову со дня нашей свадьбы — прошелъ.

Варвара (къ Трубину). Почему вы мив не сказали о томъ, что оставляете фабрику?

Трубинъ. Полагалъ, что не къ чему.

Варвара. Напрасно. Мнъ это нужно было знать.

(Трубинъ внимательно глядитъ на Варвару).

Харцызовъ (то къ жень, то ко всымъ—съ нафосомъ). Женитьба на васъ, почтеннъйшая, кажется мнъ теперь проклятымъ навожденіемъ. Но... я

сумъю... я сумъю исправить ошибку, нъкогда созданную моимъ безуміемъ и великодушіемъ... Теперь не вы меня, а я васъ, почтеннъйшая, буду держать въ ежовыхъ рукавицахъ.

Варвара. Да?

Харцызовъ... (во всемь). Говорять: культура, прогрессь, цивилизація очеловечили нась... Очеловечили? А гдё у нась, позвольте спросить, нравственныя устои? (къ жене). У вась, почтеннейшая, ихъ неть; я вамь покажу ихъ! Я вамь...

Ивинъ. (Лъсницкому, со смъхомъ указывая на Харцызова). Вашъ ученикъ гастролируетъ.

Харцызовъ... дамъ ихъ почувствовать!

Варвара. Когда на человъка обрушится внезапно что-нибудь большое, тяжелое, то онъ сразу потеряетъ сознаше и не пойметъ, что съ нимъ случилось несчастье. Не такъ вышло у меня. (указывая на мужа). Медленно-медленно, при полномъ сознании, я годами чувствовала, какъ отвратительно-пошлая тяжесть въ лицъ этого человъка росла, росла, а я, подъ давленіемъ ея,—слабъющая, изнемогающая,—хотъла, жить, жить и жить!

Харцызовъ. Вы, почтеннъйшая...

Ивинъ. Оказывается, у гастролера еще что-то въ запасъ есть.

Варвара (въ мужу). Молчи! Жалій. Несчастный. Харцызовъ (забываясь отъ бѣшенства и—грубо). Нѣтъ, ты молчи! Я тебѣ покаж-жу! Акула! (Ивинъ подходить въ Харцызову, береть нодъ руку и силой ведетъ въ уголъ гостинной).

Харцызовъ (упираясь). Позвольте! Позвольте! Вы что?

Ивинъ. Если самъ никогда не былъ серьезнымъ человъкомъ и никогда не говорилъ серьезныхъ вещей, предоставь говорить ихъ другимъ.

Владиміръ (съ хохотомъ). Вотъ такъ комедія. (Ивинъ старается силой усадить Харцызова на стулъ). Хлюпни! Хлюпни его! Словомъ — нечего съ недоноскомъ церемониться. (Ивинъ усаживаетъ). Вотъ такъ дрюкнулъ. (Трубинъ, Демидъ смъются).

Ольга. Господа. Господа.

Лъсницкій (идеть къ Ивину). Ивинъ. Какъ вы смъете употреблять насиліе?

Трубинъ (загараживая дорогу Лъсницкому). Ну?

Лъсницкій (отступая). Иванъ Семенычъ, протестуйте!

Ивинъ (быстро). Владиміръ. Что же ты смотришь? Всякая тля будеть здёсь командовать, а ты...

Харцызовъ (вырывая руки у Ивина). Какъ вы смъете?

Ивинъ. Ты, Владиміръ, здёсь не козяинъ чтоли? После этого не уважаю тебя.

Владиміръ. А и въ самомъ дълъ. (вскакиваетъ и идетъ къ Лъсницкому). Словомъ—ты что тутъ?

Ольга (подобгаеть въ Владиміру и схватываеть его за руку). Господи! Господи! Скандалъ... Какъ въ кабакъ!

Владиміръ (рвется къ Лѣсницкому). Пусти. Словомъ—дай я хоть разъ покажу этому мерзавцу... Ивинъ (реветь). Ат-ту его!

(Владиміръ вырывается отъ Ольги. Лівеницкій скрывается въ лівую дверь).

Владиміръ. Вездѣ найду. Словомъ—никуда не скроется. (исчезаеть за Лѣсницкимъ, Ольга за Владиміромъ).

Харцызовр. Лъсницкій! Лъсницкій! (Къ Ивнеу). Пустите! Бога ради пустите! (плачеть). Что я вамъ сдълалъ? Что? Я—такой безсильный и безвредный человъкъ...

Ивинъ. Пой. Пой. Ты— безволенъ, безхарактеренъ, но ты можешь исказить и обезобразить жизнь другимъ болъе, чъмъ иной суровый и жестокій человъкъ.

Трубинъ. Върно. Безсиліе ничтожной личности—гнусный хищный звърь; сила, одухотворенная разумомъ человъка,—великодушіе. (къ Варварь). Жизнь, это—точно огромный хлѣвъ: въ немъ люди сами же построили себъ массу перегородокъ, а потомъ жалуются, вопятъ, что имъ тѣсно душно, нътъ свъта. Сильные ломаютъ все, что имъ мъщаетъ. Какъ поступите вы?

Варвара (подумавь). Что нужно для того, чтобы итти въ жизнь вмъстъ съ такимъ человъкомъ, какъ вы?

Трубинъ. Взвъсить свое чувство, разобраться въ немъ; и если оно вложитъ въ ваше сознание въру въ меня, въ наше счастие, то... вотъ вамъ моя рука! (протягиваетъ руку. Хардызовъ, туно моргая глазами, прислумивается. Демидъ весь—внимание).

Варвара. Не нужно ли еще чего?

Трубинъ (убираетъ руку, морщится и—угрюмо). Есть еще одно: при совмъстной жизни вы не всегда и не во всемъ будете имъть полную свободу дъйствій.

Варвара (отступая шагъ назадъ). Почему?

Трубинъ. Потому: если два человъка въ одной лодкъ попадутъ въ опасное теченіе, то болье сильный изъ нихъ, во избъжаніе гибели обоихъ, долженъ подчинить себъ слабаго и руководить имъ.

Варвара (тихо). Подчинить? Руководить? (внезапно—со страстью). Это грубо. Такія вещи не надо говорить!

Трубинъ. А я, наоборотъ, считаю, что надо. Варвара. Я такой жизни не хочу.

Трубинъ. Какъ хотите. Вы мив дороги, но дъло мив дороже васъ. Повторяю: жизнь со мной, это—жизнь опасностей. И какъ новичекъ въ моемъ дълъ, вы, если это понадобиться, должны полчиняться мив безусловно.

Варвара (неопредъленно). Да...

(Демидъ вскакиваетъ и, нодойдя къ звонку нажимаетъ киопку).

Харцызовъ (хватаясь за голову). Господи! (къ женѣ). О чемъ ты съ нимъ говоришь? Чего ты отъ него хочешь?

Трубинъ (къ Варварѣ). Знаете—жизнь мудра. Она, какъ алчный ростовщикъ, держитъ свои со-кровища въ тайнѣ, а людямъ показываетъ мишуру за золото, а золото—за мѣдь. Все, что въ

ней не имветь цвны, она выдвигаеть предъ близорукими людьми подъ такимъ угломъ зрвнія,
что малоцвнное кажется блестящимъ, заманчивымъ, дорогимъ, а то, что имветъ великую цвну,
она прячетъ въ свои лабиринты. Нужно итти
искать это великоцвнное! И чтобы не обмануться,
нужно при поискахъ принять себв за правило,
что хорошее, цвное въ жизни—въ маломъ, а
это-то малое и есть въ жизни великое... Такъ и
вы: у васъ нвкогда было въ жизни хорошее, цвнное, но жизнь обманула васъ... (указывая на обстановку). Развв это стоитъ того, что вы имвли? И
если бы допустить, что комфортъ, роскошь здвсь
вы любили, то какой дорогой цвной вами это
покупалось?

Варвара (подходить къ Трубину и береть его за руку). Иду съ вами. И объ одномъ прошу: никогда и ни чъмъ не напоминайте мнъ о жизни здъсь. Я кочу забыть эту жизнь, вытравить ее изъ памяти.

(Вхедитъ Пеля).

Трубинъ. Объщаю.

Харцызовъ (вскакиваеть). Господи! Какой позоръ! Какой позоръ! (жень). Это что значить?

Демидъ (въ Полѣ строго, указывая на Варвару). Барыня сегодня ѣдетъ. Собирай ея вещи поскорѣе. Поля (въ Варварѣ). Какія вещи прикажете со-

брать?

Варвара. Никакихъ. Идите, Поля. (къ Демиду). Дядя, ты напрасно позвалъ Полю. Я ничего отсюда не возъму.

Демидъ. Свое возьми.

Варвара. Своего у меня, дядя, здёсь ничего уже нътъ. Уйду—въ чемъ есть.

Хрцызовъ (пораженный). Ты уходить? Ты уходить? Съ бъщенствомъ). Ну, нътъ. За меня права, законъ!

Варвара. Ивинъ, прощайте! Дядя, (указывая на Трубина) черезъ два часа будь у него: тамъ увидимся. (идетъ съ Трубинымъ къ дверямъ).

Харцызовъ (бросаясь за ними). Ну, почтеннъйшая, нътъ... Отъ меня не такъ-то легко уйти!

Трубинъ (заступая Хардызову путь). Тубо.

Варвара (къ Трубину). Оставьте его. Что можетъ сдълать такой жалкій? (смотрить на мужа).

Харцызовъ (плачеть). Варя, — не уходи. Не уходи. Не оставляй меня. Я передъ тобой виновата. Я тебъ все дамъ. Дамъ много денегъ. Помогай людямъ!...

Варвара. Не повърю. Онять обманешь.

Харцызовъ. Я? (выхватываеть изъ кармана книжку). Сколько? Пятьдесять тысячь?

Варвара. Мало.

Харцызовъ. Сто.

Варвара. Мало.—Двъсти тысячъ.

Демидъ (къ Варваръ). Дъвонька, не върь. Есть нословица: тонетъ — топоръ сулитъ; вытащатъ — и топорища жаль.

Харцызовъ (послѣ момента колебанія). Даю! Потомъ еще больше дамъ. (пдетъ къ столу).

Ивинъ. Ужъ не чекъ ли въ банкъ писать?

Харцызовъ (напыщенно). Да, чекъ. Сейчасъ при всъхъ. Вы думаете, — я что? Мнъ върить нельзя? Плохо меня всъ здъсь понимаютъ. (садится въ столу, развертываетъ чековую книжку).

Варвара. Не трудись. Не надо мнв твоихъ денегъ. Во первыхъ, слишкомъ поздно ты на это ръшился, а во втерыхъ жизнь съ тобой меня многому научила. Какая польза будетъ отъ твоихъ денегъ? Я знаю: я буду помогать твоимъ рабочимъ, а ты — все, что дашь мнв, постараешься выжать изъ нихъ же. Вотъ если бы ты былъ самъ добръе, тогда другое дъло. Но ты добрымъ быть не можешъ. Люди, сознаніе которыхъ не знакомо съ высшимъ порядкомъ человъческихъ чувствъ, подлы. Они иногда щедры къ тому, что имъ дорого, а что имъ не нужно или къ чему они равнодушны, —они эгоистичны и жестоки.

Харцызовъ. Я буду добръ! И къ своимъ рабочимъ. И ко всъмъ!

Варвара (къ мужу, съ поклономъ). Прощай.

Трубинъ (Варварв). Время еще есть подумать. Повторяю: жизнь со мной—это жизнь опасностей. (обводя жестомъ гостинную). Подобнаго у насъ никогда не будеть ничего. Подумайте!

Варвара. Мив нечего думать. Разь я съ вами иду—значить все обдумано. Я не скажу, что я вполив решила, что вы тоть человекь, который мив нужень. Можеть быть, я въ васъ ошибусь. Пусть будеть такъ. Но лучше въ поискахъ луч-

шей жизни ошибки, чъмъ сидъть здъсь, (жесть на гостинную) не предпринимая ничего,

Трубинъ. Это такъ. Но...

Варвара (бурно). И наконецъ: что за предупрежденія? Не подходящій я вамъ человъкъ—идите отъ меня прочь. Пойду одна! Одинъ всегда или скоръе погибнеть, или скоръе научится понимать лицо жизни.

Трубинъ (увлекая Варвару). Всю жизнь съ тъмъ, въ чемъ она состоитъ и что дастъ, — все пополамъ.

Демидъ (въ упоеніи). Воть голова! воть голова! Такая голова, что ажь жалко, что я не баба. (къ Харцызову. Спокойно, насмѣшливо). А ну, почтеннъйшій, что? а? гдъ жена?

Харцызовъ (растерянно озираясь по гостинной). Жена?

И в и н ъ (протираетъ глаза и, оглядывая гостинную съ такимъ видомъ, точно еще не въритъ происшедшему, —тихо). Неужели ушли? (еще оглядываетъ гостинную — къ Харцызову). Ну, что ты нахохлился? Понимаешь ли ты, что твоя жена... что свою жену ты продюдюлилъ? (хлопаетъ въ ладоши и во всю силу легкихъ). Люди, люди! Всъ, кто есть въ этомъ домъ—сюда!

(Харцызовъ, недоумъвая, смотрить на Ивина. Демидъ смъется. Воъгаетъ Ольга, за ней—Владиміръ. Изъ-за дверей выглядываютъ: Поля, кухарка).

Ольга (испуганно). Что такое здъсь?

Демидъ. Здѣсь, дѣвонька, такія дѣла... такія дѣла... (радостно). Племянница-то моя... племянница-

то... Ушла съ господиномъ механикомъ. Вотъ разбойница!

Владиміръ. Куда ушла?

Демидъ. Куда?—Жить. У мужа-то вишь, нехорошо показалось...

(У Харцызова подавленный и уничтоженный видъ).

Владиміръ (поглядывая на него, — съ тедкой улыбкой). Вотъ такъ клюква!

Демидъ. Такъ... Рыба-то ищетъ, гдъ глубже, а человъкъ---кто лучше.

Владиміръ. Ты, старикъ, кажется, одобряешь поступокъ своей племянницы?

Демидъ. Ну, какъ сказать? Пусть ужъ это останется при мнъ. Племянница у меня не маленькая. Какъ котъла, такъ и сдълала. А я... не мой конь, не мой и возъ!

Владиміръ. И хитеръты, старая бестія.

Ольга (къ Ивину). Завтра въ этомъ домъ не будеть ни одной женщины.

Владиміръ. (неопредёленно) Ни одной... (задумывается).

Ивинъ. (къ Ольгъ) А вы-то куда дънетесь?

Ольга. Десять разъ вамъ уже говорила, что убду. Вещи уже всъ уложены. Черезъ часъ вду. (Ивинъ молчитъ).

Ольга. Вы мнъ ничего не скажете?

Ивинъ. Что вамъ сказать? — Скатертью дорога!

Ольга. (съ болью) И только? Вёдь мы здёсь съ вами видёлись чуть-ли не изо дня въ день нё-

сколько лътъ... Мы привыкли другъ къ другу... И в и н ъ. (смотря на Ольгу) У меня къ вамъ привычки не было, а вы, какъ привыкли, такъ и отвыкнете.

Ольга. (тихо идеть къ двери) Прощайте.

Ивинъ. Желаю счастья. Не поминайте лихомъ.

Ольга. (не дойдя до двери, останавливается, — махая рукой) Все равно! (быстро идеть къ Ивину, съ волненіемъ, смущенно) Въ послёдній разъ... Къ чему вы здёсь останетесь? Всё ушли отсюда... Съ кёмъ вы здёсь будете? (съ глубокимъ чувствомъ) Милый. Уёдемте со мной. Я богата...

Ивинъ. Меня не купите.

Ольга. Не то... не то...

Харцызовъ. (вскакиваеть) И ты, моя—сестра? Развратница!

Ольга. (не обращая на брата вниманія) Я хотівла сказать, что съ моими деньгами вы, можеть быть, надумаете приняться за какое-нибудь хорошее дівло. Я вамъ буду помогать...

Ивинъ. (угрюмо) Оставьте меня. Неужели вы въ теченіе нъсколькихъ лътъ не могли понять, что того, чего вы отъ меня хотите, я вамъ не могу дать.

Ольга. Ничего я отъ васъ не хочу. Не можете меня любить, такъ хоть дайте мнъ быть около васъ всегда. Быть сестрой, другомъ... Я и этимъ буду счастлива. Въдь я сама не знаю, что у меня къ вамъ. Иногда хочется подойти къ вамъ и

придаскать такъ, какъ мать своего ребенка... Только какъ ребенка...

Ивинъ (перебивая). Въ такія чувства я не върю. Это такъ-пока сейчасъ говорите...

Демидъ (къ Ольгѣ). Его забудь. Вонъ изъ головы! Онъ что—ушибленный человъкъ. Съ нимъ иъсню хорошо не споешь...

Ольга (подходить къ Демиду. Цёлуеть его). Дёдынька! Дёдынька! (плачеть). Спасибо тебё, дёдынька. Научилъ меня... Уёду отсюда... И можеть быть, забуду (указываеть на Ивина) его... (быстро выбёгаеть).

Владиміръ (посмотрѣвъ Ольгѣ вслѣдъ). Чортъ знаетъ что. О чемъ-то говорятъ... за что-то благодарятъ... ничего не понимаю.

Демидъ. Смъкалка у тебя слабовата.

Владиміръ. Ну, ну... ты того... Словомъ-

Ивинъ (къ Владиміру). Оставь старика Ступайка ты лучше за водкой, за пивомъ. Будемъ пить, пить, пить...

Владиміръ. На это прислуга есть.

Ивинъ. Завтра и она сбъжитъ.

(Владиміръ звонитъ. Входитъ Поля).

Владиміръ. Поживъе: водки, вина сюда.

Харцызовъ (къ Полѣ). Пошли тамъ кого нибудь за Лъсницкимъ. Пусть немедленно идетъ сюда.

Поля. Онъ здъсь. Ждетъ вашихъ приказаній. Лъсницкій (изъ пріотворенной двери). Глубокоуважаемый Иванъ Семенычъ, я здъсь. (Харцызовъ бросается къ двери).

ВОЛНА.

Владиміръ (къ Лесницкому). Идите. Бить васъ теперь не буду.

Л всницкій (входя и сь опасеніемъ поглядывая на Владиміра). Шутить, глубокоуважаемый Владиміръ Семенычъ, изволите.

И в и н ъ. Ну, Лъсницкій, будьте теперь здъсь хозяиномъ. Теперь вы здъсь поцарите.

Харцызовъ (къ Лъсницкому). Другъ! дорогой другъ! У меня случилось что-то страшное... неожиданное... Жена ушла.

Лѣсницкій (развязно). Успокойтесь, успокойтесь. Дѣло, можеть быть, еще поправимо... Вы только не поддавайтесь первому впечатленію. (Къ Владиміру и Ивину). Не унывайте, господа. Не унывайте! Мы теперь всѣ, если можно такъ выразиться, (злорадный взглядъ на Харцызова) на вдовьемъ положеніи... Но въ немъ развѣ нѣтъ своей прелести? (къ Харцызову). Забыть... вамъ жену надо забыть.

(Поля подаеть на большомъ подносѣ вина и стаканы. Всѣ, исключая Лѣсницкаго и Демида, наливаютъ каждый себѣ и пьють).

Харцызовъ. Забыть? Какъ больно думать... Лъсницкій. Иванъ Семенычъ, свътъ не клиномъ сошелся.

Харцызовъ... что она будетъ принадлежать другому.

Лѣсницкій. Да... да... Но есть дамочки... малина съ молокомъ!

Харцызовъ. Что?

Л в с н и ц к і й. Мы, если такъ можно выразиться, въ недалекомъ будущемъ разыщемъ здвсь... (Затрудняясь) вообще... деликатно выражаясь: есть парники, въ которыхъ такія огурчики наливные произрастають, что... прямо облизнешься!

Харцызовъ. Да? (со злобой). Моя жена ушла отъ меня. Чъмъ я ее обижалъ? Чего ей не доставало?

Л в сницкій. Глубокоуважаемый Иванъ Семенычь, всякій здравомыслящій человвкъ вась пожалветь... Сочувствіе общества будеть на вашей сторонв.

— Харцызовъ (растроганно). Другъ! Идемте выпьемъ. (Идутъ, наливаютъ, чокаются и пьютъ).

Владиміръ. Теперь въ этомъ домѣ, исключая прислуги,—ни одной женщины. (Съ теской). Увхали онъ... сбъжали...

Демидъ (къ Владиміру). А узжай-ка, братъ, иты. Владиміръ. Я? (думаетъ). Куда я уъду? (кричитъ). Мнъ некуда ъхатъ. Словомъ—у меня нигдъни одной не только близкой, но и знакомой души, нътъ!

Харцызовъ (къ Владиміру). Что кричить? Нужно быть корректнымъ... У меня не такое несчастіе, но я... перенесу его гордо. Сочувствіе общества на моей сторонъ.

Владиміръ (съ презрѣніемъ). Молчи, братъ. (Съ усмѣшкой). Сочувствіе общества на твоей сторонѣ. Ну, и будь доволенъ этимъ. (Къ Ивину,—съ тоской). Ивинъ. Ивинъ. Что мнѣ сейчасъ пришло въ го-

лову... Понимаешь: ты, я,—мы внѣ жизни. Мало этого: каждый изъ насъ и самому себѣ не нуженъ... Къ чему же жить? Начинать жить снова—нѣтъ ни силъ, ни желаній. (Ивинъ въ отвѣтъ махаетъ рукой).

Лъсницкій. Не унывайте, глубокоуважаемый, Владиміръ Семенычъ. Погодите: вы оживете. (указывая на гостинную). Въ этихъ стънахъ въ недалекомъ будущемъ, вмъсто царившей здъсь до сихъ поръ пустоты и скуки, жизнь забьетъ ключомъ. Не будь я Лъсницкій, если этого не будетъ.

Владиміръ. Въ томъ, что это будетъ, я увъренъ.

Л в сницкій. Такъ что же унывать? Если вамъ скучно безъ двла, то у меня относительно вашей фабрики грандіозные планы...

Владиміръ (нетеривливо). Знаю. И это знаю.

Лъсницкій. Я хочу на фабрикъ ввести массу нововведеній, усовершенствованій...

Владиміръ (грубо). Отстаньте вы отъ меня къ чорту со своей фабрикой. Жрите ее у брата. Я вамъ въ этомъ не мъщалъ и не помъщаю. (Лъсницкій отходить съ Харцызовымъ въ уголъ гостивной; о чемъто тамъ тихо шепчутся).

Владиміръ (подходя къ розлю). На немъ играла Аглая... (медленно беретъ звенящіе отчаяніемъ и болью аккорды). Къ чему же жить? Когда здёсь была Аглая—я иногда вёрилъ: она спасетъ меня. Теперь думаю иначе... Словомъ меня трудно спасти. (глухо). Знаешь, Ивинъ: есть что-то проклятое во мнъ...

Я люблю женщинъ. Я не могу безъ нихъ жить... Ивинъ. И живи. Женись—и живи.

Владиміръ. Легко сказать. Жениться на олинъ-на два мъсяца? Правда, иногда думается, что, можеть быть, и есть женщина, способная привязать меня къ себъ на всю жизнь. Но если такая не встрътится, что тогда? Словомъ-въчные поиски... Да и какъ искать? Лгать я не могу. А такъ... словомъ, если своевременно оговорить, что сходишься, можеть быть на кратковременную связь-какая же женщина на это пойдетъ? Но, наконецъ, и это бы ничего: ищу, но не нахожуну, и ладно. Главное: за такой образъ жизни люди меня будуть презирать. А я этого не могу выносить, какъ не могу и понять: во имя какой морали они будуть имъть право презирать меня? А презирать они будуть. Будуть жестоко, злобно, тупо топтать въ грязь не задумываясь надъ темъ, что топчуть человъка, который если и другимъ причиняеть страданія, но глубоко страдаеть и самъ. И вотъ, если бы я былъ Лъсницкимъ-я бы могъ жить... Но я-не онъ...

Лѣсницкій. Пустяки. Плюньте, глубокоуважаемый, на людей. (подходить къ Владиміру). Хотите, я васъ научу, какъ переступить одну границу... И когда вы ее переступите, вы будете на неуваженіе, на презръніе людей смотръть спокойно.

Владиміръ. Эхъ, Лъсницкій. Въ сущности, презирая васъ, я былъ неправъ. Словомъ, я, можетъ быть, то же, что и вы, но только не совсъмъ

изъ одного тъста. Вашей границы я переступить не могу... (къ Ивину—взволнованно, сдерживая слезы) Ивинъ. Изъ всъкъ мужчинъ, которые мнъ встръчались на моемъ въку, я тебя одного почему-то любилъ. Ты былъ ко мнъ иногда суровъ, грубъ, но я знаю, что ты меня когда-нибудь вспемнишь съ добрымъ чувствомъ... (быстро идетъ въ лѣвую дверь)

Ивинъ. Владиміръ. Владиміръ. Вернись!

Владиміръ (изъ другой комнаты). Ты меня еще увидишь. Сейчасъ у меня одно дъло. Словомъ, боюсь, какъ бы ты не помъщалъ.

Поля (выходить изъ правой двери, спокойно къ Харцизову). Баринъ, на фабрикъ пожаръ.

Лъсницкій и Харцызовъ (вмъсть). Что? Поля. Фабрика горить. (со страхомъ). Говорять, что рабочіе и домъ хотять поджечь.

Лѣсницкій. Кто говорить?

Поля (уходя). Сами же рабочіе.

Лѣсницкій. Пойду къ телефону. (убѣгаетъ въ лѣвую дверь. Ивинъ встаетъ, тушатъ люстру, сдергиваетъ съ оконъ шторы. Гестиниую заливаетъ зарево пожара. Харцызовъ, схватываясь за голову, становится у окна. Его поза—исиреннее отчаяніе).

Ивинъ (къ Хардызову со влобнымъ презрѣніемъ). Смотри! Любуйся! Про тебя можно сказать: ты—баловень. Судьба тебъ дала богатство, дала хорошую жену. Но что ты людямъ далъ? Ничего! Но жизнь щедра. Она безжалостно, неожиданножестоко щедра: жены у тебя уже нътъ, фабрика горитъ. Но придетъ время, когда ее у тебя и

совсёмъ не будетъ. Это будетъ то время, когда жизнь дасть тебё то, чего ты достоинъ.

Демидъ (выступая передъ Харцызовымъ). Вѣрно. У жизни хоть и нѣтъ словъ, но она прикажетъ тебъ: а ну, молъ, рядись ворона, на забаву людямъ въ павлинья перья...

Харцызовь (въ бъменствъ). У человъка несчастье, а вы что? Звъри! (къ Демиду). Ты... чортъ старый! Богомолъ... По святымъ мъстамъ ходишь, а жену, сестру, Аглаю... всъхъ, мерзавецъ, развратилъ!.. (подступаеть къ Демиду съ кулаками). Я тебъ сейчасъ покажу!..

Ивинъ (слегка толкаетъ Харцызова—онъ отшатывается на нѣсколько шаговъ). Оставь старика. Старикъ, кому можно, добра желаетъ. Развѣ въ томъ, что здѣсь произошло, одинъ старикъ виноватъ? Виноватъ ты, Лѣсницкій, Владиміръ... мы всѣ виноваты. Мы создали здѣсь скверную жизнь, а старикъ воспользовался этимъ и подтолкнулъ кое-кого и куда слѣдуетъ. (глядитъ на Харцызова съ сожалѣніемъ). А впрочемъ, зачѣмъ я съ тобой говорю? Ничего, Харцызовъ, ты не понимаешь.

Демидъ (къ Ивину). Это върно. И смъшной онъ... Хотълъ рыкнуть, какъ левъ, а вышло тявкнулъ, какъ щенокъ. (хмуро къ Харцызову). Эхъ, ты православный мой. Развъ ты меня можешь обидъть? Меня вотъ жизнь обидъла разъ—да такъ: до могилы! (къ Ивину). Господинъ учитель, уйдемъ отсюда. Теперь въдь мы не къ мъсту тутъ? а?

Ивинъ. Оставь меня дъдъ. Ты сказалъ, что я "ушибленный человъкъ", что пъснь со мной хорошо не споешь... Ты—върно сказалъ.

Демидъ. А все-таки. Ты—учитель. Дътишекъ

бы учить. Въдь это больно хорошее дъло.

Ивинъ (съ болью). Старикъ, я любилъ свое дѣло; я имъ жилъ. Но у меня его отняли. И когда это случилось, я понялъ, что жизнь кончена.

Демидъ. А кто отнялъ-то?

Ивинъ. Я-учитель, уволенный по циркуляру. Знаешь, что такое циркуляръ? Это...

Демидъ. Знаю. Какъ не знать? Чай, я русскій человъкъ...

Ивинъ. Жизнь, старикъ, кончена!

Демидъ (увыло). Эхъ, бользный ты мой... (чешеть затылокъ, — живо). А ты бы того... пойдемъ гулять со мной? Это пользительно и любопытно... Можетъ быть, и отудбишь...

Ивинъ. Старикъ, я тебя понимаю. Но пойми и ты меня: то дерево, которое зачахло оттого, что на много лътъ было заслонено отъ лучей солнца —ничъмъ не оживишь.

Демидъ (грустно). Статья... (думаетъ). Да, что върно, то върно: ты, господинъ учитель, такой камень, который не скоро съ мъста сдвинешь... (пауза—весело). Ну, комаръ меня укуси... Надо прогуляться въ Іерусалимъ.

Ивинъ. Ты бы съ весны, а то, въдь скоро осень.

Демидъ. Это ничего. Правда, я бы погостиль здъсь еще, да не къ чему. Прощай, господинъ учитель. (Кланяется Ивину. Ивинъ молча отвъшиваетъ Демиду почтительный поклонъ. Демидъ, взглянувъ на Харцызова, качая голевой). Ну, православный мой, пойду посмотръть, какъ твое добро горитъ. Другого бы пожалълъ, а тебя нътъ. (идетъ въ правыя двери).

Харцызовъ. Вонъ отсюда, чортъ старый!

Л ѣ с н и ц к і й (входить. Блёдень, взволновавь). Телефонь, очевидно, порвань. Звониль-звониль—отвёта нѣть.

Харцызовъ (тономъ хозяина). Вы, Лъсницкій, должны итти туда.

Лѣсіни цкій. Не могу. Фабрика окружена рабочими. Они, какъ передаетъ ваша домашняя прислуга, крайне возбуждены.

Харцызовъ (умоляюще). Лъсницкій, идите... Спасите, что можно спасти. Въдь еще неизвъстно, заплатитъ ли мнъ убытки страховое общество. Скажетъ: поджогъ устроенъ рабочими, а мы за это не отвъчаемъ. Лъсницкій, идите туда.

Лѣсницкій (дерзко). Если бы я и пошель, думаю, что это будеть безполезно. Но я не пойду: жизни своей я вамъ не продавалъ. Я вамъ давно говорилъ: увольте Трубина. Вы медлили. (Указывая на зарево). А теперь вотъ любуйтесь: это дѣло его агитаціи.

(въ гостиную гулко врывается звукъ выстрела).

Харцызовъ (бросаясь въ уголъ гостинной, — съ ужасомъ). Рабочіе! Сюда идутъ. О, Боже!

(Ивинъ спокойно наливаетъ вино и ньетъ. Лѣсницвій со скрещенными на груди руками застываетъ среди гостинной. Съ полминуты полная тишина).

Поля (воёгая и на бёгу). Владиміръ Семенычъ... (круго останавливается среди гостинной) застрёлился!

Лъсницкій. Неужели?

Поля. Ужасти! Ажъ мозги у него изъ головы вылетъли! (Ивит встаетъ и уходитъ).

Лъсницкій (радостно). Миръ его праку!

Харцызовъ (выходя изъ угла и облегченно). А я подумалъ, что рабочіе сюда пришли.

Лъсницкій (къ Харцызову). Поздравляю: вы теперь полный хозяинъ фабрики. Все—ваше.

Харцызовъ (съ поклономъ). Благодарю. (равнодушно). Братъ что? Негодный быль человъкъ... (съ гордостью). Что онъ такъ кончитъ — я это зналъ. (подходитъ къ окну, — съ отчаяніемъ). Горитъ! Горитъ! Какой убытокъ.

Поля (въ Харцызову). Баринъ. Какъ же тамъ Владиміръ Семенычъ? Одинъ онъ. Надо бы туда итти.

Харцызовъ. Отстань. (указывая на зарево). Видишь? Я долженъ туть быть. Мое добро горитъ. А къ нему итти... Зачъмъ? Что я,—оживлю его? Иди ка къ нему сама. Поля (ръшительно). Ну, нътъ. (садится на стулъ). Хоть убейте меня, а отсюда не выйду.

Харцнзовъ (гавно). Это, почтеннъйшая, почему? Какъ ты осмъливаешься не повиноваться? Поля. Боюсь я. Я въ домъ одна. Дворникъ, кучеръ, кухарка—всъ ушли на пожаръ.

(Входитъ Ивинъ. Онъ крайне возбужденъ, велосы страшно всклокочены, взглядъ дикій, блуждающій).

Ивинъ (глухо къ Лъсницкому). Вы понимаете... вы понимаете... Онъ черезъ двъ стъны, у себя въ комнатъ... Мертвъ и одинокъ. Вы понимаете: жилъ человъкъ, и никому до него дъла не было, умеръ—тоже. Мертвъ и—одинокъ. И когда я тамъ смотрълъ на него, меня охватилъ безумный ужасъ. Мертвъ и одинокъ!

Лъсницкій (спокойно съ улыбкей). Мертвыхъ я менъе боюсь, чъмъ живыхъ.

Ивинъ. И я стоялъ тамъ и думалъ: умру я и, можетъ быть, такъ же около меня никого не будетъ. Мертвъ и одинокъ. И я понялъ одно, чего до сихъ поръ не понималъ. Какое страшное заблужденіе... Какой самообманъ. Мнъ нужна была женщина, нужна была та атмосфера, которая создается семьей, а я увърилъ себя, что жизнь прожить могу и одинъ. Увърилъ, а когда возникали сомнънія, я гналъ ихъ прочь. Но когда я былъ тамъ, около Владиміра, я въ одинъ мигъ понялъ, что создалъсебъложь, въ которую върилъ 15 лътъ.

15 лѣтъ жизни!.. А скоро, можетъ быть, я и умру и такъ же, какъ и онъ тамъ... буду мертвъ и одинокъ! Что же теперь дѣлать? Куда уйти отъ ужаса— ужаса, что я самъ себя обманывалъ 15 лѣтъ, и ужаса, что когда умру, буду мертвъ и одинокъ... (кватаетъ руку Лѣсницкаго). Лѣсницкій! Лѣсницкій! скажите, что мнѣ дѣлать?

Л в сницкій. Туть нечего и спрашивать. (указывая на Харцызова). Его сестра—Ольга— женщина котя и простая, но хорошая и добрая и любить вась. Идите къ ней.

Харцызовъ (къ Лъсницкому съ негодованіемъ). Но, позвольте, почтеннъйшій. Вы за кого мою сестру считаете? Моя сестра—порядочная женщина!

Ивинъ. Ольга? Ольга? (съ сильной радостью). О, да. Ольга! Ольга! Вотъ чья любящая рука, когда умру, закроетъ мнъ глаза. Къ ней! Къ ней! Я еще успъю. (идетъ, останавливается). Жаль Владиміра. Если бы онъ сегодня не покончилъ, его, можетъ быть, можно было бы спасти.

Лѣсницкій. Наврядъ-ли. (указывая на стѣну). Тамъ произошла сегодня не драма—а финалъ ея. Ивинъ (подумавъ). Пожалуй, да.

Лъсницкій (подталкивая Ивина). Но идите, идите. Ольга еще не уъхала. (смотрить на часы). Вы еще застанете ее на вокзалъ.

Ивинъ. Да, да. Но не застану — розышу. Къней! (быстро уходить).

Харцызовъ (злобно набрасывансь на Лесни каго).

Вы чему, почтеннъйшій, человъка научили? Вамъ, почтеннъйшій, кто позволиль? Вы, почтеннъйшій, имъли право...

Лѣсницкій (обрывая). Почтеннѣйшій. Рѣчь у нась сейчась пойдеть не объ этомъ. Знаете: я быль прежде богать, но когда объдняль, поняль, что я сдѣлалъ большую ошибку. Какъ я за нее ноплатился? Одинъ вы мнъ чего стоили... Теперь настала пора исправить свою ошибку. Около васъ теперь, кромъ меня, никого...

Харцызовъ (жалобио). Да, кромъ васъ, —ни-

Лъсницкій. На моемъ пути—тоже. Вы, собственно, ни на что неспособны. Но я около васъ. Идите и сейчасъ же пишите заявление губернатору о поджогъ фабрики.

Харцызовъ (съежился, —робко). Но я сейчасъ не могу писать. У меня въ головъ ни одной мысли. Да и къ чему писать? А если ужъ писать, такъ пишите вы.

Лѣсницкій. Мнѣ нельзя. (съ проніей). Кто я? Я—управляющій вашей фабрикой. Воть если бы я быль хозяиномъ ея, тогда, разумѣется, ни о чемъ бы васъ просить не сталъ. (серьезно). Трубинъ на фабрикъ развелъ массу неблагонадежныхъ рабочихъ. Надо фабрику отъ нихъ очистить. Ну, идемте. (трегается). Будете писать, какъ и все, что когда-либо вами писалось, подъ мою диктовку. (Харцызовъ, ребко и растерянно оглядываясь по сторонамъ, не трогается съ мъста)

Лѣсницкій (останавливаясь и съ необычайной силой). Почтеннъйшій, Иванъ Семенычъ! Вы слышите? Время дорого. Ну? (указываеть на дверь).

Харцызовъ (стараясь улыбаться). Да... да... Вы дорогой, върно сказали: время дорого.

(Быстро, мелкими шагами трусить за Лъсницкимъ. Поля идетъ за ними. Исчезають въ правыя двери).

Занавъсъ.

"Прокрустово ложе" т. 1. цѣна 1 руб. "Прокрустово ложе" т. 11. цѣна 1 руб.

("Прокрустово ложе" книга третья и четвертая готовятся къ печати)

## Изъ отзыва Л. Н. Толстого.

...Очень интересная книга! Книга заставляеть задуматься...

## Изъ отзывовъ печати.

... Въ этой книг разсказана исторія жизни и мысли, исторія исканій житейскихъ и литературныхъ, больного литератора изъ рабочихъ, представляющая громадный общественный интересъ.

...Эта книга увела насъ за предъды литературы, увела въ жизнь, гдъ тысячи, быть можетъ, милліоны людей съ проснувшейся жаждой полнаго и облагороженнаго существованія, людей, придавленныхъ нищетой, неъжествомъ, скудостью и жестокостью существованія, стучатся въ двери нашей культуры, просятъ хлъба и получаютъ камень...

Русскія Въдомости.

...Несмотря на то, что основная тема г. Сивачева и даже отдельныя ея подробности уже стали достояніемъ литературы, ("Голодъ" К. Гамсуна, "Дикая орда" Б. Ибаньеса, "Крестьяне-студенты" А. Гарборга) книга его читается съ такимъ интересомъ, какъ будто никто раньше объэгомъ не писалъ. Это впечатлъніе новизны обусловлено тъмъ, что книга Сивачева не романъ, а непосредственная живая жизнь. Въ этой книгъ бъется и истекаетъ кровью живое человъческое сердце.

Авторъ не позируетъ передъ читателемъ, не старается

подделать свою физіономію, не хочеть казаться интереснее, чемъ есть.

Эта искренность, не щадящая ни себя ни другихъ, невольно подкупаеть.

Современный Міръ.

...Два тома "Прокрустово ложе" М. Сивачева действительно редкое явление въ литературе. Мытарства автора этихъ книгъ свыше человъческихъ силъ. И теперь онъ о этихъ мытарствахъ разсказываетъ ярко, углубленно, съ огромнымъ подъемомъ духа. И когда читаешь его страшныя, кошмарныя книги, гдв каждая страница написана кровью, освящена болью и гитвомъ, тогда становится понятнымъ, какъ этотъ человекъ, будучи къ тому же еще боленъ хроническимъ недугомъ, имълъ силы столько пережить: это мученикъ своего дара! И дара не малаго. Много въ этихъ книгахъ такихъ блестящихъ месть, где прямо встаеть экстатикъ: ради возможности творить, онъ не боялся страданій. И теперь, когда какимъ то чудомъ выбился, онъ въ сущности кричить не о своихъ страданіяхъ, а о страданіяхь души вообще. И крики его настолько сильны, иолнозвучны и красочны - я сказаль бы, что въ эгихъ крикахъ есть итчто отъ нутра подлинныхъ пророковъ...

Весна.

...Виденъ въ авторъ человъкъ, дъйствительно, не мало страдавшій, мыслившій и (достоинство не каждаго писателя) прочувствовавшій свои мысли. Къ Сивачеву можно примънить афоризмъ Аполлона Григорьева: "наши мысли суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредъленій".

...Надо прочесть эти мрачныя, желчныя страницы, не безъ силы и горячности написаннныя,—патетическій обвинительный актъ противъ соціальной неправды, противъ жизни "опохабленной, поруганной", противъ "притаив-

шагося за зав'всой лживых явленій общечелов'вческаго гада" чтобы признать въ Сивачев'в, по-крайней м'вр'в, то дарованіе, которое, по слову римскаго ноэта, "versus fecit"—огненный гн'ввъ души... Жизненность, наблюдательность, художественныя черточки, мрачный паносъ—достоинства Сивачева.

Нед'вля.

... Тамъ, гдѣ авторъ болѣе или менѣе объективенъ и просто живописуетъ свои неудачи, несчастья, голодовки, книга захватываетъ правдивостью, а мѣстами она положительно талантлива. Это человъческій документъ, написанный сокомъ нервовъ и кровью.

Живое слово.

...Эта интересная книга является воилемъ души одинокой, страдающей и обманутой. И нужно признать, что написана она живо, интересно и порой затрагиваетъ рядъ наболёвшихъ возлё нашей литературы вопросовъ...

Свебодныя мысли.

...Познакомиться съ книгой Сивачева совътую... Унего имъются такія мъста, отъ которыхъ бросаеть и въ жаръ и въ холодъ и, что очень цънно, не имъетъ "золотой середины"...

...Все у Сивачева въ такихъ цавно невиданныхъ краскахъ: родныхъ и близкихъ...

...Онъ опускается до неизвъданныхъ и неизвъстныхъ профессорамъ "экспериментальной" психологіи Бехтереву и другимъ, глубинъ человъческаго страданія и психическаго состоянія, когда люди въ одно мгновеніе сходять съ ума, отправляются на висълицу...

Всей книги Сивачева не перескажеть и интересую-

Огни.

## СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.

Германа Банга. Піо Бароха. Вьеристьерие Вьерсона. К. Валишевскаго. Якова Вассермана. Томаса Гарди. Карла Гауптмана. Густава афъ-Гейерстама. Жориса-Карла Гюисманса. Бласко Ибаньеса. Маріи Конопницкой. Генриха Манна. Томаса Манна. Менделе-Мойхеръ-Сфоримъ. Джоржа Мередита. Леона Переца. Владислава Реймонта. Отто Рунга. Михаила Сивачева. Августа Стриндберга. Проф. Макса Ферворна. Антоніо Фогаццаро. Шоломъ Алейхема. Александра Ширванзадо. Бернара Шоу. Жорже Экоута.

